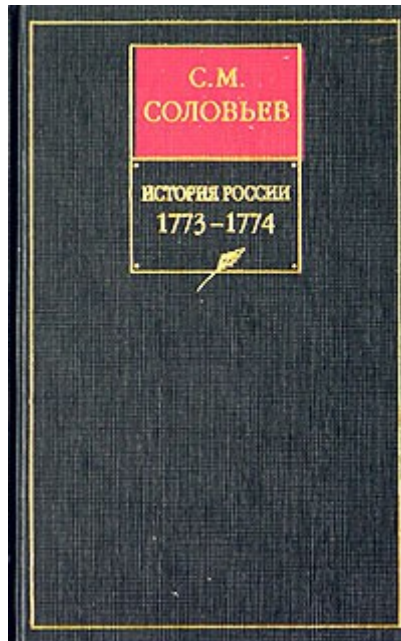


Сергей Михайлович Соловьев
История России с древнейших времен. Книга XV. 1773–1774

История России с древнейших времен – 15



Аннотация

Пятнадцатая книга сочинений С.М. Соловьева включает последний, двадцать девятый том «Истории России с древнейших времен». В двадцать девятом томе, оставшемся незаконченным, продолжено начатое в предыдущих томах повествование о царствовании Екатерины II, освещены события внутренней и внешней политики 1768–1774 гг.

Сергей Михайлович Соловьев
«История России с древнейших времен»
Книга XV. 1773–1774

Двадцать девятый том

Глава первая

Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны

Турецкие и польские дела в 1773 и 1774 годах. Отношения к другим европейским державам за то же время

Мы видели, что в конце 1772 года переговоры на Бухарестском конгрессе остановились благодаря крымским городам, которых требовала Россия. И в начале 1773 года Обрезков доносил, что все затруднение состоит в этих городах, Керчи и Еникале, которых турки уступить никак не хотят, и конгресс разорвался бы, если бы он не обещал переписаться о городах со своим двором. Вслед за тем Обрезков извещал, что желание Порты окончить войну охладевает и это надобно приписать проискам врагов России в Константинополе. Обрезков писал прусскому посланнику Зегелину в Константинополь, чтоб тот уговаривал там согласиться на уступку Керчи и Еникале. Зегелин стал уговаривать рейс-эфенди, но тот отвечал: «Порта сделала все для успешного окончания переговоров: согласилась на уступку Азова и Таганрога, на известные гарантии для грузин, молдаван, казаков, на торговлю русских подданных на Черном море и архипелаге, хотя морские державы единодушно советовали противное; Порта согласилась, что для безопасности от татар Россия может укрепляться как ей угодно. Но от уступки Керчи и Еникале зависит благосостояние Оттоманской империи; если б даже Россия обязалась никогда не строить там военных кораблей, то и это не обеспечивало бы нисколько в будущем, потому что Россия может приготовить все материалы на Дону и при первом разладе с нами перевести их в Керчь и Еникале; в три или четыре месяца русский флот в числе 12 или 15 кораблей появится на Черном море и предпишет законы Константинополю. Наше решение непреложно: если Россия уступит насчет Керчи и Еникале, мир будет заключен; но, если она будет настаивать на своем, мы будем продолжать несчастную войну, хотя бы привелось нам всем погибнуть, ибо если предназначено Турецкой империи погибнуть, то мы не можем этого избежать». Обрезков переписывался также и с австрийским интернунцием в Константинополе Тугутом, ожидая и от него содействия в заключении мира, но Зегелин писал Обрезкову: «Князь Кауниц пожаловался моему государю на меня, что я внушал Порте: если она не заключит скорее мира, то весною австрийцы соединятся с русскими для отнятия у Турции того, что прежде им принадлежало. Из этого я заключаю, что со стороны Австрии нам нечего ожидать для ускорения переговоров, ибо на самом деле внушение, мне приписываемое, было бы самым действительным средством образумить турок; и если бы в Вене и боялись этим слишком ускорить мир и помешать, быть может, тайным замыслом, то я не вижу, зачем так ратовать против подобного внушения, которое ни в чем не вредит венскому двору, будучи сделано не его министром». Но Румянцев не был доволен и прусским министром, он находил в его письмах «и волчий рот, и лисий хвост...». Все окрестности являют, писал Румянцев Обрезкову, что «друзья неприятелей наших и нам прямые враги суть; но наши приятели, напротив того, доброхотство и пособие им и нам размеряют собственною своею пользою и выгодою. Признали уже они артикулы, главнейшее запинание в совершении настоящей мирной негоциации составляющие, более значащими в мнении, а не существенную опасность содержащими; но не видели мы еще от них добрых услуг или сильных убедительных представлений, которые могли бы склонить трактующих с нами к соглашению на оныя».

Между тем 3 января в Петербурге в заседании Совета по поводу донесений Обрезкова императрица написала: «Кораблеплавание на Черном море Россия требует свободное. Все прочие турецкие раздробления излишни, ибо по мелководью большие военные корабли по Черному морю ходить не могут; и

российские военные суда, кои строятся на Дону, по мелководью меньше всякого по сию пору на Черном море видимого турецкого купеческого корабля». К этому Екатерина прибавила устно, что после такой славной войны было бы предосудительно для империи и для собственной ее славы сносить предписания турок. На это Совет представлял императрице, что надобно снабдить Обрезкова новыми наставлениями на случай, если бы турки заупрямились и не стали заключать мира без ограничения русского кораблеплавания или без получения ими места в Крыму; что в таком случае лучше согласиться на ограничение кораблеплавания, чем допустить турок опять укорениться в Крыму; что, имея торговые суда, можем их всегда в случае надобности обращать в военные; что и при этих условиях мир наш славен и полезен будет и было бы очень прискорбно, если бы война возобновилась, особенно когда шведские дела находятся в таком натянутом положении. Императрица отвечала на это, что страх пред шведами обличает сомнение в собственных своих силах и что она не согласится переменить своего решения о кораблеплавании, пока Совет не представит ей причин более важных.

От 26 января Обрезков уже писал Панину, что «со склонностью Порты к достижению мира случилась весьма явная перемена, так что не токмо успех вверенной ему негоциации становится сумнительным, но и не без опасности быть скорому конгрессу разорванью». Порта обнаруживала явное намерение не уступать России ни одной гавани на Черном море. Обрезков употреблял последние усилия, чтоб не разорвать конгресса: зная страшную скупость султана, он предложил, что Россия откажется от денежного вознаграждения за военные убытки, если Порта согласится на все другие ее требования. Послали в Константинополь за решением, и на конференции 9 марта был объявлен ответ: за все завоеванные Россией земли и теперь возвращаемые Порта платит 12 миллионов рублей, а за то, что Россия отстанет от требования Керчи и Еникале и согласится на ограничение кораблеплавания на Черном море, заплатит еще 9 миллионов. Обрезков отвечал, что если бы Порта предлагала все сокровища мира, то Россия и за них от своих требований не отстанет. Тогда турецкий уполномоченный Абдул-Резак-эфенди объявил, что больше уже переговаривать не о чем и он уезжает. Обрезков сказал на это, чтобы он прислал записку, сколько ему нужно подвод. Турок смутился и начал говорить: «Если мы переговоры разорвем, то после опять начать их трудно будет, и войне не вечно же быть; лучше бы переговоры не разрывать, а, расставшись, мне быть за Дунаем, а вам в каком-нибудь месте по сию сторону Дуная и продолжать переговоры письменно». Обрезков согласился. Уполномоченные расстались самым дружеским образом и обнялись почти со слезами. «Могу поистине сказать, – писал Обрезков, – что я почти весь век свой с этой нациею изжил, но такого добродетельного и добродетельного человека не нашел». Обрезков поселился в местечке Романе. Зегелин писал ему из Константинополя, что против его ожидания разрыв и второго конгресса не произвел в столице сильного впечатления: здесь более согласны на продолжение войны, чем на заключение мира на русских условиях. Рейс-эфенди говорил ему: «Можем ли мы уступить татарскому хану независимость, какой требует Россия? Это противно нашим законам, нашей религии, ибо невозможно, чтобы два мусульманских государя так близко царствовали друг от друга; надобно, чтобы их хан признавал султана своим

главою или чтобы султан подчинился хану; равенство здесь невозможно; это наша конституция, которая не может быть изменена, разве при окончательном падении нашей империи. Уступить Керчь и Еникале все равно что войти в зависимость от России, которая в короткое время построит там страшный флот и будет предписывать нам законы».

Еще до разрыва Бухарестского конгресса из Петербурга предписывали Обрезкову грозить, что перемирие возобновлено не будет, и этою угрозою понуждать Порту к миру. Но Румянцев был с этим не согласен и писал Обрезкову: «Объявить сие, и так заблаговременно, было бы власно, что разбудить турков от настоящего усыпления и понудить их повсеместно взять должные на такой случай меры, причем не только не легко уже нам будет ударить на какой-нибудь чувствительный для них пункт, но можем иногда по нынешнему войск ослаблению упреждены быть и от них и потерпеть случающийся урон наипаче в слабых частях. Чем внезапнейшие, тем и полезнейшие быть бы могли наши действия. И для того я мню, что буде настоить сомнение заключить желаемый мир, то лучше усыплять неприятеля в настоящем военном нерадении и тишине, нежели устрашением нудить его устроить свои обороты, ибо всякий, кому бы ни сказать, что готовлюсь тебя бить, натурально примет к отвращению меры взаимства». Румянцев досадовал на графа Алексея Орлова, который был против перемирия, жалуясь на то, что он обезоружен, лишен средств продолжать успешные действия и подвергнут опасности. Румянцев в своих письмах к Обрезкову говорил по поводу этих жалоб: «Что бы он мог такое сделать в продолжение четырех месяцев? Мало ему было трех лет для совершения этих подвигов?»

Румянцев был сильно рассержен тем, что прошлого года армия его была ослаблена взятием нескольких полков в предположении войны шведской. После эти полки велено было возвратить, но Румянцев писал Обрезкову: «Мы, когда возвышаем наши требования, тогда не ищем тех способов, которые в таких случаях сущим суть подкреплением, т.е. чтоб умножать свои силы против неприятеля, но паче их ослабляем в виду, так сказать, врагов, на то взирающих. Оставление взятых полков, которые к первому делу по дальнему переходу и поспеть уже не могут, не надеясь, чтобы в неприятеле ту же имело содеятельность, какову он получил к своему возободрению от их прежнего движения. Дни долгого перемирия не послужили нам к достаточному себя снабдению к военному делу. Еще не бывали рекруты, многих нужнейших аммуничных вещей не привезено, а потому ежели в марте открывать кампанию, то не только не будет здесь сил к предприятию какому-либо знаменитому, но едва их станет на защиту себя и удерживаемого края против стремлений неприятельских. Я говорю с полною дружескою доверенностью, что у меня ни здоровья, ни смысла не стает уж для таких трудных изворотов, в которых не имею вспоможения, но паче ослабляют прилагаемые труды к трудам. Все другие держатся правила, что, желая твердого мира, надобно быть готовым к войне, а у нас сему противное видим, ибо армия здешняя, вы сами видите, сколько не имеет для себя надобного».

Когда Обрезков дал знать Румянцеву, что переговоры не могут повести к миру и потому главнокомандующий должен быть готов к возобновлению военных действий, то Румянцев отвечал: «Не нетрудно сие исполнить, ибо у нас еще и рекруты не прибыли, и если часть каких запасов для одеяния получена, то в сие

только время принимаются обшивать солдат. Доставка сюда всякого снабдения заблаговременно не зависит от меня, но тем располагают другие; итак, отверзтие кампании при исходе зимы придет ни по числу сил, ни по готовности у нас полного снабдения; но живу всегда вопреки русского присловья: *хоть не рад, да готов*, т.е. ко всему рад, хотя готовности и мешают все противоборства». Обращаясь опять к Орлову, к его возражениям против перемирия, Румянцев писал: «Флот наш имеет путь открытый, и не привязывает его к себе никакой остров, вместо того что здесь всякий шаг земли нельзя оставить без предосуждения оружию; следственно, и защита земель пространных, приобретенных завоеванием, весьма разнствует от плаванья по водам беспрепятственным. Не могу я скрыть пред вами в рассуждении моей искренней дружбы моих мыслей, до коих меня доводит жестокий упадок телесных сил. Многия лета проводил я, следуя движениям любви к отечеству и усердной склонности к делу военному. Не будучи никогда в счастливом положении, чтоб по собственному желанию избирать себе случай, но что на меня возлагали, то я исполнял без подобных другим жалоб. Теперь болезненные припадки так меня обессиливают, что я едва могу препроводить короткое время, ежели будет зимняя кампания, а в дальнейших уже подвигах я не льщу себя участием. К понесению военных трудов, во-первых, надобна естественная сила, а я уже лишился оной. Бой ваш политический в самом жарком воспалении имеет средство к своему утолению; но наши схватки всегда кровопролитны, так что раз опрокинутая их тягость редко низложенному даст подняться на ноги и решенному одним сражением не воспротивляются целые веки. Военные битвы и способы к тому явны всей публике, следственно, суд и обвинение тут неизбежны, а оправданию едва бывает место, но связь и пружины сил ваших и их действия скрывают кабинеты от всякого других проницания».

От 28 февраля Румянцев получил высочайшее повеление – «вынудить у неприятеля силою оружия то, чего доселе не могли переговорами достигнуть, и для того с армиею или частью ее, перешед Дунай, атаковать визиря и главную его армию». Уведомляя об этом Обрезкова, Румянцев писал: «Тебя я, мой дражайший друг, имею, так сказать, по боге свидетелем нашего здесь состояния, а потому и не затрудняю тебя дальнейшими объяснениями, зная, что твое проницание лучше всех видит наши к тому силы и удобство, особливо, когда надлежит сломать прежде крепкие преграды, т.е. разбить силы неприятельские и овладеть городами, стан визирский закрывавшими, и когда на все стороны осматриваться надобно, чтоб не проронить чего-либо к предосуждению безопасности мест, нами оберегаемых, то сколь способно мне к одному месту тронуться; и по дружеству и благосклонности ко мне легко заключать можешь мои тут затруднения. Присовокупить надобно, что и время не сходствует для таковых поисков, когда стужа заставляет искать всякого убежища в избе, а, преодолевая суровство времени, себя только преодолеваешь и приводишь в несостояние в удобное время к действиям».

Румянцев писал точно так же самой императрице о неудобствах перехода через Дунай, переслал ей мнения генералов Салтыкова, Потемкина и Вейсмана о тех же неудобствах; король прусский также советовал не переходить за Дунай – ничто не действовало, Екатерина настаивала на переход. В апреле русские войска начали наступательное движение с выгодою для себя; попытки турок

переправиться на левый берег Дуная были неудачны. Русский отряд под начальством полковника Клички переправился за Дунай, разбил несколько раз турок и возвратился назад, как то делывал Вейсман в 1771 году; попытки турок против Журжи и Слободзеи кончились для них очень неудачно. В мае Суворов, переведенный из Польши в Дунайскую армию, начал и здесь блистательно свою деятельность, овладев Туртукаем. Но «случилось дознать и неудачу как следствие жребия военного, не всегда приверженного одной стороне»; по словам Румянцева, эту неудачу потерпел полковник князь Репнин, который сам раненый достался в плен туркам с двумя майорами Дивовыми и несколькими обер-офицерами. «Поверхность, неприятелем в сем разе приобретенная, ничего и наималейше не переменяет в нашем положении, – писал Румянцев, – да и утрата толь малого числа людей ничего бы по себе не значила, ежели бы в ней не было персоны князя Репнина, каковых знатных пленников во всю войну еще не имели турки, и по сему пункту, а наиболее и по персональному моему доброжелательству к их фамилии чувствительно мне прискорбен сей случай. Между тем наши движения идут, чтоб заплатить врагам с лихвою. Г. Вейсман со своим корпусом уже за Дунаем, и я в споспешествовании дальнейшим действиям подвигаюсь берегом вверх сей реки».

Вейсман, переправившись за Дунай, не замедлил известить фельдмаршала о победе: 27 мая он напал при Карасу на неприятеля, стоявшего в 12000 пехоты и конницы, и нанес ему поражение; турки потеряли более 1000 человек убитыми; русским достался весь их лагерь с 16 пушками. После этого Румянцев решился переправиться через Дунай у Горабала или Бали-Багаса. Но тут стояло 6000 турок с пушками. фельдмаршал велел Вейсману зайти им в тыл от Карасу и Потемкину высадиться и идти прямо им в лицо. 7 июня оба генерала одновременно с двух сторон подступили к неприятельскому лагерю, и в то же время фельдмаршал с главным войском показался на левом берегу Дуная, ведя наравне со своим движением суда, собранные для переправы. Турки оторопели и при первых выстрелах бросились в бегство; русская конница поскакала за ними и истребила более 300 человек; обоз достался победителям. Очистив назначенное для переправы место, Румянцев в тот же день велел перевозить войска и 11 числа сам перешел Дунай. Разбивши еще раз турок на реке Галице, русские стали лагерем у Силистрии.

Еще прежде, когда Румянцев дал знать в Петербург о намерении своем переправиться через Дунай и о взятии Туртукая, гр. Григорий Орлов говорил в Совете, что по настоящему расположению фельдмаршала он видит, как Румянцев намерен исполнить теперь то, что он, Орлов, предлагал ему в прошлогоднее свидание, а именно переправиться за Дунай между Черным морем и Карасу и утвердить там левое крыло армии; визирь, находясь на другой стороне Карасу, не мог бы отрезать нашего войска по дальности обхода, напротив, сам нашелся бы в опасности быть отрезанным; таким положением мы могли бы отворить себе путь за горы и, потревожив столицу неприятеля, заставить его согласиться на мир. Узнав о переправе Румянцева, Екатерина 28 июня, в день восшествия своего на престол, написала ему, что так как он сделал этот день для нее радостным, то она пожаловала сына его (Михаила) полковником, и желала божеской помощи во всех впредь за Дунаем предприятиях.

К Вольтеру Екатерина писала: «Вашему любезному Мустафе придется опять быть отлично поколоченным после переговоров, разрыва двух конгрессов и

перемирия, продолжавшихся почти целый год. Этот почтенный господин, по-моему, вовсе не умеет пользоваться обстоятельствами. Нет сомнения, что вы увидите окончание этой войны. Надеюсь, что переход через Дунай будет способствовать этому двояким образом: он вас обрадует и сделает султана створчивее».

Но Румянцев в 1773 году приготовил Екатерине такую горькую нечаянность, какую она испытала от Голицына в 1769 году. Несмотря на несколько удачных схваток с турками, овладение Силистриею оказывалось невозможным по причине сильного гарнизона, простиравшегося до 30000 человек; на предложение сдаться комендант отвечал, что русские не получают ни одного камня и ни одного гвоздя из Силистрии. От Шумлы шел Нуман-паша с целью напасть на русскую армию с тыла в то время, как с другой стороны на нее нападут войска из Силистрии. Навстречу Нуман-паше двинулся Вейсман и встретился с ним 22 июня при Кучук-Кайнарджи. Турки были поражены, потеряли около 5000 убитыми, 25 пушек; но русские заплатили за это очень дорого: знаменитый Вейсман был убит. Несмотря на то что теперь турки не могли прийти на помощь Силистрии, Румянцев 24 июня собрал военный совет, на котором решено перейти назад, на левый берег Дуная: страшно истомленную конницу нельзя было вести вперед, травы не было, лошадей кормили камышом, да и за тем нужно было посылать далеко; дороги трудные, а сражаться не с кем, турок не догнать. Фельдмаршал от 30 июня дал знать о своем обратном переходе на левую сторону Дуная. «Предвидя, – писал Румянцев, – что персональные мои неприятели выводят меня на пробу жестокую, тогда как силы, мне вверенные, приведены в великое ослабление, дерзнул я по чистой совести и долгу всеподданнейшему донести в. и. в-ству о всех трудностях в настоянии перехода за Дунай. Воображения мои тогдашние с испытанием настоящим в том токмо разнствуют, что казавшееся с сей стороны многотрудным далеко больше найдено неудобным. Будучи на той стороне, бывшие со мною там генералы остаются свидетели, сколько я старался до последней черты, не щадя ни трудов, ни жизни, выполнить высочайшую волю в. и. в-ства, имея токмо под именем армии корпус небольшой в 13000 пехоты на все действия с визирскими силами, которые, однако ж, побиты и рассыпаны, – словом не испытано разве только то, чего одолеть не может человечество. Через сей поход многотрудный весьма утомлены люди, а лошади дошли до крайнего изнурения, и я не могу сокрыть пред в. в-ством угнетающих меня теперь трудностей по пункту оборонительного положения, в которое не легко мне попасть с прежнею твердостью, рушившись из оногo до самой пяты. Еще я дерзаю изъяснить пред Вами дух усердного и верного раба о положении сопротивного дунайского берега по очевидному уже моему дознанию, что если бы продолжать на нем военные действия, то не удвоить, а утроить надобно армию, ибо толикого числа требует твердая нога, которой без того иметь там неможно в рассуждении широты реки, позади остающейся, и трудных проходов, способствующих отрезанию со всех сторон, для прикрытия которых надобно поставить особливые корпуса, не связывая тем руки наступательно действующего, который чрез леса и горы себе путь сам должен вновь строить. Поражен давно уже дух мой прискорбностию, что я не удостоиваюсь на письме видеть знаки монаршего благоволения, если только доходят к в. и. в-ству мои всеподданнейшие; сокрушает и то, когда ходатайство мое о многих здесь

служащих не служит на их пользу и без того и упадет в подчиненных ревнование, которых и не имею ничем другим ободрить, да и многие мои донесения о недостатках и нужном ополчении не приобретают содеятельности; и чувствую и предвижу, что когда не в усердии, на которое никто неправды положить не может, то находят во мне недостатки в способностях и, делая меня человеком, встречающим во всем трудности, лишают меня доверенности вашей. Сознаю пред в. и. в-ством, что, служа не первую войну, пять лет сряду ощущал я ослабление в себе душевных и телесных сил, а полагая счастье свое в угождении высочайшей воле в. и. в-ства и в благе отечества моего, охотно я такового желаю увидеть на своем здесь месте, кто лучше находит моего способы удовлетворить обоим сим драгоценным предметам».

15 июля в присутствии императрицы читали в Совете официальное донесение Румянцева о возвращении на левый берег Дуная. Впечатление было сильное: говорили, что возвращение фельдмаршала подаст повод к неприятным толкам, возгордит турок и удалит желаемое заключение мира. Высказалось неудовольствие против Румянцева: говорили, что его требования слишком велики, нет средств увеличить Первую армию в таких размерах, как он хочет; зачем он перешел Дунай, не обсудивши сначала всех трудностей; сражения с неприятелем, происходившие по-пустому, расстроили армию по крайней мере на два месяца. Но как ни сердились, помочь делу можно было только удовлетворением, хотя отчасти, требованиям фельдмаршала. Захар Чернышев предлагал, что по настоящему положению польских дел можно послать в Первую армию несколько полков из находившегося в Польше корпуса, что для ободрения фельдмаршала надобно отвечать на его донесение, уведомить его об увеличении его армии. Совет согласился, согласился и на другое предложение Чернышева – взять из Польши Бибикова, оставив там генерал-поручика Романиуса. Екатерина сама прочла вышеприведенное письмо к ней Румянцева и, указав на жалобу фельдмаршала, велела, чтоб по его представлениям немедленно было исполнено.

Письмо Румянцева было очень ловко написано: он извещал о неприятнейшем событии, возбуждал против себя сильное негодование, но, чтобы это негодование не высказалось, в конце находилось внушение, что если есть человек, который способен вести дело лучше, то он готов передать ему начальство над войском; тут не было прямой просьбы об увольнении, а вызов приискать ему подобного или лучшего. Такого приискать, разумеется, не могли; могли уволить Голицына, потому что в виду был Румянцев, но другого кагульского победителя не было. Румянцев не нашел себе соперника, который бы мог заменить его на Дунае, и, как легко было предвидеть, возбужденное им негодование в Совете кончилось решением ободрить его, увеличить его армию, исполнить его требования относительно наград подчиненным. Но Румянцев нашел себе сильную соперницу в борьбе на письмах. Екатерина отвечала ему также очень искусно, с полным достоинством, снисходительно, милостиво, с постоянным выражением совершенного доверия к искусству полководца, надежды, что он поведет дело как нельзя лучше, и вместе с прочим внушением, что ему не следует предполагать врагов, которые могут вредить ему при ней, с указанием, что и сам он виноват в озлоблении своей армии; наконец, дано понять, что намек фельдмаршала на отставку не испугал ее, что она готова уволить его; но здесь так искусно была отстранена всякая тень неудовольствия, раздражения, что обидеться и

действительно подать просьбу об увольнении было нельзя. «Любя истинное благо империи, – писала Екатерина, – и для того желая не менее многих восстановления мира, чистосердечно вам скажу, что известие о возвратном вашем перешествии через Дунай не столь мне приятно было, нежели первая ваша с армиею переправа чрез сию реку, с которою я вас столь искренно поздравляла письмом моим; ибо мню, что возвращение ваше на здешний берег не будет служить к ускорению мира, оставляя, впрочем, без всякого уважения все пустые по всей Европе эхи, коими несколько месяцев сряду уши набиты будут: сии сами собою, конечно, упадут, причиняя нашим ненавистникам пустое некоторое удовольствие, на которое взирать не станем. Что же касается до ваших персональных неприятностей, о коих вы ко мне упоминаете, что они вас выводят на пробу жестокою, тогда как силы, вам вверенные, приведены в сильное ослабление, и для того вы ко мне о всех трудностях перехода через Дунай живое описание делаете, то, входя во все ваши обстоятельства колико возможно подробнее, откровенно вам скажу, во-первых, что я сих ваших неприятелей, на коих вы жалуетесь, не знаю и об них, окромя от вас, не слышала, да и слышать мне об них было нельзя, ибо я слух свой закрываю от всех партикулярных ссор, ушенадувателей не имею, переносчиков не люблю и сплетней складчиков, кои людей вестьми, ими же часто выдуманнами, приводят в несогласие, терпеть не могу; сии же люди обыкновенно иных качеств не имеют к приобретению себе уважения, окромя таковых подлых. Подобным интригам я дороги заграждать обыкла, уничтожа их; людей же, качествами своими и заслугами себя столь же, как и чинами, от других отличивших, как вы, я не привыкла иначе судить, как по делам и усердию их; итак, надеюсь, что вы по прошедшему времени, в которое вы толикие имели опыты моего благоволения к вам и многочисленным вашим заслугам ко мне и к государству, будете судить о настоящем и о будущем моем к вам расположении... Признать я должна с вами, что армия ваша не в великом числе, но никогда из памяти моей исчезать не может надпись моего обелиска, по случаю победы при Кагуле на нем исчеканенная, что вы, имев не более 17000 человек в строю, однако славно победили многочисленную толпу. Сожалею весьма, что чрез сей ваш бывший многотрудный весьма за Дунай и обратный поход утомлены сии храбрые люди и что лошади дошли до крайнего изнурения; но надеюсь, что вашим же известным мне об них всегдашним попечением и люди, и лошади паки приходиться будут в прежнее их состояние. Что же ваше оборонительное положение рушилось до самого основания и вам не легко будет оное восстановить, сие себе представить могу небеструдным для вас, ибо чрез месяц ваша позиция три разные вида получила; а именно: первая – ваше положение по сю сторону Дуная, потом – наступательная переправа через Дунай и за сим – обратный поход ваш, совокупленный с восстановлением паки оборонительного положения. Все сии, так сказать, переправы, конечно, соединены быть должны с немалыми трудностями и заботами. Но, зная ваше искусство и испытав усердную ревность вашу, не сомневаюсь, что, в каких бы вы ни нашлись затруднениях, с честью из оных выходить уметь будете... Что же ваши телесные силы чрез войну, веденную пять лет сряду, пришли в ослабление даже до того, что вы охотно желаете увидеть такового на вашем месте, который бы так, как вы, полагал счастье свое в угождении воле моей и в благе отечества, о сем осталось мне сердечно жалеть, и, конечно, колико бог подкрепит телесные и душевные силы ваши, империя не

иначе как с доверенностию от вас ожидать должна дела, соответствующего уже приобретенной вами ей и себе славе; но со всем тем если по человечеству свойственным припадкам вы, к общему сожалению и моему, не в силах себя нашли продолжать искусное ваше руководство, то и в сем случае я бы поступила с обыкновенным моим к вам, в подобных обстоятельствах находящимся уважением».

Румянцев в ответе своем (от 18 августа) признал, что почувствовал много отрады от слов и милостей госудапыни, и не хотел оставить без возражения слов ее относительно его врагов: «Что я их, к несчастию, имею, то к чему мои объяснения о том пред в. и. в-ством, яко монархиною, премудрою и проникающею глубоко во все действия и их причины, которыми они против меня прямо идут, и своими новоизобретениями в опровержение моих представляют и подобности, и возможности, и удобства, и иной вид в счете дают на бумаге войску, нежели оный есть в деле, и тем ставят меня в исполнении непреодолимых обстоятельств или неготовым, или неискусным, и всяческими образы смешивают к получению награждения прямых военноподвижников не только наряду старшинства с находящимися вне войны, но и с теми, кои, под разными видами явно удаляясь от службы и нередкие в нареканиях и неудовольствия против меня¹, по новым штатам находят для себя выгодные и полезные места, присвоят двойное жалованье при прежнем отправлении службы и должности; изъедают (т.е. враги Румянцева) из ведения моего чинов, привязанных прямо ко мне и неотлучно бытною, по вверенному над армиею начальству; а чрез то честолюбие как лучшая подпора в службе и уважение к начальнику упадет, негодование же и происки умножаться должны». Румянцев оканчивает письмо так: «По дальнему расстоянию не остается мне надежды заимствовать подкрепление в нынешнюю кампанию от полков, назначенных из польского корпуса; в противном же усердному желанию моему состоянию и при истощении крайних моих сил, быв и теперь несколько уже дней в постели, надеюсь на высочайшую милость в. и. в-ства, щедрым образом всем верно и усердно служащим являемую, что и мне дозволите на подобный случай отлучиться по крайней мере куда-нибудь под кровлю ради спасения последних моих жизненных сил, ибо, терпя всю суровость воздуха, в нынешнюю наипаче кампанию, чрез так чувствительные и жестокие перемены погоды наипоразительнее разорено мое здоровье».

В описании действий врагов своих Румянцев ясно указывал на Чернышева, управлявшего военною коллегией; он мог подозревать и Григория Орлова, но тот по крайней мере прямо написал ему, что публика негодует на его образ ведения войны. Румянцев отвечал: «Получа в. с-ства благосклоннейшее письмо, видел я в нем, как велико ваше ко мне усердие и сколько я несчастлив в благоволении к себе публики. Если бы такой был парламент, в который бы можно позвать общество на суд, и если бы и теперь решались дела примером судилища, что Древняя Греция имела под именем ареопага, я бы счет повел с нашею публикою, кто из нас против кого неблагодарен: я ли еще оной, или уже она мне должна? Век провождая в поте и трудах, не вкусил я той радости, что ощущаем, получа воздаяние своим заслугам. Все трудящиеся имеют меру и цену своим делам, но для одного меня предоставлено всегда делать и тем только заслуживать негодование. Пускай

забыты дела прежние и я их не вспоминаю, но неужели настоящее положение мое не трогает публику, когда торжествуют войска над оттоманами, где не сражаются в помощь водные стихии, но все учреждает непрерывный труд? Из Рима и из Греции неудовольство публики прогоняло лучших полководцев, их заслуги припоминали только в нужде, а иногда и поздно. И мой жребий, по-видимому, к тому же преклоняет мое отечество: я был уже гоним от общего неудовольствия и готовиться должно и в старости ту же. претерпевать участь, когда моему несчастью причина токмо та, что я не умею себя рекомендовать инако как моею службою. Я уверен, что мой милостивый граф не приемлет участия в публичных обо мне заключениях; итак, я вашу милость и дружбу ко мне поставляю стеною, о которую сокрушатся все ухищрения ищущих мне зла. Между тем скоро мы станем уже пить воду дунайскую».

Но к несчастью, дунайскую воду должны были пить дважды, и, что бы ни писалось из Петербурга, Румянцев был убит горем вследствие невозможности остаться за Дунаем. «Боль во мне душевная не может исчезнуть», – писал он Екатерине, которая находилась также не в завидном состоянии духа.

Английский посланник Гуннинг писал своему двору, что никогда не видал императрицы в таком огорчении; огорчение это, по его мнению, происходило не оттого, что она опасалась теперь вторжения турок на левую сторону Дуная, но оттого, что вследствие непрерывных успехов она не может перенести малейшей неудачи. 19 августа она говорила в Совете: «Требуете вы от меня рекрутов для комплектования армии. От 1767 года сей набор будет, по крайней мере и сколько моя память мне служит, шестой. Во всех наборах близ 300000 человек рекрут собрано со всей империи. В том я с вами согласно думаю, что нужная оборона государства того требует, но со сжиманием сердца по человеколюбию набор таковой всякий раз подписываю, видя наипаче, что оные для пресечения войны по сию пору бесплодны были, хотя мы неприятелю нанесли много ущерба и сами людей довольно числа лишились. Из сего, естественно, родиться может два вопроса, которые я себе и вам сделаю. Первый: так ли мы употребляли сих людей, чтоб желаемый всем мир мог приблизиться? Второй: после сего набора что вы намерены предпринимать к славе империи, которую ни в чем ином не ставлю, как в пользе ее? Оставляя говорить о прошедших, лаврами увенчанных кампаниях, кои неприятеля принудили к мирным переговорам, в ответ на первый сделанный мною вопрос скажу о настоящем положении дел, что, к сожалению моему, вижу я, что сия кампания повсюду бесплодно кончится или уже и кончилась и осталось нам помышлять, не теряя времени, о будущем. Дабы очистить второй мною сделанный вопрос, я повторяю, чтоб, не теряя времени, помышлять о том, что в предыдущую кампанию предпринимать нам занужно почтено будет; разве за полезно почтете, чтобы сухопутные и морские наши против неприятеля силы остались точно в том положении, в каком ныне находятся; положение не действующее, которое я за полезно для приближения желаемого нами мира не почитаю и которое, по моему мнению, нам скорее вторую сзади войну нанесет, нежели настоящую прекратит. Из рекрутского, мне предлагаемого вами набора заключаю я, что вы упражняетесь снабдением армий. Напомнить я за нужно вам нахожу, дабы вы Азовского моря эскадру из памяти не выпускали и оную по возможности привели в наиудобнейшее для дел состояние. Но наипаче вас прошу и вам повелеваю: со всякою ревностию и усердием стараться единодушно сделать

план, снабдить к будущей кампании всех разных командующих силами нашими такими наставлениями, дабы они вообще нашлись в состоянии действовать против общего неприятеля и наши употребленные к тому силы к одному бы предмету ведены были, то есть к достижению блаженного мира, в чем да поможет нам всевышний. Еще раз весьма вас прошу, чтоб все сие не осталось при сих на бумагу написанных словах». Подписав указ о рекрутском наборе, Екатерина стала говорить о необходимости беречь новобранцев; некоторые члены Совета представили, что смертность между ними происходит от перемены образа жизни и необыкновенных переходов вследствие пространства империи; императрица приказала, чтоб Сенат вместе с гр. Чернышевым рассмотрел и принял надлежащие меры к пресечению случающихся при наборах злоупотреблений и чтобы для облегчения и сбережения этих непривычных людей армия комплектовалась гарнизонными солдатами, а гарнизоны – рекрутами.

Вследствие этих распоряжений в заседании 27 августа Чернышев читал свое мнение, что по принятым теперь мерам для увеличения Первой армии к будущей кампании до 116000 человек надобно потребовать от фельдмаршала заблаговременно мнения, как он намерен действовать; что с увеличенною таким образом армиею, кажется, можно, оставя на этой стороне Дуная нужное число войск, перейти на ту сторону и там утвердиться; что Вторая армия, защищая по-прежнему Крым, может с помощью флота овладеть Кинбурном; если Первая армия не будет в состоянии перейти за Дунай и останется в настоящем положении, то надобно отделить от нее значительный корпус в помощь Второй армии для взятия не только Кинбурна, но и Очакова, а между тем надобно стараться достигнуть желаемого мира переговорами, отставши от некоторых условий, особенно от требования Еникале и Керчи, приобретение которых более вредно, чем полезно (?). Тут Панин удивил всех предложением, нельзя ли для сохранения рекрут послать в армии солдат из гарнизонов из здесь находящихся полков, а их место занять рекрутами. Чернышев отвечал, что в прошедшее заседание императрица именно приказала это сделать. В заседании 2 сентября генерал-прокурор предлагал, нельзя ли дать графу Алексею Орлову свободу не пропускать провозимые в Константинополь съестные припасы посредством договора с Англиею; но на это Панин отвечал, что прежнее запрещение провоза припасов возбудило неудовольствие не только Франции, но и всех торгующих держав и что, не будучи в состоянии им там противиться, мы не можем теперь возобновить это запрещение. Члены Совета так желали мира, что соглашались на уступку татарам всех городов, в том числе Керчи и Еникале, даже на ограничение для России плавания по Черному морю. Один Григорий Орлов был противоположного мнения и доказывал, что никакие уступки не помогут, турки не согласятся на совершенное отделение татар, разве в крайности. Прусский король предлагал три средства к достижению мира: 1) принудить к тому Порту силою оружия; 2) пригласить к содействию австрийский двор; 3) отстать от некоторых условий, на которые Порты упорно не соглашается. Екатерина заметила по поводу этих предложений: «Заставить турок силою подписать мир. Для достижения этого надобно, чтоб в армии фельдмаршала Румянцева было действительно 80000 человек; кроме того, надобно заготовить магазины на целый год, надобно иметь на Черном море флот для овладения Варною. Предприятие требует больших издержек и будет стоить множества народа. Пригласить венский двор

содействовать этому великому делу диверсией со стороны Белграда – это будет наименее выгодно для России, ибо венский двор захочет извлечь для себя такую значительную пользу, которая не будет согласоваться ни с действительным интересом России, ни с интересом других европейских государств. Уступить в некоторых условиях, особенно тяжелых для Порты, пожертвовать некоторыми выгодами в пользу мира, вознаградить себя Очаковым или Бендерами за уступки. Первое есть самое блестящее, но и самое опасное; второе даже самое слабое и наименее политичное; третье находится в середине между обоими; это путь самый верный, и можно считать его самым благоразумным».

В ноябре получено было в Петербурге донесение прусского министра в Константинополе, что турки могут уступить России Кинбурн, если она отстанет от требований Керчи и Еникале. Мы видели, что и прежде в Совете соглашались уже не требовать Керчи и Еникале; и теперь начались толки, что приобретение Кинбурна может быть нам полезно как для постоянного содержания на Черном море флота, так и для заведения в той стороне торговли не только с турками, но и с Польшею по удобству водяного сообщения из него; что для этого надобно будет основать на Днепре ниже порогов торговый город, которому Кинбурн, отрезанный каналом от твердой земли, служил бы, как Кронштадт Петербургу; а для сообщения с Кинбурном сухим путем должно получить нам от татар весь левый берег Днепра верст на пять шириною. Гр. Панин, «министр иностранных дел», как его начали называть, представлял, что Порте трудно отказаться от Керчи и Еникале в нашу пользу, а нам неудобно их содержать, и требовал, чтоб прусскому министру в Константинополе было поручено устроить дело соглашения на этом основании. Но Орлов опять представил свои возражения: Кинбурн, крепость небольшая, не имеющая гавани, не может вознаградить за уступку Керчи и Еникале, не может принести никакой пользы; торговля будет подвержена затруднениям по причине порогов и мелей; и если уже непременно нужно будет отдать Керчь и Еникале татарам, то должно стараться получить вместе с Кинбурном Очаков и всю землю, лежащую между Днепром и Днестром, не допуская татар селиться в Бессарабии. Ему возражали, что турки на это не согласятся. По случаю этих споров в Совете признались в ошибочности плана относительно независимости татар, признались, что «на совершенное татар от турок отделение потребно еще много времени и трудов». Сама Екатерина пристала к тому мнению, что турки не согласятся на уступку Очакова. Орлов представлял, что можно согласиться на сие разорение; что тогда, выговорив в трактате свободу обеим сторонам строить крепости, можем построить вместо Очакова лучшую крепость; если мы будем иметь землю между Днепром и Днестром, то станет выходить множество молдаван и валахов и скоро всю ее заселят, земля эта станет тогда преградою между турками и татарами, пресечет между ними всякое сообщение сухим путем. Захар Чернышев возражал, что земля эта обойдется нам дорого, нужно будет заводить там крепости и держать в них гарнизоны. Орлов отвечал, что нет нам никакой надобности в крепостях. Кто-то заметил, что у татар будет плохая вольность, если оставить за султаном как калифом верховную власть в верховных делах, если допустить, что татарские судьи будут определяться константинопольским муфтием. Панин на это повторил признание, что независимость татар вдруг утвердить никак нельзя, что это дело еще много трудов потребует. Наконец, Екатерина приказала чрез прусского

министра внушить туркам, что Керчь и Еникале оставлены будут татарам, но за это Россия должна получить Очаков и Кинбурн, и при этом объявить, что императрица никогда не отступит от условий о татарской вольности и от плавания по Черному морю, хотя бы война продолжалась еще 10 лет. Когда Екатерина вышла из Совета, Панин предложил на его решение вопрос: как заключить мир с Портою, непосредственно ли или посредством австрийского и французского дворов? Совет решил, что непосредственно, хотя бы мы этим способом и не получили тех выгод, какие могло бы нам доставить постороннее посредство.

Как ни протестовал Румянцев против тяжелого впечатления, произведенного его обратным переходом за Дунай, он видел хорошо, что нельзя дать году окончиться под этим впечатлением. В октябре он отправил за Дунай два отряда войск под начальством генерал-поручиков барона Унгерна и князя Долгорукого, которые напали на турок у Карасу и нанесли им совершенное поражение: весь лагерь с 11 пушками, 18 знамен, три бунчука, множество военных припасов досталось победителям; турки потеряли 1500 убитыми и 772 пленными, в том числе был трехбунчужный паша Омер; город Базарджик, оставленный неприятелем, был занят русскими. Унгерн и Долгорукий немедленно отправились далее, чтоб схватить Варну и Шумлу, по выражению Румянцева. Генерал-поручик Потемкин в то же время осаждал Силистрию, и на помощь к нему двинут был генерал-поручик Глебов. Румянцев воспользовался этими успехами, чтоб отделаться от составления плана для будущей кампании, которого у него требовали из Петербурга. Он писал императрице: «Я питаю и теперь в себе ту же прискорбность, с которою поступил я на обратный переход из-за Дуная; но в. и. в-ство в моих донесениях кроме причин, к тому нудивших, соизволили видеть исполнение, в том последовавшее, согласно совета всех генералов, из которых, ежели бы хотя один тогда вызвался знать лучшие к чему-нибудь способы, я бы, конечно, в том каждому последовал. Я ждал времени и случая и сими обоими воспользовался знаменитее, нежели иногда от самых больших предположений. Плен из неприятельских войск немалый, и между оным первостепенных чинов; получили всю артиллерию неприятельскую; и город Базарджик был в наших руках без всякой почти потери и без пушечного выстрела, ибо меры наступления и действий наших толь удачно приняты в сию пору, что неприятель толико стеснен и нуждою и страхом, что бежит от лица идущих на него войск, потеряв свой стан и лишась толь нужных ему приготовлений для зимы. Планы, обыкновенно делаемые в начале только войны или в начале кампании для согласного учреждения Движений и содействий, предполагаемых от разных и дальних пунктов или в общем деле с союзниками, бывають, однако ж, подвержены нередкой перемене, но при сближении к неприятелю предается тогда искусству военачальника располагать дальние предприятия на него по видимой на то время и удобства, и предстоящим обстоятельствам; и я долгое уже время со вверенными мне войсками разделяюсь с неприятелем, и то не везде, одною только рекою; следственно, сколько ежедневно может² перемывать свое положение, столько неудобно, а наипаче теперь, назначать и нам свои против него действия на будущее время, которые, по моему мнению, зависят более от случаев и начального на то время усмотрения, ибо сии последние части открывают путь к знаменитым

предприятиям, нежели великие предположения быть могут выполнены без препятствия и затруднения».

Приехавший с этим письмом 14 ноября кн. Васил. Долгорукий обнадеживал императрицу, что дней через шесть могут быть получены известия об успехе Унгерна и кн. Юрия Долгорукого. Но прошли две недели с лишком, и 29 ноября получено известие, что предприятие Унгерна на Варну не удалось, а кн. Долгорукий, сделавши один переход к Шумле, возвратился назад к Карасу. О том, что делалось под Силистриею, фельдмаршал ничего не писал. «Что у Силистрии произошло, – писала Екатерина Румянцеву, – о том вовсе вы не упоминаете и оставляете меня в глубоком неведении, а мысли мои в произвольном волнении, которые, однако ж, более склонения имеют ни малейшей полагать надежды на бомбардираду, с которой город не возьмется, ниже больший ему вред не причинится. Но хотя следствия у Карасу произведенного бою не были таковы, как на первый взгляд они обещали быть, однако же не менее сие дело подтвердило, с одной стороны, утвердившиеся мнения о храбрости наших войск и что в поле сей неприятель поверхности не будет иметь в теперешнем оного состоянии и обстоятельствах, лишь бы где атакован был, а с другой – не может иначе как полезно быть для дел наших всякое за Дунаем ваше предприятие; и тут, конечно, всякий ваш шаг споспешествует или отдаляет народный покой и тишину, совокупленную с блаженством оного. И в таком виде с немалым удовольствием услышала я о карасуйском деле; сожалею только по позднему годовому времени, что все сие не может иметь толиких польз, как из того произойти могло, если б предпринималось месяцев с шесть тому назад». Сделав таким образом внушение Румянцеву, что он сделал дурно, вернувшись из-за Дуная, что на нем лежит ответственность за продление тяжелой войны, Екатерина продолжает: «Но дабы будущий год также по-пустому не прошел и дабы недостаток в пропитании опять не служил препятствием к действию, не могу оставить вам сызнова накрепчайшим образом подтвердить, чтоб вы старались к будущей кампании наполнить ваши подунайские магазины так, как я к вам писала, дабы действиям вашим на супротивном берегу не могло причиниться остановки, и кампания та не прошла без достижения мира сильным употреблением оружия, о чем немедленно от вас ожидаю много уже раз мною от вас требуемого мнения, которое, если еще долее замедлится, опасность настоит, что не ко времени приспее; и, следовательно, на будущий год во всем паки опоздать можем, в чем ни пользы, ни славы, ни чести не вижу. Каковы бы усердие и ревность в сердце империи служащих знаменитых людей, как вы, ни были, каковы труд и радение, мною ежечасно прилагаемые, ни будут, но свет вас и меня судит по одним успехам нашим; сии нас в мыслях людских оправдают (оправдывают) и обвиняют попеременно, а наипаче в теперешнее время, когда после пятилетней счастливой войны подданные ждут мира единственно от действий ваших». 30 декабря Совету объявлена высочайшая воля: предписать гр. Румянцеву, чтоб он в будущую кампанию по взятии Варны и разбитии визиря в Шумле не полагал Балканы пределом военных действий. Положено заготовить к нему рескрипт, где, выразив эту волю, оставить производство действий за Дунаем на его благоусмотрение.

Разрыв мирных переговоров вызвал к деятельности и русский флот. Еще в сентябре 1772 года новоприбывшая из Балтийского моря эскадра под начальством капитана Коняева сожгла при Патросе 16 турецких судов; в то же время русские

суда «делали неприятелю разорение и тревогу» у берегов Египта и Сирии, где поддерживали восставшего против Порты египетского пашу Алибея. В 1773 году русские корабли явились снова у берегов Сирии под начальством капитана Кожухова. Друзы обязались признавать над собою покровительство России и воевать с турками, пока русские воюют с ними; русские осадили Бейрут, принудили его к сдаче и отдали крепость друзам, которые по условию заплатили им 250000 пиастров; деньги эти были разделены по эскадре, причем десятая доля пошла главному командиру над всем флотом. Между начальниками судов в этих экспедициях мы видим греков и южных поморских славян, которые, по отзыву Спиридова, «для своих прибылей гораздо храбрее, нежели как из одного только жалованья служили». Любопытно, что Орлов запретил нейтральным судам вход в Дарданеллы и предписал Спиридову, чтоб тот и при постановлении условий перемирия настоял на этом запрещении. Но Совет решил изъяснить Орлову, что это может не только удержать турок от заключения перемирия, столь нужного для России, но и обратить против малочисленного русского войска все силы и притом ввесть нас в новую войну с «ненавидящими нам» французами.

Императрица была недовольна тем, что флот, не имея десанта, не мог сделать ничего важного, не мог помочь сухопутной армии принудить турок к заключению мира. Осенью 1773 года находились в Петербурге гр. Алекс. Григор. Орлов и контр-адмирал Грейг. В Совете происходили любопытные рассуждения по поводу их требований. В заседании 3 октября императрица спросила членов Совета, с какою целью они хотят посылать новую эскадру в Архипелаг; находящийся там флот стоит много, а не может наносить вреда неприятелю. «Если он, – сказала Екатерина, – может быть употреблен для какого-нибудь предприятия и надобны будут на него сухопутные войска, то я беру на свое попечение их доставить», Ей отвечали, что эскадра отправляется по требованию гр. Алексея Орлова для перемены обветшалых кораблей, и если флот не находит способа вредить неприятелю, то все же облегчает сухопутную армию, отвлекает от нее неприятеля. Императрица приказала при будущих рассуждениях о флоте приглашать в Совет гр. Алексея Орлова и прибавила, что, любя порядок, почитает своею обязанностью наблюдать, чтоб ничто в ее империи не оставалось без пользы. Чрез три дня, 7 октября, в Совете присутствовал Алексей Орлов. Императрица спросила его, в каком положении находятся дела в Архипелаге и нельзя ли извлечь из флота большую пользу. Орлов отвечал, что из находящихся там кораблей пять совсем обветшали, что в нынешнюю кампанию он намерен был разорить Салоники и Смирну для пресечения привоза запасов к неприятелю чрез эти места, но болезнь принудила его оставить флот. «Я не думаю, – говорил Орлов, – чтоб неприятельский флот мог появиться в архипелаге; турки с тех пор, как узнали малочисленность наших сухопутных сил там, уж не так их опасаются; побеждаемы они были малым числом, потому что обыкновенно пугаются всего того, о чем не знают, но, пришедши потом в себя, принимают достаточные меры». Тут начал говорить гр. Григорий Орлов: «Это свойственно туркам, как и всем невеждам; потому-то и не надобно давать им время на размышление, а стараться пользоваться их замешательством; также надобно поступать с ними и при мирных переговорах; этим средством можно скорее получить желаемое». Императрица заметила, что, по ее мнению, полезнее предпринять что-нибудь на одном европейском берегу как ближайшем к неприятельской столице. На это Чернышев

и Алексей Орлов отвечали, что с малым числом войск нельзя утвердиться на этом берегу, где неприятель может собраться тотчас в числе 40000, и потому предприятие может принести одну пользу – встревожить турок на время и привлечь их силы в ту сторону. Гр. Панин заметил, что отправление в Архипелаг новой эскадры может причинить неприятелю новые беспокойства и он надеется, что зимою турки возобновят мирные переговоры. Императрица отвечала на это: «Мое намерение состоит в том, чтобы, не полагаясь на заключение мира, приняты были сильные меры для достижения этого к будущей кампании; долгая война приводит народ в уныние, и потому никто так мира не желает, как я. Надобны ли во флот сухопутные войска и сколько, довольно ли 20000?» Алексей Орлов отвечал, что с 20000 мог бы он идти прямо на Константинополь. Императрица спросила: «Нельзя ли овладеть Галлиполи; я бы могла доставить на флот четыре или пять тысяч иностранного войска». Чернышев отвечал, что от иностранного войска будут большие неудобства; а Панин заметил, что враждебные державы, узнав об этом, могут выставить препятствия. «Кроме всех неудобств при употреблении иностранных войск, – сказал Алексей Орлов, – всякий успех будет им приписан; для избежания мнения, что мы без англичан ничего сделать не можем, я всегда старался употреблять, сколько можно, своих офицеров». Императрица на это заметила, что при Петре Великом были примеры употребления иностранных войск и надобно сравнивать неудобства с выгодами. Екатерина вышла из Совета, выразив ясно свое неудовольствие на ход войны. «Флот, – сказала она, – не делает ничего, и армия едва действует, а неприятель этим пользуется, и все это происходит собственно от нас». По выходе императрицы Алексей Орлов предложил Совету отправить с Грейгом новую эскадру, не теряя удобного времени, разрешив ему бить встречных варварийцев; Совет согласился. Орлов предлагал также не заключать с турками перемирия, чтоб не дать им в это время пользоваться советами французов. О себе Орлов говорил, что видит волю императрицы, чтоб он продолжал начальствовать над флотом, от чего как усердный сын отечества не уклоняется, но не может отвечать за себя в исправном исполнении возложенного на него дела, потому что подвержен частым болезненным припадкам, 21 октября Грейг вышел из Кронштадта с двумя кораблями, двумя фрегатами и шестью транспортными судами.

Положение дел в Крыму также должно было возбуждать неудовольствие Екатерины, причем она имела большее право говорить, что это происходит собственно от нас. Мы видели, что калга Шагин-Гирей выехал из Петербурга в Крым. Этот татарский дофэн недаром привлек к себе внимание Екатерины и двора ее своими способностями. Перенесенный из степей в верхний слой петербургского общества, он отдался в плен цивилизации, выговорив себе только сохранение татарской шапки и памяти о происхождении от Чингис-хана. Но эта память жила в нем не напрасно. Чудеса цивилизации, могущество, которое, по-видимому, она давала прежним данникам татарским, возбуждали в Гирее страшное честолюбие. Он хотел во что бы то ни стало воспользоваться роковым подарком, предложенным Россиею, хотел с ее помощью утвердить независимость Крыма, оторгнуть его навсегда от обветшавшей Турции, сделаться ханом, но он не хотел на этом останавливаться, не хотел менять зависимости от Порты на зависимость от России. Он хотел приобрести могущественные средства цивилизации, могущие дать ему силу, умение поддержать свою

самостоятельность. Ничтожность крымских владений, разумеется, бросалась при этом в глаза как главное препятствие, но Шагин-Гирей знал, что Чингис-хан и Тамерлан начинали также с малого и доходили до обширнейших империй; он уже мечтал о близком Кавказе, о его воинственном населении, которое может так хорошо служить для завоевательных замыслов, о сокровищах, которые лежат нетронутыми в недрах пресловутых гор и которые должны вскрыться на голос цивилизации и обогатить новую черноморскую империю Гиреев.

С такими-то мечтами возвратился Шагин в Бакчи-сарай; здесь он продолжал высказывать приехавшему с ним кн. Путятину свое чрезвычайное усердие к России, открыл ему, что существует в Крыму партия, желающая возвратиться в турецкое подданство. «В надежде на бога и на заступление императрицы, – говорил калга, – по сие время вижу себя в силах управиться с общими злодеями. Я зашел теперь в лес, издавна без присмотра запущенный; если я не смогу искривившееся по застарелости дерево распрямить, то буду его срубить». О брате своем хане он говорил: «Может ли человек, сев на необъезженную лошадь, ехать по воле своей надлежащим путем, когда отдал другому повода в руки?» Но скоро Шагин был озадачен и справедливо раздражен уступчивостью России, которая в переговорах с Турцией соглашалась признать власть султана над Крымом в духовных делах, вследствие чего все судьи в Крыму должны были назначаться константинопольским муфтием и по пятницам должно было совершаться всенародное молебствие за султана. Шагин говорил Путятину: «Все это не только знак верховной власти Порты над Крымом, но и знак прежней приверженности его к ней, так как единство веры нисколько не обязывает Крым сохранять свою связь с Турцией; есть много магометанских владений, которые не только не подвластны Порте, но и ни малейшего сношения с нею не имеют». Слезы навернулись на глазах у Шагина от досады, и он продолжал: «Если так будет, то ни брату, ни мне здесь оставаться нельзя: наше состояние будет похоже на состояние человека, у которого над головой висит большой и плохо прикрепленный камень, могущий всякую минуту его задавить; подданные наши при таком положении по непостоянству своему и скотским нравам будут иметь возможность делать беспрерывные возмущения как сами по себе, так еще более по проискам султанов (крымских Гиреев), которых немало в Турции».

От 13 марта Путятин писал в Петербург: «Велико здесь общее к нам недоброжелательство; калга показывает чистосердечное к нам усердие, противоборствуя этому недоброжелательству. Все злоумышленные вероломцы здешнего общества его ненавидят, страшатся и простирают мысли свои, как бы его избыть». Калга говорил Путятину: «Я и прежде хорошо знал беспутство своих одноземцев, но теперь нашел их вдесятеро еще хуже и развратнее, чем были прежде. С людьми, такими неблагодарными, русским и мне враждебными, остаться я не могу, потому что обещал ее и. в-ству быть навсегда ей верным; если дела будут продолжаться в таком же беспорядке и сил моих неостанет России и себе быть полезным, то, покинув родную страну, принужден буду искать убежища под покровом императрицы».

Хан, по возвращении калги собрал совет из знатнейших лиц. Шагин-Гирей превозносил щедроты русской государыни и объявил, что будет всегда благодарен за это и усерден к русскому союзу, ибо видит в этом союзе прочное и постоянное благоденствие Крыма вообще и каждого его жителя в особенности. Потом

спросил у собрания, что произвело непостоянство в их поведении, что побудило к коварству, обману, нарушению клятвы, что имеют они в виду: желают ли вольности, которая как главное в жизни человеческой блаженство доставляется покровительством ее и в-ства. «Мы находимся между двумя могущественнейшими державами в мире, – был ответ, – обеих их, России и Турции, мы одинаково боялись; находясь в опасности от первой, соглашались на все ее предложения и в то же время, боясь другой, сносились с нею, представляя привязанность к прежнему своему состоянию. Мы обмануты, огорчены Россиею, которая отнимает у нас собственные наши земли и, обращаясь с нами лживо, во всех своих поступках при всяком почти случае дает нам чувствовать свою жестокость». Калга возражал, что ничего подобного Россиею не сделано, и если б она хотела мстить им за их вероломство, то обратила бы их земли в пустыню и лишила бы их дневного пропитания, что и сделается, если они, ведя себя коварно относительно России и ставши подозрительны Порте, будут продолжать пагубное колебание. «Если, – говорил Шагин, – вы хотите быть вольными с помощью России, то выдайте мне немедленно возмутителей общего спокойствия, подавших повод к нарушению клятвы». Шагин поступил неосторожно, повернул слишком круто; на его требование отвечали глубоким молчанием. Раздраженный этим калга не мог уж остановиться и потратил последний заряд. «Данные вами клятвы, – сказал он, – и полномочие на меня возложенное при отъезде в Россию обязывают вас мне повиноваться; но если вы откажетесь от повиновения, то я принужден буду уехать из отечества». Ему отвечали: «Мы вас не удерживаем, на ваше место найдется много людей, а, впрочем, хан ваш и наш государь, ему одному обязаны мы повиноваться».

После этого Шагин-Гирей сообщил командующему Второй армией кн. Долгорукому о своем желании сделаться самовластным ханом над татарами, ибо только в таком случае он может утвердить самостоятельность Крыма; иначе же он там оставаться не может. Совет, получивши донесение кн. Долгорукого, рассуждал, что взгляд калги-салтана совершенно основателен и справедлив, но все же при настоящих обстоятельствах поступить так нельзя: эта перемена нарушила бы наши договоры с татарами и подала бы туркам повод опять склонять их на свою сторону; на совершенное отделение татар от турок надобно употребить еще много лет. Решено, чтоб гр. Панин отправил к Шагин-Гирею письмо, где похвалил бы калгу за его усердие, объяснил в общих выражениях невозможность исполнить его желание, обнадежил покровительством императрицы и обещал во всяком случае убежище в России. Панин написал Шагин-Гирею (от 14 июля): «Ежели бы дела до такой крайности дошли, чтоб вы не нашли полной для себя в отечестве безопасности и дальнейшее вам там присутствие оказалось бы действительно бесполезным для вразумления татар, а для вас собственно бедственным, то от вас будет зависеть возыметь прибежище в границы ее в-ства империи». Шагин-Гирею не оставалось ничего другого, как выехать из Крыма, и он написал Долгорукому, что «бог, видно, за грехи удалил его из отечества и странствовать пустил по чужим углам и дворам». Шагин просил удалить его в такое место, где бы его никто не знал. На донесение Долгорукого императрица отвечала (от 4 октября): «Калга-салтан, восприяв при обстоятельствах отечества своего, для него опасных, в границы империи нашей прибежище, совершенно достоин сам по себе, так и для могущих быть примеров,

чтоб при сей постигшей его крайности видел продолжение к себе нашей милости. Мы за пристойнее, однако, находим остаться ему до времени и еще на границе, нежели взяту быть тотчас сюда ко двору нашему, ибо в последнем случае он имел бы оказаться как бы вовсе уже отторгнутым и навсегда удаленным от своего отечества и от всех татар к обрадованию и подкреплению своих недоброжелателей и к погашению памяти своей в народах, еще недавно искренно и усердно его почитавших. Итак, имеете выдать ему уразуметь сии уважения, требующие не отставать ему совершенно от татар и не казаться отчаявшимся от участия их дел и правительства, но в готовности и состоянии находящимся при первом удобном случае явиться и вступить в оное». Шагин поселился в Полтаве, получая на содержание по 1000 рублей в месяц.

Неприятные вести с Дуная, неприятные вести из Крыма, из Польши особенно неприятных вестей не было, но там дело затягивалось, вследствие чего нельзя было выводить оттуда войска.

От 18 января Станислав-Август писал Екатерине: «Среди бедствий, меня окружающих и грозящих мне, осмеливаюсь быть уверенным, что найду в вашем и-ском в-стве снисходительного судью всех моих поступков со времени раздробления Польши, судью тем более снисходительного, что в. в-ство, будучи одушевлены естественною справедливостию, собственным величием и, позвольте прибавить, прежними милостями ко мне, без сомнения, обратит внимание на все, что я должен был делать, исполняя обязанности моего места, сохраняя чистоту моей репутации, уничтожая ложные слухи, к несчастию слишком распространенные, будто я знал все заранее и даже был участником договора, лишившего Польшу части ее владений. Тяжкий опыт научил меня слишком хорошо, что недостаточно быть всегда на деле безупречным и что клевета может стать пагубною для самих государей (особенно в положении, подобном моему). Вы это знаете, и потому я верю, что в глубине своего сердца вы сами страдаете от бедствий, которые я претерпеваю; верю, что вы заняты мыслию о том, как бы их смягчить. Позвольте же обратиться к вашим старинным титулам моей благодетельницы и друга, и удостойте меня выслушать о прошедшем и настоящем. Не теперь только я узнал трудности положения, когда нельзя соединить того, чего бы хотелось, с тем, к чему долг обязывает. Более шести лет эти затруднения составляют мучение моей жизни. Поставленный между благодарностью, влекшей меня входить в ваши виды, и противоречащим этим видам подчинением моим национальной воле, я провел все это долгое время в заботах, как бы уничтожить это противоречие, и встречал с обеих сторон сопротивление неодолимое. Я ссылаюсь на ваше импер. в-ство, сколько употреблял я для этого усилий, со сколькими просьбами, нежными и настоятельными, я обращался к вам для этой цели и чего я не делал для успокоения моего народа, для внушения ему начал благоразумия и его истинных интересов! И какой же результат всех этих забот? Среди народа, которому я жертвовал всем, я встретил нож убийцы, и вы, государыня, которой я не предпочитал ничего, кроме моих обязанностей, вы лишили меня части ваших милостей как неблагодарного. Таким образом, моя добросовестность была причиною моих несчастий. Но против этих несчастий неужели нет никакого средства? Ваше величество так усердно воздает почести добродетели, так ревниво бережете для себя значение ее подпоры и так достойны этого; неужели

только относительно меня одного она потеряет права в вашем сердце? Нет, я позволяю себе надеяться, что я вытерпел долгое и жестокое испытание, которое должно иметь конец и получить награду. Вы можете сделать все для меня и для моего отечества. Я вполне поручаю вам свои частные интересы; но я должен ходатайствовать за этот несчастный остаток, который должен носить еще имя Польши. Вам стоит только захотеть, и все будет вам возможно. Ваши союзники уважают вашу волю, как скоро вы ее объявите. Если они заставили вас сделать Польше зло, то заставьте их в свою очередь сделать ей добро. Приобретите перед ними эту драгоценную выгоду, столь достойную быть угодною вам. Я искал повсюду помощи и не нашел нигде. В этом беспомощном состоянии я вижу приближение минуты, когда я с моим народом должен преклониться перед роком; я это чувствую и не намерен по-пустому сопротивляться. Но прежде чем я подвергнусь ударам судьбы, умоляю, не откажите мне в утешении, сообщите мне о том, что вам угодно сделать для нас, какое вознаграждение назначает нам ваша справедливость, и, если всякая надежда спасти Польшу становится невозможною, удостоьте принять просьбу о том, что я считаю необходимым в том положении, в каком Польша будет находиться, и что может хотя несколько смягчить ее бедствия».

«Ваша откровенность, – отвечала Екатерина, – заставляет меня заплатить вам такую же откровенностью. Мой характер не знает другого языка, и этот язык я употребляла всякий раз, когда говорила с вами о ваших интересах и об интересах вашего народа. Когда обстоятельства переменились и дошли до той степени, на какой находятся теперь, то мне нельзя отдельно от моих союзников соглашаться или благоприятствовать тому или другому распоряжению, более или менее свойственному положению вашего государства. Ссылаюсь на ваше величество и на публику: в то время, когда я одна принимала участие в ваших делах, не делала ли я всего, не жертвовала ли я всем для устроения этих дел в пользу республики? Доведенная до крайности интригами и партиями вашего народа, я должна была войти в соглашение с двумя другими соседями Польши, чтоб общими силами покончить с ее смутами и бедствиями, отзывавшимися и в наших собственных государствах. Несмотря на все затруднения, причиненные поляками в моих делах, я в своем соглашении с соседями не потеряла из виду блага Польши. Это благо состоит для вашего величества в целостности вашей короны, для нации – в прочном успокоении, в свободном правлении, более правильном, более спокойном, более безопасном для нее самой и для соседей. Что касается подробностей, то мой министр и министры двух других дворов снабжены одинаковыми инструкциями. Поговоривши так откровенно с вашим величеством, я бы вечно упрекала себя, умолчав, что потеряю всякую надежду видеть упрочение для вас выгод этого соглашения, если и теперь вы будете слушать гибельные советы тех, которых интриги низвергли ваше государство в пучину смут и раздоров, в анархию, грозившую ему окончательным разрушением, от чего оно было предохранено только вмешательством трех соседних держав».

Инструкции для министров трех дворов, упоминаемые императрицею, были отправлены Штакельбергу 24 февраля. В них говорилось: «Если будет замечено, что король ввиду необходимости расположен войти в виды трех дворов, то можно войти с ним в соглашение относительно направления сейма, разумеется, когда будет уверенность, что никакой интерес, никакая интрига, никакое чуждое

влияние не могут тут вмешаться ко вреду трех дворов. Король исключается тем менее, что в этой чисто национальной операции признано полезным допускать деятелей всякой партии, если только они искренно захотят покончить со смутами своего отечества (эти строки первоначально были написаны рукою самой Екатерины). Министры должны иметь на сеймиках известное число верных людей; которые обязаны направлять все к предположенным целям; при назначении этих лиц надобно иметь в виду не количество, а качество. Так как одна сила недостаточна для того, чтоб заставить сеймики действовать в видах трех дворов как при назначении депутатов, так и в даче им инструкций, то необходим подкуп, для которого три двора назначают при своих министрах кассу; доля каждого двора не может быть менее 150–200 тысяч талеров. Касса находится в общем распоряжении троих министров, и без согласия всех троих не делается из нее ни одной выдачи. Агенты, зная сильную и слабую стороны каждого сеймика, дают знать министрам, какое средство должно быть употреблено преимущественно или в какой степени должны быть употреблены все средства; и министры вследствие этого извещения употребляют или военную силу, или увещание, или подкуп. Так как нет никакой возможности достигнуть чего-нибудь на свободном сейме при *liberum veto*, то министры должны устроить сейм конфедерационный (под узлом конфедерации, как говорили поляки). Настоящие агенты, которых министры будут избирать, должны быть люди среднего класса, не связанные ни с варшавским двором, ни с саксонскою партией и которые исключительную возможность улучшения своей участи будут видеть в прекращении бедствий отечества. Когда сейм начнет свою деятельность, министры потребуют от него назначения депутации для переговоров с ними; во время этих переговоров министры не позволят никакого спора о правах их дворов на области, назначенные к разделу, никакого ограничения или уменьшения участков каждого двора, должны настаивать на уступку полную и решительную со стороны республики. Министры должны вытребовать все архивы и документы, относящиеся к уступленным странам. Что касается конституции республики, то должно быть возобновлено и утверждено навсегда правление избирательное; впредь должен избираться в короли только польский шляхтич, рожденный в Польше и тамошний землевладелец; иностранные принцы исключаются навсегда. Сыновья и внуки последнего короля не могут быть избраны непосредственно за отцом или дедом, они могут быть избраны по крайней мере через два царствования. *Libertum veto* остается законом неизменным. Министры прежде всего должны иметь в виду сохранение настоящего короля на престоле. Все преобразования должны клониться к восстановлению равновесия между властью короля, Сената и шляхты (*ordre equestre*). Для этого король не должен посредством своих родственников увеличивать свою власть на счет двух других сил в государстве, следовательно, королевские родственники не должны занимать никаких должностей; но, так как нельзя лишить их прав, принадлежащих каждому шляхтичу, то постановить, что дядья, братья, родные и двоюродные короля и королевь, не могут быть министрами и гетманами, не могут быть сенаторами, воеводами, каштелянами и занимать всякую меньшую должность. Тайный совет королевский может состоять только из сенаторов, назначенных сеймом. Так как влияние короля на комиссии, военную и финансовую, возбудило тревогу в народе, то эти комиссии должны уничтожиться и должности гетманов и подскарбиев

должны быть восстановлены в прежнем значении, если большинство этого желает. Только должны быть предотвращены старинные злоупотребления, у гетманов должно быть отнято право жизни и смерти над военными, и подскарбии не должны по произволу располагать деньгами республики; для этого при гетманах и подскарбиях должны быть советы, членом в которые назначает не король, а выбирают их воеводствами каждые два года. Войска, находящиеся теперь под начальством короля, перейдут под начальство великих гетманов, и на будущее время польский король не должен иметь ни войска, ему принадлежащего, ни войска республики, находящегося под его начальством. Так как влияние вельмож, и именно королевской фамилии, в судах служит к притеснению народа и нарушает равновесие власти, то президенты и члены судов будут избираться дискриптами и воеводствами и должны быть изданы законы, которые бы освободили суды от всякой зависимости от короля и вельмож. Так как шляхетство, составляющее третью власть, уступает относительно влияния двум другим властям, королю и Сенату, и является периодически на сеймах, тогда как две другие власти имеют постоянную деятельность, то хорошо было бы постановить, чтоб между сеймами несколько шляхетских депутатов заседало в Сенате с правом протеста против всех решений, несогласных с конституциею или привилегиями их сословия. Так как королевские имения уменьшились вследствие раздела, то надобно прибавить к ним несколько староств, чтоб доход короля был не менее 400000 дукатов. Раздача остальных староств остается за королем; но должно быть постановлено, чтоб одному дому (*maison*) нельзя было пожаловать более двух староств, которые вместе не должны давать более 8000 дукатов годового дохода, так что если кто имеет одно староство, приносящее такой доход, то другого получить уже не может. В Польше единодушно желают умножения войска, и действительно это нужно для поддержания порядка и спокойствия; войско правительства гораздо меньше войска частных людей, которые поэтому могут безнаказанно смеяться над властью. Не будет никакого неудобства для соседних держав, если войско республики увеличится на 6000 человек. Так как диссидентское дело есть одно из самых существенных при успокоении Польши, то три министра должны содействовать соглашению между диссидентами и католиками. С той и другой стороны могут быть сделаны уступки: диссиденты могут отказаться от вступления в Сенат и от министерских мест, а католики – от наказания за переход из католичества в другое исповедание, – это закон варварский, которого нельзя более терпеть в просвещенный век. Остальные права диссидентов должны быть удержаны за ними во всей силе» (*особенно право быть депутатом на сеймах* , прибавила Екатерина). В инструкциях была статья, что король не может покупать земель в Польше и Литве. Екатерина зачеркнула статью, написавши: «Я зачеркнула эту статью потому, что в избирательном королевстве земли короля после его смерти сделаются опять шляхетскими (*terres nobles*); статья увеличила бы только крики безо всякой для нас существенной пользы; кому нечем жить, тот не покупает земель».

Еще в конце 1772 года Екатерина писала Панину по поводу донесений Штакельберга о созвании Сената: «Читав сие, мне пришло на ум, чтоб пользоваться сим случаем и отпустить к сему сенатус-консилиум тех сенаторов, кои у нас в Калуге содержатся. Сие на первый взгляд, может быть, странно покажется, но в самом деле может сделать разные полезные импресии. Бояться

их нечего, ибо три державы всю нацию держат в почтении. Боязливые примером сих людей устрашаться будут. Многие увидят, коль мало мы их интриг и интриганта уважаем в сем случае; иные же похвалят сей поступок; другим отнимется один способ более противу нас кричать, а будут и такие, у которых атенция оборотится более к сему добровольному поступку, нежели к самому дележу. В том числе будет родня и клиенты сих людей. Теперь прошу сказать те причины, кои противоречат сему моему мнению: мне никаких на ум не приходит. Если же нет никаких, то быть по сему. Чарторыйским сие приятно быть не может, ибо сии люди были саксонской партии коренные *boute-feux* (поджигатели). Всем же прочим сенаторам отнимет сей пример случай отговариваться от съезда, без которого желаемый нами сейм состояться или, лучше сказать, собраться не может». Панину не пришло на ум никаких возражений, и калужские заточники были освобождены.

Прежде всех приехал из Калуги в Варшаву Солтык. По словам Штакельберга, Цицерон не мог наделать более шума в Риме по возвращении из ссылки. Вся Варшава пришла в движение: папский нунций, епископы и вся знать выехали к нему навстречу; толпы простого народа теснились около его кареты с криком: «*Vivat!*» Солтык одет был в изношенное платье, плешивая голова была открыта, вид имел сокрушенный, сидел, потупив глаза, и беспрестанно творил крестное знамение. Двери его дома тотчас же отворились для всех бедных, сам он пешком ходил по церквам и служил обедни. Встретив его у королевской сестры, к которой он приехал в сопровождении 50 человек бенедиктинцев, Штакельберг сказал ему, что публика получила бы еще высшее понятие о его святости, если б он оставался спокойно дома, отдыхая с дороги. Солтык очень приутих после этих слов. Он два раза приезжал к Штакельбергу, тот был у него раз; и все три свидания были посвящены тому, чтоб «укротить энтузиазм епископа оружием рассудка и очевидности». Успех, по-видимому, остался на стороне укротителя: Солтык начал повторять, что не сделает ни одного шага, не скажет ни одного публичного слова, не посоветовавшись с Штакельбергом. Он попросил у посланника позволения писать императрице и получил его. Письмо было написано в самых почтительных выражениях: Солтык благодарил за милость, просил прощения за прошлое и поручал себя в высокое покровительство русской государыни.

19 февраля последовал ответ польского правительства на объявление трех дворов о разделе Польши. В ответе говорилось, что чрезмерность требований, предъявленных тремя дворами, усиленная выражениями обвинений и упреков, оскорбила чувствительность короля и Сената; что не соблюдено должного уважения к королю и республике, тогда как осторожное поведение короля заслуживало другого. Впрочем, король по совету Сената, принявши во внимание серьезные угрозы и действительные опасности в случае отказа требованиям трех дворов, исполнил их желание, назначив сейм на 19 апреля. Наконец, король по совету Сената обращается к трем дворам с торжественным заявлением о необходимости вывести их войска из владений республики прежде начатия сеймиков, чтоб последние, равно как и сейм, могли идти свободно и национальная воля могла выразиться без стеснения и опасности. Министры трех дворов решили смолчать относительно тона этого ответа, они с самого начала приняли за правило позволять всякого рода декламации, которые не могут иметь последствий, оставить полякам это утешение, лишь бы главное дело шло своим чередом.

Сеймики должны были начаться 22 марта, но преданные люди, отправившиеся в провинции, представили Штакельбергу, что они не могут отвечать за приезд ни одного депутата из своих приятелей, если не будет обещано содержать их, ибо они находятся в страшной бедности. От сеймиков внимание Штакельберга невольно обращалось к сейму вследствие приведенной инструкции для послов трех держав. Он писал Панину, что, по его убеждению, требуемую в них отмену закона об отступничестве провести нельзя: «Слепой фанатизм поляков, способный пожертвовать всем, еще не представляет в этом деле такой трудности, как венский двор, а именно чувствительность императрицы-королевы к религиозному вопросу. Папа выхлопотал у нее приказание барону Ревецкому покровительствовать религии, особенно по этому пункту, и Ревецкий мне объявил, что имеет инструкцию и ведет отдельную по этому предмету переписку с императрицею. Как бы закон несправедлив ни был сам по себе, умоляю не настаивать на сию отмену, ибо от этого прежде всего потерпит ущерб согласие между обоими дворами и, во-вторых, ввод диссидентов в законодательное собрание – дело и без того очень трудное – станет невозможным. Наконец, форма правления, какую вводят дворы, и ограничения королевской власти возбуждают против нас всю королевскую партию. Только ставя короля между страхом и надеждою, я успел привести его в страдательное положение и направлять Сенат. Как только Станислав-Август сведает будущую свою участь, то станет поднимать небо и землю, чтоб не сойти на степень театрального короля. Если, с одной стороны, мы будем иметь против себя всех друзей двора и, с другой – вооружим другую часть нации, раздражив ее религиозным вопросом, для нее самым дорогим и священным, то легко понять, что из этого выйдет. То же будет и относительно староств для вознаграждения короля, если надобно их будет взять при жизни настоящих владельцев». Панин отвечал, что если уничтожение закона об отступничестве встречает такое затруднение, то можно оставить его с изменениями или даже вовсе без перемены. Касательно староств Панин предписывал сообразоваться с желанием нации. Панин прислал также добавление к инструкциям, насчет которого Штакельберг должен был согласиться со своими товарищами; королю можно было предоставить право иметь гвардию из двух батальонов иностранных войск, для чего назначить особую сумму, ибо когда союзные войска оставят Польшу, то жизнь Станислава-Августа может подвергнуться опасности вследствие ненависти против него в народе за раздел Польши.

Панян для настоящей минуты больше всего требовал от Штакельберга согласия с его австрийскими и прусскими товарищами: «Остерегайтесь возбудить подозрение, что мы хотим поддержать наше господство, тогда как дело может совершиться только при совершенном равенстве трех дворов. Не связывать себе руки обязательствами, могущими загородить дорогу нашему влиянию, не отягчать отдельно от двух других дворов положения Польши, не отчуждать поляков действиями, которые могут быть приписаны одним нам, – вот все, что нам позволяет настоящая минута. Вместо того чтоб показывать себя слишком заботливыми насчет будущего, было бы полезно обнаруживать равнодушие; пусть заподозрят в этом ваше собственное искусство или политику вашего двора – поверьте, что наше дело от этого выиграет».

Сейм приближался, и Штакельберг прежде всего начинает жаловаться на Солтыка, который опять пошел наперекор намерениям и планам трех дворов; и когда Штакельберг сделал ему серьезные внушения на письме, Солтык отвечал: «Тотчас по приезде моем в Варшаву в первых разговорах с вами и министрами двух других дворов я объявил вам откровенно, что не стану одобрять ваших намерений против Польши; я вам несколько раз повторял отдельно, что поляк, одобряя раздел своего государства, грешит против заповедей божиих, запрещающих касаться собственности ближнего, а кто одобрит такое дело, будет его сообщником: что по естественному закону каждый обязан защищать право отечества, если не хочет быть чудовищем; что если мы, сенаторы, одобрим это, то будем клятвопреступниками; кто дал нам власть сделать наших собратий рабами и чрез это приобрел ту же власть и над нами? Я вам постоянно объявлял, что сделаю все для вас, если в ваших требованиях не будет ничего противного моей совести и чести. Вы меня уверяли, что, зная хорошо мой характер и мой образ мыслей, вы не осмелитесь меня искушать. Шлюсь на полковника Бахметева и других офицеров, карауливших меня в тюрьме: разве я им не объявлял, что предпочту провести остаток дней моих в темнице, даже в Камчатке, на хлебе и на воде, чем получить свободу ценою блага отечества и совести моей? То же самое повторял я и вам и даже прибавил, что скорее лишусь жизни, чем подпишу пагубное решение против своего отечества. Не желая подтверждения раздела, я не мог желать сейма; не желая сейма, я не мог желать сеймиков, и поэтому я употребляю всевозможные усилия, чтоб их разорвать. Я вам открываю всю правду, а вы меня упрекаете, что я не сдержал своего слова. Вы меня упрекаете в поступке не очень искреннем, именно что я вам представил моих братьев родных и двоюродных и моих племянников как будущих депутатов; что вы называете обманом, я называю политической штукою, хитростию, позволенною в подобных случаях, наконец, *restriction mentale*. Знайте, что я смолоду учился у иезуитов». Штакельберг отвечал ему: «Я не учился у иезуитов и ненавижу макиавеллизм; религию и нравственность никогда я не брал предлогом для прикрытия интереса моих страстей. Фанатизм, личный интерес, интриги, а не соседние державы причиною несчастья Польши; здравый смысл, истинный патриотизм и благоразумие должны его прекратить; когда вы отыщете в своем сердце смысл этих добродетелей, то, умоляю, уведомьте меня об этом, и я приму вас с отверстыми объятиями. Я не отвечаю вам насчет намерений дворов: они не по. вашей части».

«Солтык сумасшедший, – писал Штакельберг Панину 1 апреля, – но из таких сумасшедших, которых запирают. Я написал ему письмо, чтоб покончить с ним всякие сношения; я не велел принимать его писем, а за ним самим приказал присматривать. Верно, что этот человек наделал-таки зла. Изумительно, что сейм собирается; без внушений Солтыка он был бы не так шумен, как будет. На раздел смотрели как на беду неминуемую, а теперь толкуют о разрыве конгресса и об условиях, на которых нужно написать договор. Наконец через восемь дней занавес поднимется и великая пьеса станет разыгрываться; уверяю вас, что при этом мы будем иметь такие трудности, каких и не ожидаем. Возбуждение опасений и угрозы производят мало впечатления. Иностранные войска и без того поглощают все доходы частных лиц».

Сейм начался под узлом конфедерации. Но только что маршалы конфедерации коронный и литовский вошли в залу заседаний и первый депутат

краковский открыл заседание объявлением конфедерации, как поднялся громадный литвин, именем Рейтан, и начал кричать на весь замок: «Не позволяю!» Крик этот продолжался трое суток, и сейм остановился. Когда маршал коронный конфедерации граф Понинский встал, чтоб постучать, по обычаю, палкой для восстановления порядка, Рейтан схватил другую палку и, ставши на маршалское место, закричал: «Я сам маршал и могу быть таким же хорошим маршалом, как и другой, выбранный в темноте и тайне!»

Бенуа и особенно командующий прусским войском генерал Лентулус предложили Штакельбергу схватить Рейтана; тот отвечал, что так как его прусское величество – равный участник в делах, то он, Штакельберг, согласен, чтобы прусские гусары схватили Рейтана, но что он решился не употреблять насилия, что им, послам трех союзных дворов, нечего тревожиться криками сумасшедших и он берет на себя заставить короля принять договор у себя во дворце, не входя в посольскую избу. Чтоб исполнить это обещание, Штакельберг призвал к себе обоих канцлеров и просил их сообщить королю, что если он не приступит к договору в 24 часа, то послано будет приказание двинуть войска. Король не согласился и пригласил к себе Штакельберга на 11 апреля. Потом повторил ему то же самое и представил ему неудобства и замедления, какие произойдут от его прибытия в залу Сената, если Рейтан и товарищи его явятся туда, что и будет, по всем вероятиям. Король согласился собрать Сенат во дворце, велел канцлеру повторить угрозу Штакельберга и призвать маршалов конфедерации. «Все это сделано, – писал Штакельберг в Петербург, – маршалы произнесли речи, король приступил к договору, сенаторы подписали отдельно, палаты присоединятся 13 числа, Рейтан и его приверженцы испугались и просят милости, все спокойно».

Но гораздо было труднее провести новую конституцию. Король велел сказать Штакельбергу, что не позволит уменьшить ни в чем своих прав. Мы видели, что сейм должен был договариваться с послами чрез уполномоченных из сенаторов и депутатов; сеймовых депутатов послам трех дворов еще можно было набрать своих, но сенаторов назначал король. После отправили к нему список желаемых ими лиц, включив всех министров, между которыми находились его родственники. Станислав отвергнул этот список с непонятным упорством. Начали думать опять о движении войск; но Штакельберг писал Панину: «Умоляю исходатайствовать, что, если уступать во всем, эти войска должны очистить республику. Я должен повергнуть бедную Польшу к стопам нашей августейшей государыни и умолять за нее о милосердии. Вся Великая Польша из провинции богатой и населенной превратилась почти в пустыню вследствие занятия прусскими войсками, которым она доставляет фуража и контрибуции на 40000 талеров в месяц, тогда как ее депутаты на сейме делают всевозможное в нашу пользу; не удивительно, что эти люди начинают отступать от нас из отчаяния».

Благодаря политической речи короля сейм отправил министрам трех дворов ноту: «Союзные дворы передали польскому министерству изложение оснований, почему они считают себя вправе на известные польские земли. Польское министерство отвечало изложением своих прав на эти земли, прав, основанных на доказательствах очевидных; но так как республика не видит, чтоб на ее ответ было обращено достойное внимание, а между тем три двора не отстают от своих требований, то для Польши необходимо предложить этим самым трем дворам согласиться на принятие дружеского вмешательства держав нейтральных и

поручителей в наших договорах для исследования прав и притязаний, дабы три соседних двора не были истцами и судьями в собственном деле». Штакельберг отвечал: «Три двора уже передали польскому министерству изложение своих прав, основанных на доказательствах неопровержимых и ставших еще бесспорнее от недостаточного возражения, сделанного с польской стороны. Подписавшийся не может дать другого ответа, кроме содержания разных деклараций трех соседних держав, а именно 22 января (2 февраля), в которой они определили довольно замечательную альтернативу для Польши: окончательное решение дела к 7 июня или увеличение требования с их стороны. Несмотря на такой язык, решительный и неизменный, подписавшийся видит с печалью и состраданием, что сейм проводит время в пустяках, придириках и спорах о словах; между тем страшный срок приближается и виновники этих замедлений не трепещут. Они должны отвечать на коварный аргумент, что державы не должны быть истцами и судьями в своем деле. Кто виноват, что они наконец принуждены были сами себе оказывать справедливость? Виноват этот дух властолюбия, который, заимствуя все голоса, принимая все формы, возбудил смуту, воспламенил междоусобную войну и произвел кровавую борьбу между Россией и Портою, продолжавшуюся четыре года. К этим рассуждениям присоединяю последнее: если сейм в 8 дней не назначит уполномоченных для переговоров с министрами трех дворов, то никто не отвечает за следствие».

«Мы, – писал Штакельберг Панину, – выполнили такую трудную задачу, собрали сейм, составили конфедерацию, склонили всю нацию к договору с державами – и все препятствие и замедление встречаем в особе короля!» 26 апреля министры трех дворов отправились к Станиславу-Августу упрашивать его не делать им препятствий, но Штакельберг понапрасну истощал свое красноречие; припев ко всем ответам королевским был один: «Я не могу противиться разделу, но я никогда не позволю сеймовой делегации решать вопроса о моих правах и правительственной форме». Штакельберг объявил, что переговоры о разделе Польши и переговоры о ее внутреннем устройстве нераздельны, что от них зависит спокойствие Европы и король своим сопротивлением может нанести бедствие Польше: назначенный срок пройдет и послы велят двинуться войскам. Тут король распространился о несправедливости и невозможности отнятия у него прав, о дурном правительственном устройстве, которое выйдет делом рук трех дворов, не имеющих понятия о польских законах, и делом нескольких поляков, ему, королю, враждебных. Министры дворов возражали ему, что об его правах еще ни чего не решено, что безурядица в Польше достаточно уяснила для дворов злоупотребления ее правительства и аргумент относительно врагов его неприложим, ибо он может назначить весь Сенат. Все было бесполезно: он вдруг встал со своего места и сказал, что в следующий понедельник будет говорить в последний раз в Сенате. Едва министры трех дворов успели оставить дворец, как по городу уже начали ходить красивые фразы короля. По словам Штакельберга, Станислав целый день расточал перед каждым слезы, трогательные положения и цветы риторики.

27 числа министры трех дворов распустили между поляками слух, что они заняты распоряжениями относительно движения войск, что и было совершенно справедливо; а к ним от двора приходили вести, что король готовится протестовать против всего и что даже намерен отказаться от престола. Эти вести

заставляли послов решиться на какое-нибудь сильное средство, но какое именно? Бенуа и Лентулус показывали письма прусского короля, содержавшие приказания употреблять самые крайние средства при малейшем сопротивлении. Но Штакельберг представлял, что личное сопротивление короля не должно еще подвергать гибели целый народ, тем более что это сопротивление не касается раздела. Решено было распространить по городу слухи, что приказания насчет движения войск отданы, и послать русских, австрийских и прусских квартирмейстеров для назначения постоев в знатных домах. Это навело на поляков желанный страх, а появление прусского эскадрона в полумиле от города dokonчило впечатление.

1 мая в 8 часов утра Штакельберг собрал у себя всех сеймовых депутатов и в присутствии своих товарищей, австрийского и турецкого, постарался объяснить им, как безрассудно было бы с их стороны подвергаться военной экзекуции, тогда как относительно раздела и сам король согласен, упрямится только относительно внутренних вопросов, тогда как ни один из этих вопросов еще не решен и без совещания с ними решен не будет. В то же время по улицам путешествовали два эскадрона пруссаков и два эскадрона австрийцев, которых министры трех дворов ввели в город по условиям, вытребованным Штакельбергом, что они выйдут из Варшавы, как только цель будет достигнута, т.е. как скоро поляки будут напуганы. Вся Варшава была поражена ужасом при виде этих войск. Один король, ободренный своим маленьким советом, состоявшим из любовницы и двоих иностранцев, одного швейцарца и одного француза, вызывал на борьбу три державы, внушая депутатам, что последние хотели ввести аристократическое правление, составленное из 12 тиранов. Приехавши на сейм, король предложил на утверждение большинством голосов свой акт избрания уполномоченных для переговоров с послами; другой акт был составлен самими послами; и королевский отличался от последнего тем, что в нем уполномоченные по внутренним вопросам не могли постановлять окончательно и передавали дела на решение сейму, что вело к проволочке времени. Тут маршал конфедерации Понинский приблизился к трону и представил королю, что ему, маршалу, одному принадлежит право предлагать предметы на решение большинством голосов. Король и его партия не признали этого права. Встал епископ куявский Островский и в сильных выражениях представил королю, чему он подвергает нацию. Многие сенаторы говорили в том же смысле; маленький князь Сульковский, палатин гнезненский, подземная фигура, по выражению Штакельберга, с мужественным красноречием, произведшим сильное впечатление на толпу, обратился к королю со словами, что его величество, сидя на троне, сам не рискует ничем, а подвергает опасности жизнь, честь и собственность сограждан. Сделано было предложение отправить депутацию к министрам трех дворов с просьбою дать еще два дня сроку. Король не согласился и на это предложение, тогда пошли на голоса, и большинство сказалось против короля. Министры трех дворов исполнили просьбу сейма, дали сроку до 3 мая, поручивши депутации передать сейму протест против королевского акта как написанного без соблюдения должного уважения к их дворам.

2 мая союзные министры употребили на обеспечение для себя большинства в палате депутатов и по общему согласию издержали на этот предмет 8000 червонных, В то же время они внушили родственникам короля, что первые

следствия исполнения угроз падут, естественно, на них, если они не найдут средства отвлечь его величество от упорства, губительного и бесполезного вместе. Кроме того, министры сочинили декларацию, которая должна была отнять у сейма малейшее сомнение насчет возможности принятия королевского акта. Вельможи представили эту декларацию королю с просьбою уступить и своим упорством не подвергать их верной гибели. Станислав отвечал, что скажет свое мнение Сенату, но, прибыв в собрание, он стал по-прежнему речами и жестами ободрять свою партию, чтоб проводила его акт, причем сам отмечал карандашом голоса. Несмотря, однако, на все его усилия, большинство оказалось за акт, предложенный послами трех держав. Описывая Панину все свои хлопоты по этим делам, Штакельберг жаловался на своих товарищей, преимущественно австрийского барона Ревецкого; это, по его словам, был человек вовсе не способный для такого дела, слабый, легко поддающийся и ленивый; секрет его в руках двоих итальянцев, которые употребляли во зло состояние, в каком бывал посланник после обеда. Бенуа – человек умный и действовал очень согласно с Штакельбергом, но он не имел никакого влияния на поляков.

Король со своей стороны описывал свои хлопоты и свое печальное положение маменьке Жоффрэн: «Клянусь честью, что я не дал ничего и ничего не обещал никому из тех, которые до конца держались моего мнения на сейме. 100000 иностранцев жестоко опустошают Польшу, особенно притесняют тех, которые не угождают им. Три министра роздали много денег на сейме. Иностранцы видели, что есть люди честные и мужественные в стране, ибо почти половина сейма устояла против их золота и против их силы. Но, увы, к чему все это служит, когда нет ни денег, ни войска! На другой день после решения этого несчастного дела мне сказали: „Если бы вы получили большинство, то вы перестали бы быть королем и остальная Польша была бы поделена между нами“. Король прусский имеет это постоянно в виду. Теперь, несмотря на то что три двора взяли все, чего хотели, их войска продолжают жить в Польше, кормиться даром на ее счет. Русский министр обещает, что это скоро кончится, австрийский также ласкает надеждою, прусский не делает и этого. Его государь, кажется, занят придумыванием средств заставить своих союзников согласиться, чтоб он взял у нас еще больше земель. Император, кажется, считает себя обязанным делать нам столько же зла, как и прусский король, а русская императрица так занята турком, что не может помешать прусскому королю вредить нам. С 14 мая я совершенно завишу от милости трех дворов. Я умираю с голоду; вооружаются против всего, что мне наиболее дорого. Несмотря на то, надобно показывать наружное спокойствие, исполнять с некоторого рода достоинством худшую из ролей и думать, что может быть еще хуже, и стараться отвлечь это худшее от государства, сберечь несколько зерен, которые могут прозябнуть при более благоприятной погоде».

8 мая назначены были уполномоченные для переговоров с министрами трех дворов; король назначил всех сенаторов, находившихся налицо; маршалы назначили 60 человек шляхты, что составило всего 100 человек. Когда все таким образом было улажено, открылось препятствие к началу переговоров, и не со стороны поляков, которые, напротив, теперь торопились делом, Ревецкий не получал от своего двора никаких инструкций, и по городу пошли самые чудовищные слухи о причинах такой медленности. Наконец бумаги пришли, и

переговоры начались 22 мая; а на другой день Штакельберг опять жаловался на Ревницкого: «Это человек добрый, мой друг и который во всем следовал за мною, но он не только сам держит сторону короля, но, как кажется, склоняет туда же и двор свой. Я не подозреваю, чтоб он был подкуплен, ибо считаю его честным человеком, но мне кажется, что король обещал следовать идеям императрицы-королевы относительно религии и что Ревницкий вошел в этот план посредством нунция. Решено, что диссиденты никогда не получают участия в законодательстве». Штакельберг думал, что Ревницкий по собственному побуждению держал сторону короля и склонял к тому же свой двор, тогда как, наоборот, он действовал по инструкциям своего двора, которые предписывали ему стараться об усилении королевской власти, о возможном ограничении «*liberum veto*», чтоб Польша могла поддержать значение посредствующего государства между Россией, Пруссией и Австрией (*puissance intermédiaire*). Скоро Штакельберг должен был жаловаться на обоих своих товарищей. Ревницкий объявил, что границы прусской доли, представленные Бенуа, явно не согласны с конвенцией трех дворов, и потому он не знает, удержит ли его двор свой первый план; но на карте самого Ревницкого оказалась пограничная река Подгурже, которая была неизвестна, и с австрийской стороны предполагалось, что под нею надобно разуметь реку Сбруч. Ревницкий объявил, что не может продолжать переговоры как вследствие прусской карты, так и вследствие того, что еще не получил из Вены оригинала своих полномочий, а только копии да не приезжал еще инженер с верною картою. Штакельберг бросился к Бенуа, не может ли он упросить своего короля, чтоб позволил внести в договор общие выражения конвенции, объяснение же их произойдет на месте посредством комиссаров, ибо объяснение королевское останавливает все дело. Бенуа отвечал, что не только решение его короля непоколебимо и в присланной карте никакого изменения не будет, но если австрийцы примут Сбруч границею, то прусский король не удовольствуется своею настоящею долей. Дело затягивалось, а поляки, и согласные на все, выходили из терпения при виде совершенного разорения. Пруссаки заставляли давать себе съестные припасы и фураж на 30000 человек, тогда как их было всего 5000. Штакельберг писал в Берлин кн. Долгорукому, прося представить прусскому министерству, что русские войска платят за все и что между тремя дворами постановлено платить за припасы и фураж, как только поляки станут сообразоваться с желаниями союзников. Долгорукий отвечал, что король намерен сообразоваться с решением двух императорских дворов на этот счет и что Бенуа получит указы в этом смысле. Так как Ревницкий получил от своего двора приказание платить за все, то оставалось только всем троим согласиться поступать одинаково; но Бенуа постоянно уклонялся от этого решения, хотя, по словам Штакельберга, он первый был оскорблен варварством, с каким прусские офицеры поступали в Польше. Штакельберг высказывал убеждение, что если не будет постановлено, чтобы австрийцы и пруссаки платили за все потребляемое ими в Польше, то никакая сила на свете не может заставить их выйти из этой страны – такова расчетливость, Царствующая в Вене и Берлине.

По этому поводу Панин прислал Штакельбергу наставления: «Всякий раз, как прусский министр будет предлагать употребление силы и вам будет казаться, что есть еще другие средства, сдерживайте его стремления и принимайте свое мнение, только когда крайность заставит. Говорите с ним обо всем, что явится

чрезмерным и слишком вопиющим в поведении прусских войск, но говорите как приятель с приятелем, как министр с министром, не давая вида, что ваш двор тут вмешивается; представьте ему, что кратковременная выгода кормить свое войско в чужой земле нейдет в сравнение с необходимостью вывести Европу из кризиса, в котором она находится. Но прямее вы можете вооружиться против равнодушия Ревизского относительно внутренних дел. Если он действует вяло вследствие религиозного вопроса, то вы можете ему сказать, что при самом вступлении в переговоры с его двором последнему было сообщено все, чего желалось для диссидентов; что после не только не потребовалось ничего больше, но вам еще велено, не требовать уничтожения уголовного закона против отступничества, также не требовать смешанного суда, который уже не может более существовать в прежней форме вследствие присоединения Могилева к русским владениям, и потому можно будет его заменить чемнибудь другим по соглашению обеих сторон. Так как религия католическая в Польше сохраняет блеск и превосходство, какими она не пользуется в Германии, то ничто не может затрагивать венский двор ни со стороны совести, ни со стороны достоинства».

Относительно продовольствия войск три министра согласились наконец, что все будут платить с 1 июля. Но до тех пор прусский и австрийский генералы настояли, чтоб доимка была непременно выплачена; и при взыскании доимки австрийский генерал превзошел прусского, так что поляки называли русских ангелами, пруссаков – копиями с человечества, австрийцев же – дьяволами.

Только в половине июля по внушениям из Петербурга берлинский и венский дворы согласились внести в свои договоры с Польшею насчет раздела собственные слова конвенции, не толкуя ни о каких реках и речках, которые, по выражению Штакельберга, прямо привели бы их к Варшаве, ибо когда в Вене указывали какую-нибудь пограничную реку, то в Берлине говорили, что австрийцы идут слишком далеко и мы также пойдем дальше.

Когда в августе месяце дело дошло до переговоров сеймовых уполномоченных, или так называемой делегации, с Штакельбергом, то делегация подала ему письменно заметку (remarque): «Ваше пр-ство получили в свое время королевский ответ на претензию императрицы относительно Польши. Петербургская конвенция между тремя державами, решающими нашу судьбу без нашего участия, быть может, не позволяет обратить на этот ответ должного внимания, и единственная причина такого поступка заключается в слабости короля и республики, которая принуждает нас подчиниться участи, нам приготовленной. Однако делегация не может себе представить, чтоб соседние и союзные государства не приняли во внимание право короля и республики, основанное на всех самых священных законах божественных и человеческих. Польша особенно надеялась на императрицу всероссийскую, которая подобно своим предшественникам особенно интересовалась благосостоянием Польши и уверяла, что ни сама не захватит, ни другим не позволит захватить что-либо из владений республики; и хотя она теперь поступает совершенно иначе, однако мы не отчаиваемся, что она примет наши представления, тем более что республика не имела намерения нарушать древней дружбы и союза с Россией». Штакельберг отвечал: «Польша имела право основывать свои надежды на ее и. в-стве. Эти надежды были оправданы самым искренним и самым бескорыстным участием, которое императрица с самого восшествия своего на престол оказывала Польше.

Но какое было следствие дружбы, продолжавшейся так долго и купленной такими большими жертвованиями? С прискорбием обращаю я взоры делегации на страшную картину смут и опустошений ее отечества. Что случилось бы с Польшею, жертвою корыстолюбия, частного интереса и честолюбия, прикрытых фантомом свободы, которую предполагали в опасности от гарантии, принятой Россиею для сохранения этой самой свободы? Что случилось бы с Польшею, если бы Россия из чувства справедливой мести покинула ее в ее судорогах, которые непременно привели бы ее к гибели? Несмотря на кровопролитнейшую войну с турками, которую Польша возбудила, Россия не переставала предотвращать совершенное разложение республики, бороться в продолжение многих лет с неблагодарностью и соединенными усилиями тех, которые нарочно смутили отечество, чтоб властвовать в нем и притеснять его. Половина Польши вела войну с императрицею, и правительство одобряло это своим бездействием. Голос благонамеренных граждан не имел силы, равно как и представления русских послов. При страшном столкновении интересов держав не останавливаются на метафизике множества доказательств, служащих всегда для прикрашивания тайных расположений. Судят по делам, а не по словам. События, мною указанные, говорят громко, и мне нечего распространяться в возражениях против того, будто республика вовсе не хотела нарушать старинной дружбы и союза, существовавших между нею и Россиею. Достаточно того, что императрица искренно желает их возобновления; но неоспоримые права на известные области, права, находящиеся в изложении моего двора, не потерпят никакого возражения. Я уже не говорю о правах на увеличение справедливых требований со стороны России, правах требовать вознаграждения за тяжкую войну, возбужденную против России Польшею».

Во время чтения этого ответа в делегации Островский, епископ куявский, объявил с большим жаром, что надобно остановить чтение и прежде всего спросить русского министра, кто эти люди, которых он обвиняет в гибели Польши. «Всякий верный гражданин должен оправдаться в глазах отечества, – говорил Островский. – Горе тем, которые были орудиями его бедствий. Наша обязанность употребить последние усилия, чтоб узнать их имена. Если я виноват, накажите меня первого за преступление, постыдное для того, кто имел его совершить, а еще более постыдное для нации, если она позабудет отмстить за него. Если я виноват, то пусть меня первого бросят в Вислу!» Энтузиазм Островского быстро сообщился всему собранию, и все начали заявлять свою любовь к отечеству, свою ревность к свободе и свою живую признательность к русскому двору за его попечения и покровительство, которые он во все времена оказывал Польше; слышались сильные выходки против тех, которые воспрепятствовали добрым намерениям России, слышалось громкое прославление Великой Екатерины. Князь Антон Сульковский, депутат ломжинский, поддерживаемый князем Мартыном Любомирским, депутатом сендомирским, и всею шляхтою, предложил представить именем всего собрания ноту барону Штакельбергу, в которой просить его назвать виновных. Собрание согласилось, нота была представлена, и Штакельберг отвечал: «Очевидная правота поступков императрицы, моей государыни, должна была, естественно, поразить большую часть членов знаменитой делегации. Я вполне сочувствую жару, с каким она желает открыть виновников толиких зол. Но я, так как и два

других министра, имеем приказание не заниматься никаким делом до окончания главного, для которого созван сейм. Как скоро все три договора будут подписаны, я не буду противиться исследованию поведения тех, которые разорвали священные узы, соединявшие Россию с Польшею, и которые отвергли все предложения императрицы относительно умиротворения».

Волнения, возбужденные речью Островского, страшно напугали старика Чарторыйского, канцлера литовского. Он побледнел, когда епископ произнес слова: «Если я виноват, то пусть бросят меня в Вислу!» Чарторыйскому показалось, что ему прежде всех придется испытать это купанье. *Фамилия* должна была вытерпеть унижение, выслушивая молча упреки и угрозы. Слышались голоса, что если злоумышленникам на жизнь королевскую будут рубить головы и руки, то было бы несправедливо щадить убийц отечества. Штакельберг хвалился Панину, что его ответ на ноту делегации, не останавливая переговоров, напугал врагов России. На другой день он имел свидание с королем, которого нашел в большом замешательстве. Штакельберг сказал ему, что он может воспользоваться обстоятельствами начать быть королем, перестав быть племянником. Король, однако, кончил разговор просьбою спасти его родственников. Штакельберг отвечал, что, быть может, это не в его уже власти, но постарается по крайней мере не компрометировать его, короля, если он хочет обеспечить дело от всякой дальнейшей интриги.

Но оставалось еще трудное дело, старое диссидентское дело. Диссиденты передали Штакельбергу просьбу к императрице: «Так как настоящий сейм должен решить и утвердить навсегда судьбу диссидентов в Польше, то мы осмеливаемся умолять о могущественном покровительстве в. и. в-ства. Наши противники, руководствуемые фанатизмом и политикою, стараются теперь более, чем когда-либо, нанести нам смертельный удар и лишит не католическое римское дворянство, привязанное к интересам в. и. в-ства, всех прав и преимуществ, связанных с происхождением, которые одни характеризуют дворян и служат единственными средствами их сохранения в республике. Только уверенность в высочайшем покровительстве в. и. в-ства и торжественное ручательство, которое вы удостоили дать договору 1768 года, внушили нам твердость и способность претерпеть все бедствия и гонения, обрушившиеся на нас во время смут: мы жертвовали всем нашим имуществом, а многие из нас и жизнью, но не сделали ни малейшего шага, могшего навести подозрение в неблагодарности к нашей августейшей благодетельнице. После этого нам не позволительно предполагать, чтобы государыня, которой великодушие, благотворительность и мудрость составляют предмет удивления для всей Европы, захотела покинуть ту часть польского дворянства, которая боролась за правду своего дела не иначе как под высоким покровительством в. и. в-ства. Но теперь это дворянство, ненавидимое за то только, что прибегло под сень трона в. и. в-ства, хотят лишит навсегда права участвовать в законодательстве, права, которое одно может обеспечить нам свободное исповедание нашей религии и все другие преимущества, отличающие благородного гражданина». Пересылая эту просьбу, Штакельберг писал Панину: «У меня нет ни малейшего луча надежды успеть в том, чтоб диссиденты получили право быть сеймовыми депутатами, и я осмеливаюсь сказать наперед, что этот пункт невозможен. Кроме фанатизма нации, участие в этом деле венского двора, которого взгляд на дело известен, не обещает ничего утешительного для

диссидентов. Папский нунций, хотя друг человечества и мира, не станет молчать: его место, характер, предмет его посольства принудят его говорить: и достаточно ему произнести слово, чтоб снова воспламенить всю нацию». Тогда же делегация подала Штакельбергу жалобу, что агенты переяславского епископа преследуют униатов, пользуясь пребыванием русских войск в польских областях, отнимают у них церкви и проч.

Панин, у которого Штакельберг просил наставлений, писал ему: «По конституции 1768 года Диссидентам должно было возвратить отнятые у них церкви, и если некоторые действительно возвращены, то их немного в сравнении с теми, которые еще находятся в руках католиков и униатов. В настоящих обстоятельствах всего лучше для нас и для делегации затушить это дело, которое может только снова поднять фанатизм в народе, уже причинивший столько смут. Мы не можем согласиться на уничтожение того, что было сделано во исполнение договора, с нами заключенного; не можем согласиться, чтоб люди, которым мы покровительствовали с таким усилием, были отданы в жертву их прежним гонителям. Фельдмаршал Румянцев пишет, что все жалобы на греков (т.е. на православных русских) преувеличены, и если мы с нашей стороны будем верить так же легко всем жалобам наших, то представим такие же важные и многочисленные известия. Что сделано относительно возвращения церковей православным, должно остаться, а для сохранения порядка и спокойствия должна быть назначена смешанная комиссия. Что касается вообще диссидентов, это очень печально, что вы теряете надежду удержать за ними участие в сеймах, тем более что от этого пункта вам нельзя отступить; и повеления императрицы, которые я вам повторяю, точны: потребуйте помощи от своих товарищей, употребите все усилия в борьбе с национальным сопротивлением и не позволяйте себе останавливаться ни пред каким затруднением. Вы можете сделать одну уступку: согласиться на ограничение числа диссидентов, избираемых на сейм, и на умолчание о необходимости их избрания; от этого произойдет, что право их не будет действительным или будет малодейственным, но по крайней мере оно будет сохранено. Если и этого нельзя будет достигнуть, объявите, что вы вовсе не хотите слышать о диссидентском деле и что вам запрещено принимать участие в чем бы то ни было его касающемся. Исключение диссидентов из законодательства, провозглашенное на сейме под ауспичиями трех дворов, будет для них ударом более гибельным, чем все прежние конституции, отнимавшие у них право за правом; и ее и. в-ство, отказавшаяся из любви к миру от требования для них мест в Сенате и министерстве, не изменит правосудию и своей славе, подписывая их гибель и покидая их совершенно».

Панин требовал от Штакельберга, чтоб он обратился к своим товарищам за помощью в диссидентском деле; и Штакельберг ему писал, что как скоро переговоры об уступке земель были окончены и надобно было приступить к решению внутренних вопросов, то согласие между министрами трех союзных дворов рушилось. Бенуа продолжал действовать согласно со Штакельбергом, но барон Ревницкий вдруг переменил язык, позабыл систему, которая была принята дворами для успокоения Польши; он прямо объявил, что его двор удивляется уменьшению королевской власти. Легко понять, как это ободрило короля и его партию. Король отказывался от права назначать прямо на сенаторские и министерские места, соглашался, чтоб Постоянный совет предлагал ему троих

кандидатов, из которых он будет избирать одного, но за это он требовал права назначать всех офицеров главного штаба и гвардии и начальства над гвардейскими полками, т.е. требовал права быть хозяином всего войска. Штакельберг удивлялся, как Станислав-Август не понимал, до какой степени он усиливал побуждения уменьшать его власть, открывая в своих требованиях ясно виды на господство и особенно обнаруживая план подражать при первом удобном случае королю шведскому. Члены нашей партии, по выражению Штакельберга, просили его учредить для короля новую гвардию, а не оставлять в его распоряжении старую, посредством которой он может когда-нибудь произвести революцию. Штакельбергу удалось уговорить своих товарищей предложить королю следующие условия: если король откажется от назначения военных должностей главного штаба, подчинив их порядку старшинства, и откажется от командования гвардией республики, то для него будет учреждена личная гвардия, которою он будет располагать совершенно и которая будет на содержании республики. Если король откажется от назначения на должности судебные и доходные, то ему будет предоставлено избрание из трех кандидатов, представляемых Постоянным советом, как на должности епископов и сенаторов, так и на должности государственных министров и министров при дворах иностранных. Постоянный совет избирает кандидатов тайною баллотировкою, а сами члены Постоянного совета избираются таким же образом на сейме; король должен отказаться от раздачи староств. После переговоров с королем эти условия были изложены так: у короля остается право назначать на все должности церковные и гражданские, кроме епископов, воевод, кастелянов, министров и военных и финансовых комиссаров: все эти лица избираются им из трех кандидатов, прежде избранных Постоянным советом посредством тайной баллотировки. В войске король назначает офицеров в польских дружинах и в четырех пехотных дружинах, носящих его имя. В остальном войске офицеры назначаются по старшинству. Король отказывается от права раздавать королевские имения, доходы с которых обращаются на государственные нужды. Сейм назначит членов Постоянного совета тайною баллотировкой, но теперь на первый раз король согласится с министрами трех союзных дворов относительно назначения сенаторов, министров и шляхты, которые должны войти в Постоянный совет; четыре гвардейских полка будут под властью государства, как они были при Августе III, с тем только различием, что тогда гетманы сосредоточивали в своих руках всю власть, а теперь они разделяют ее с военною комиссиею и гетманы вместе с комиссиею будут подчинены Постоянному совету. Королю будет выдаваться ежегодная сумма на содержание двухтысячного отряда войска, которым он располагает, как ему угодно.

Эти условия были выработаны королем и Штакельбергом вдвоем; Станислав-Август просил, чтоб министры австрийский и прусский тут не участвовали, на что они охотно согласились, чтоб избавиться от такого неприятного занятия. По окончании дела король прислал Штакельбергу письмо: «Вы были орудием жестокого жертвоприношения, где я был невинно заклан. Вы видели всю горечь моего страдания. Без сомнения, вы мне сострадали, вы должны желать доставить мне лекарство и облегчение. Но этого не будет, если императрица не возвратит мне своей дружбы. Умоляю, содействуйте этому. Я так и так давно несчастен, что наконец она должна быть тронута. Этот последний

удар пронзил мне сердце, потому что нарушает мое достоинство и потому что направлен прямо ею, ею, против которой сердце мое ни в чем не винно. Но наконец, если бы даже она предполагала эту виновность, то я искупил это пагубное предположение, думаю, достаточно дорого». Следствием была записка Екатерины Панину: «Что касается короля и его брата, прошу вас придумать, что можно для них сделать. Прежде всего я сама охотно отдам и уговорю два другие двора отдать королю, что ему следовало до раздела; мне кажется, что граф Чернышев имел приказание составить этому счет; я потороплю его».

Варшавские события, разумеется, должны были вести к деятельным сношениям между участвующими в разделе державами; дела на Дунае продолжали находиться в тесной связи с польскими; Россия продолжала требовать у своих союзников помощи для скорейшего заключения мира с Портою.

9 февраля (н. с.) Фридрих II писал Сольмсу: «Известия о мирных переговорах в Бухаресте сильно меня беспокоят, боюсь, что конгресс уже разорвался. Упорство оттоманского уполномоченного должно приписывать французским интригам. Между тем я исполню сколько можно лучше поручение графа Панина, и, хотя я не нахожусь в непосредственной переписке с императором, Панин может быть уверен, что я передам его и в-стwu увещание, чтоб он дал точные приказания Тугуту действовать с большим жаром при Порте в пользу мира. Боюсь одного, и не без основания, что это средство придет слишком поздно, после разрыва конгресса. Если это случится, то вспомните проект венского двора, который я вам вверил, как прошлым годом я был в Силезии: этот двор сильно желает приобрести турецкие земли со стороны Венгрии и с этой целью вступить в союз с Россией против турок. Если переговоры прервутся, знайте наверное, что венский двор употребит все усилия для проведения этого проекта, который лежит на сердце у императора. Между тем на наших переговорах в Польше сильно отзовется разрыв конгресса и мы встретим гораздо больше трудностей, чем когда бы мир был близок к заключению; я не знаю другого средства преодолеть эти затруднения, как принудивши поляков утвердить все наши требования». Это писалось для сообщения петербургскому двору; теперь послушаем, что Фридрих говорил фон-Свитену для сообщения в Вену. Разговор происходил 20 февраля (н. с.). «Известия из Константинополя, – начал король, – не подают надежды на мир. Турки никак не хотят уступить двух крепостей в Крыму (Керчи и Еникале); турки объявили, что уступка этих крепостей грозит опасностью Константинополю; они предпочитают продолжать войну, хотя бы это повело к разрушению столицы и всей империи, ибо все равно беда неизбежная через тридцать лет. С другой стороны, русские объявили, что без уступки двух крепостей в Крыму не хотят слышать о Крыме; и я жду скорого известия о разрыве Бухарестского конгресса. Турки сами этого ждут и приготавливаются, собирают войска сколько можно более. Я очень недоволен всем этим, потому что не вижу средств помочь делу». *Фон-Свитен* : «Но нельзя ли надеяться, что петербургский двор, который должен желать прекращения войны, сбавит свои требования, видя, что Порта решилась всем рисковать, а не подчиниться им». *Король* : «Нет, эти люди упоены своим счастьем; верно, что так же трудно управлять счастьем, как и несчастьем. В упоении успехами они постановили самые тяжкие условия для Порты; теперь они и видят, что перешли меру, но не хотят отступить назад, считая это для себя унижительным, и они будут принуждены продолжать войну, потому что слишком

много запросили; будут еще по крайней мере две кампании, которые, по-моему, не представляют для них ничего выгодного: они овладели всем на этом берегу Дуная, им не остается ничего больше здесь делать. Было бы очень опасно перенести оружие за эту реку, ибо было бы очень трудно поддерживать необходимые сообщения: на это надобно было бы употребить большую часть армии, и остальная, которая переправилась бы за Дунай, не могла бы по своей малочисленности действовать с успехом, ибо набеги, если бы даже и простирались до Адрианополя и дальше, не решат ничего. Впрочем, несмотря на доброе согласие, существующее теперь между вашим и петербургским двором, я не знаю, очень ли вам понравится переход русских за Дунай? По крайней мере нужно было бы им прежде условиться с вами. Мне сообщили из Петербурга другой проект, и я очень советовал не приводить его в исполнение: это опустошить Молдавию и Валахию, все пожечь, забравши всех жителей, сделать из двух стран совершенную пустыню и отодвинуть войско на польские границы за Днестр, оставив 20000 или 30000 в Татарии. Этот проект совершенно противен человеколюбию, слишком отвратителен и в то же время может сделаться опасным, ибо, несмотря на опустошение, турки могут приблизиться к Польше, где поднимут сильное волнение, а нам нужно их держать подальше для успеха наших намерений. Я вижу одно средство помочь делу: это если Россия потребует вашей помощи против турок и согласится, чтобы вы взяли Боснию и Сербию. В таком случае война не будет продолжительна и вы не останетесь без барыша».

Фон-Свитен обещал донести об этом предложении своему двору и писал Кауницу, что, без всякого сомнения, тут скрываются гораздо обширнейшие замыслы прусского короля, именно дальнейшее расширение своих владений. Фон-Свитен предлагал свою догадку, что Фридрих хочет вмешаться в войну России со Швециею и приобрести шведскую Померанию, а чтоб Австрия не мешала этому, занять ее в Турции, где она может также сделать приобретения. Но австрийский посланник посмотрел не в ту сторону: Фридриху прежде всего желалось получить Данциг и Торн, и, чтоб Россия и Австрия согласились на это, он указывал им на приобретения в Турции, получить которые они могли, только предварительно отдавши ему всю Вислу. Прежде он не желал, чтоб Австрия приобрела земли от Турции, ибо прежде всего хотел совокупного действия трех держав в Польше, но теперь это совокупное действие завершилось по его желанию и он думал об одном: как бы добыть Данциг и Торн, без чего польское дело являлось для него неоконченным.

Чтобы Австрия не боялась Франции, когда станет увеличиваться на счет Турции, Фридрих говорил фон-Свитену: «Французы в бешенстве, но у них нет силы, и потому они переменили львиную кожу на лисью и пытаются всеми средствами нас разъединить. Знаете ли, что они предложили в Петербурге доставить России мир с турками, если там согласятся дать им волю работать в Константинополе; но их хитрости не удадутся, я за это отвечаю. Впрочем, их нечего бояться, они не в состоянии вести войну; правда, что они могут надеяться на испанские субсидии, но этот источник недостаточен: война, которая ведется на чужой кошелек, на милостыню, не может быть ни энергична, ни продолжительна; притом я знаю наверное, что король ненавидит самое имя войны; и министр, который ее ему предложит, несомненно, потеряет свое место; а вы знаете, что во

Франции, как в некоторых других странах, министры любят больше свои места, чем государство».

Из Вены отвечали отказом вести дело в Турции вместе с Россией, искать себе с оружием в руках приобретений, тогда как не было известно, какие приобретения прусский король захочет приобрести даром; в Вене Фридрих II имел отличных учеников, которые, следуя по стопам учителя, также намерены были приобрести от Турции кое-что даром. Получивши на свое предложение отрицательный ответ, Фридрих затронул другую сторону. «Однако, – сказал он фон-Свитену, – надобно ожидать со дня на день разрыва бухарестских конференций, и если война продолжится, то надобно же принять какое-нибудь решение, что тогда делать. Россия объявляет, что если мир не состоится, то она не будет более держаться предложенных условий, именно возвращения Молдавии и Валахии». – «Вы знаете, государь, – отвечал фон-Свитен, – что мы бы принуждены были сделать, если бы Россия пожелала сохранить Молдавию и Валахию, и вы из этого можете заключить, что мы принуждены будем сделать, если те же обстоятельства повторятся».

Фридрих понял дело так, что Австрия не хочет объявить себя против Турции из опасения Франции. «Чего вы боитесь французов?» – спросил он фон-Свитена. «Мы боимся, – отвечал тот, – верной потери наших областей на Рейне, в Италии, Нидерландах, которых мы не могли бы защищать». – «Но разве я не союзник ваш в этой всеобщей войне?» – возразил король. «Вашему в-ству достаточно будет промышлять о самих себе», – отвечал фон-Свитен. «Но почему вы верите в возможность этого всеобщего союза против нас?» – спросил опять король. «Мы не должны предполагать эту возможность, – отвечал фон-Свитен, – вследствие общего волнения и зависти, произведенных в целой Европе нашим раздельным договором и нашим союзом. Страх родил подозрения и преувеличенные опасения. Если увидят, что наш союз ограничивается разделом Польши, которому уже нельзя воспрепятствовать, волнение прекратится, подозрения и опасения исчезнут и можно надеяться сохранения всеобщего спокойствия; но если увидят в нашем союзе с русскими против турок осуществление именно тех опасных последствий, каких боялись, то нет сомнения, что вся Европа соединится против трех дворов, против обширных замыслов, которые по справедливости у них заподозрит». – «Эта опасность исчезнет, – отвечал король, – если мы еще теснее соединимся; и вот почему я бы так желал, чтобы наш тройной союз был заключен: тогда мы будем господами мира и войны; и это будет верное средство осуществить проект аббата С. Пьера» (о вечном мире).

Что Фридриху вовсе не хотелось никакой войны, а тем менее шведской, видно из его письма к Сольмсу от 24 апреля: «Если я вам говорил о подозрениях насчет интриг Дюрана и непозволительных связей, какие он мог иметь при русском дворе, то я делал это на основании моих писем из Парижа, что там хвастаются существенными услугами, оказанными Дюраном своему двору; слухи о неудовольствиях между императрицею и великим князем, о решенном удалении графа Панина и будущей революции в России вообще распространены в Версале. Что касается ваших известий, что Дюран дал знать своему двору о кронштадтских укреплениях и дурном состоянии русского флота, то Франция может воспользоваться такими известиями для воспламенения огня юности моего племянника, короля шведского. Она может воспользоваться этими анекдотами и

убедить Густава III, что настоящие обстоятельства самые благоприятные для разрыва с Россией. Так как я был бы очень огорчен, если бы мои родственники ввели в новые затруднения мою союзницу, то я думал о средствах, как бы предохранить ее от этих неприятностей, и вот что придумал. Предположив, что разрыв со Швецией неизбежен и Швеция действительно нападет на Россию, последняя может рассчитывать, что я с точностью выполню мои союзнические обязательства. Но быть может, есть средство предотвратить бурю? Единственное разумное средство, которое Франция может употребить для принуждения шведского короля к разрыву, – это внушение, что Россия непременно замышляет какой-нибудь удар для восстановления прежней формы правления и гораздо выгоднее для него ее предупредить и напасть на нее во время турецкой войны, а не дожидаться мира, когда Россия, имея свободные руки, обратит все свои силы против него. Этот аргумент кажется мне очень естественным и способным произвести впечатление на шведского короля. Чтобы заставить Францию замолчать и предупредить следствия ее верных внушений, я не нахожу другого средства, как объясниться дружески со шведским королем или непосредственно, или чрез меня».

Из Петербурга королю давали знать, что в случае разрыва Бухарестского конгресса русские войска перейдут Дунай. По этому поводу Фридрих писал Сольмсу 1 мая: «Не скрою от вас, что переход через Дунай с целой армией фельдмаршала Румянцева кажется мне очень опасным и трудным. Русская армия будет подвержена тут тысяче случайностей, не говоря о трудностях при доставлении съестных припасов и оружия. Обратив внимание на ширину этой реки, понимаешь затруднения, какие встретит армия в случае, если испытает малейшую неудачу и будет принуждена отступать по той же реке. Осада Очакова, кажется мне, была бы естественна и не так опасна. Кампания нынешнего года потребует от фельдмаршала Румянцева гораздо более благоразумия и осторожности, чем предыдущие». Получив известие о разрыве Бухарестского конгресса, Фридрих писал: «Очень печально, что бухарестские переговоры опять не удались. Я имею основания предполагать, что если бы венский двор употребил более твердости в своих внушениях Порте, то переговоры, конечно, имели бы более успеха. Сколько я могу заключить из всех моих известий, венский двор, сохраняя еще слишком много прежнего уважения к Франции, не имел духа сделать более сильные представления в Константинополе». Но Фридрих противоречил самому себе. Что-нибудь одно: или Австрия не хотела настаивать на мире по отношению к Франции, или по другим расчетам, желая воспользоваться предложением войны для своих целей. Так, Фридрих в депеше 25 мая опять возвращается к этому объяснению: «Кауниц желал выдвинуть всевозможные затруднения, чтоб заставить Россию нуждаться в помощи венского двора и продать эту помощь самую дорогою ценою». В августе гр. Иван Чернышев имел в Потсдаме длинный разговор с Фридрихом II, который рассказывал ему о своих отношениях к разным державам. Об англичанах он никак не мог говорить равнодушно, он упрекал их в том, что тайком от него заключили последний мир с Францией, не выговорив занятых французами его земель, и заставили его отбирать эти земли оружием. Но всего обиднее было для него то, что они предлагали Кауницу союз и помощь для отнятия у Пруссии Силезии и старались охладить к нему императора Петра III. «Теперь, – говорил король, – мне нет

никакой нужды входить с ними в союз; я доволен союзом с Россиею и ни в ком больше нужды не имею. Россия в другом положении и может иметь свои причины быть с Англиею в соглашении или союзе; тогда по России и я буду с нею в некоторой связи. При втором свидании моем с императором был там и Кауниц; и тот об англичанах имеет одинокое мнение со мною: считает их не очень верными союзниками, чему в пример приводил поступок их с австрийцами во время Ахенского мира». Потом Фридрих начал говорить о дружественных отношениях своих к императрице Екатерине и России и как будто бы стыдился своей попытки еще порасширить свои границы на счет Польши, говорил сквозь зубы: «Вообще принято: когда реку отдают, то разумеется верховье; императрица мне этого дать не рассудила; и я согласился». Потом продолжал с улыбкою: «Австрийцы объявили, что намерены всегда держаться в точности постановленного в конвенции о разделе; но после оказалось, будто нельзя описать границ с такою точностью, как на месте, почему и хотят этим начать. Я знаю их жадность: им хочется захватить побольше, почему и посылаю человека поприсмотреть за ними; и в случае если они поприхватят, то естественно, что и я буду определять свои границы по местным удобствам». Чернышев заметил на это: «Если ее и в-ство рассуждает, что трем державам непременно должно держаться постановленного в конвенции, то это не для того, чтоб не дать Пруссии чего-нибудь больше, а для того, чтоб показать свету твердость намерений трех держав; потому и нельзя расширять своих границ под предлогом, что другой захватил лишнее, иначе можно поставить польские дела в такое положение, что их и окончить будет нельзя». Фридриху не хотелось продолжать этого разговора. Сказавши, что в Польше положили соглашаться на уступку требуемого и что окончание дела гораздо более подвергнуто опасности от внутренних вопросов, он перешел к войне и миру с турками. «Мир крайне надобен, – говорил он, – кампанию надобно считать оконченною, и не очень удачно; и если в настоящем году мир не может быть заключен по желанию, то, не жалея расходов, надобно употребить всевозможные меры, чтоб принудить турок к миру в будущую кампанию. Всех обстоятельств, которые могут последовать в Европе, предвидеть нельзя. Что же касается шведов, то я уверен, что они, особенно нынешний год, ничего не предпримут, да хотя бы и предприняли, то 25000 войска, находящегося в Финляндии и около Петербурга, конечно, довольно, особенно если в то же время шведы должны будут иметь дело и с датским двором. Я не раз думал о том, что шведы вам могут сделать. У них больше 45000 войска нет; из этого числа надобно кое-что оставить дома и в гарнизонах; положим, что на это пойдет 5000; десять надобно будет отделить против Норвегии; затем и останется против вас только 20000. Впрочем, не должно сомневаться, что в случае совершенной неудачи вашей против турок Франция будет стараться поднять шведов против вас. Больше всех возбуждает в короле к вам ненависть французская креатура Шефер, который с младенчества вселил в короля мысль, что он может получить известность в свете только беспредельной привязанностью к французской системе и тесным союзом с Францией. Я их обоих у себя видел. Племянник мой, король, очень неглуп, но все дурное французское так перенял, что ветрен, как молодой француз. Желательно, чтоб вы помирились с турками без чужой помощи; но в случае невозможности надобно будет прибегнуть к австрийцам. Они очень желают вмешаться в эту войну, но хотят, чтоб вы их о том много и много просили. Аппетит у них

несказанный – возратить Белград и все потерянное в прошедшую войну. Я этот двор хорошо знаю и вам вкратце опишу: император – человек молодой, нетерпеливо желает себя прославить, но человек честный и твердый; мать – такая комедиантка, какой на свете нет другой; Кауниц – человек не только двоедушный, троедушный, но и четверодушный. Я часто думал, как бы вы могли нанести туркам самый чувствительный удар, но, по несчастью, не знаю местности и потому безошибочно ничего сказать не могу. Однако мне кажется, что вам бы следовало, оставя знатный корпус войска вверху Дуная, у Журжева или выше, с остальной армией идти по правому берегу реки прямо к Варне; провиант можно было бы доставлять по Дунаю и морем. Такое движение заставило бы неприятеля или сойти с гор, выйти из щелей и дать сражение, или бежать для защиты Адрианополя. Жаль очень, что Силистрия не взята: тогда бы вы твердой ногой стояли и за Дунаем». Чернышев заметил, что Силистрию можно взять только приступом, следовательно, с большим кровопролитием. «Мало артиллерии вы употребляете, – сказал король, – надобно бы пушек сто да мортир 30 или 40, ибо турецкие укрепления состоят в крепких и высоких стенах. Хотя бы Очаков в нынешнюю кампанию можно было взять!» Чернышев заметил, что трудно перевести к нему артиллерию. 5 октября Фридрих писал об опасностях вторичного перехода через Дунай: «Если бы турки первые перешли Дунай и граф Румянцев разбил их, тогда он мог бы их преследовать за Дунай; преследование разбитой, потерявшей потому дух армии всегда бывает успешно. Но если, наоборот, турки останутся в своем лагере, то фельдмаршал ударится в большую игру: перешедши Дунай для нападения на них, он рискнет всем для всего. Я не стану утверждать, чтоб такой смелый удар никак не мог удалиться. Военное счастье, которое до сих пор благоприятствовало русским, может благоприятствовать им и в этом случае, но жребий войны изменчив и его прошлые ласки не ручаются за будущее; неудачи так же возможны, как и успехи; и не скрою от вас, что на месте России я бы не стал так полагаться на счастье».

Сольмс передал Панину депешу прусского посланника Гольца из Парижа (от 4 ноября); по письмам из Петербурга заключают, говорилось в депеше, что Панин не пользуется большой милостью своей государыни, он должен разделять ее с князем Орловым и графом Чернышевым, которые очень дружны между собой. В письмах прибавляют, что эти вельможи не кажутся такими врагами Франции, как гр. Панин, что министры французский и испанский часто выдаются с ними и подают своим дворам надежды относительно доброго расположения Орлова и Чернышева ко Франции. Герцог Эгильон, говоря с Гольцем о наградах, полученных Паниным, спрашивал его несколько раз: «Думаете ли вы, что этот министр действительно удержит заведование иностранными делами и дарованные ему милости не предвещают ли скорое Удаление от дел?» Гольца уведомили, что Дюрану дано приказание осведомиться при петербургском дворе, не согласится ли последний заключить мир с Портою при посредстве Франции, которая в таком случае может добиться у турок уступки двух крымских гаваней на Черном море.

В Вену о французских внушениях давали знать непосредственно из Петербурга, думая, что этим побудят Австрию содействовать заключению мира России с Портою! 12 февраля австрийскому послу здесь князю Лобковичу была вручена бумага под заглавием: «Содержание разговора графа Панина с князем Лобковичем». В этой бумаге говорилось: «Венскому двору известно старание

Франции запутать все политические дела Европы с единственной целью воспрепятствовать соглашению трех дворов относительно Польши или, наконец, воспрепятствовать исполнению этого соглашения. Здесь Дюран не перестает выставлять выгоды, какие получила бы Россия, войдя в тесную связь с его двором: чрез это она вывела бы свои дела из нерешительного положения; Дюран прямо и открыто предлагает союз между Россией, Францией и Швецией; это предложение, очевидно, клонится к тому, чтоб охладить Россию, ослабить ее деятельность при исполнении означенного соглашения, и хотя еще ей не предлагают уклониться от соглашения, однако указывают уже на большие выгоды, которые получит она от новых связей. Нет двора, где бы Франция не интриговала против раздела Польши; даже британское министерство обольщено до такой степени, что поддерживает в Константинополе все французские интриги против мира ввиду торговли на Черном море. Известно, что русский двор отказался от Молдавии и Валахии из уважения к венскому двору, и никакие другие соображения не могли бы побудить его к принесению этой жертвы. В таком положении дел было бы действием, согласным со справедливостию и миролюбием венского двора, если б он предписал своему министру в Константинополе открыть Порте глаза насчет двойной интриги Франции, которая работает в пользу Швеции в одно время и в Петербурге, и в Константинополе, и вместе с тем объявить Порте, что если она позволит себе увлечься чуждыми видами к продолжению военных бедствий, то Австрия не только предоставит ее военному счастью, но для поддержания равновесия в случае шведской диверсии примет сторону России, как прежде принимала сторону Порты». Кауниц, уверяя кн. Голицына в искренности и усердии, с какими австрийский посланник по предписанию своего двора поддерживает русские интересы в Константинополе, прибавил, что Австрия ожидает и от России для себя услуги. «Мы были бы очень благодарны петербургскому двору, – продолжал он, – если бы Россия не подала повода к разрыву со Швецией, если бы ограничилась уничтожением неприятных ей вещей в новой правительственной форме путем мирных переговоров». Кауниц просил Голицына писать об этом почаще графу Панину. Голицын отвечал, что Россия, конечно, не начнет легкомысленно новой войны, но дело в том, что Франция своими интригами воспрепятствует королю шведскому войти в какие бы то ни было соглашения и может ли русский двор видеть хладнокровно существование в Швеции правительственной формы, противной его гарантии и его интересам? Кауниц при этих словах обнаружил некоторое волнение и сказал: «Чего России бояться, если шведский король будет одарен талантом и мужеством? Ведь он чрез это все же никогда не будет в состоянии меряться с вами: Россия бесконечно превосходит его своими средствами, притом она располагает Данией, имеет союзником короля прусского и находится в доброй дружбе с австрийским домом». Голицын заметил на это, что государства не руководятся в своем поведении настоящим положением дел, но имеют в виду будущие неудобства и предусматривают опасности издалека; ясно, что в Швеции при перемене правления аристократического на монархическое неограниченное произойдет сосредоточение власти, что даст этому государству большие средства. Это будет тем опаснее для России, что неограниченная власть шведского короля будет орудием в руках Франции для постоянной помехи русским делам. Кауниц не отвечал на это прямо, а только распространился о том, как было бы желательно

избежать войны, которая может распространиться далеко. Кауниц уверял в искренности и усердии, с какими австрийский посланник поддерживает в Константинополе интересы России. Действительно, он готов был предписать Тугуту склонять Порту к примирению, но император Иосиф был другого мнения: он представлял, что Австрия не окажет этим Порте никакой услуги; если Австрия ничего не сделает против мира, то Россия не будет иметь никакого права жаловаться; Франции будет также приятнее, если Австрия не будет усердно хлопотать о мире, ибо Франция боится, что Россия, освободившись от турецкой войны, обратится против Швеции. Наконец, чем долее Россия будет находиться в войне, чем продолжительнее будет нерешительное положение и прусский король будет платить ежегодные субсидии, тем Россия и Пруссия будут уступчивее в польских делах. Кауниц был принужден в депешах Тугуту, которые тот мог показывать, настаивать на заключении мира, а в тайных давать знать, что эти увещания к миру в Вене не почитаются серьезными; внушалось, что такие настаивания на мир с австрийской стороны могут быть только выгодны для Порты, ибо если она отвергнет русские требования, то этим произведено будет сильнейшее впечатление в Петербурге: здесь увидят, что и убедительнейшие внушения Австрии ни к чему не повели.

Когда Голицын объявил Кауницу о разрыве Бухарестского конгресса, то австрийский канцлер сказал спокойно: «Из этого достойного сожаления события можно видеть, какую нужду и важность находят для себя турки в требуемых русским двором двух крымских крепостях, Керчи и Еникале». – «По моему мнению, – возразил Голицын, – такое упорство турок можно приписать только неусыпным проискам недоброхотов России. Турки своим упорством не приобретут себе никакой пользы; и я очень удивляюсь, почему Порта, несмотря на данные ей г. Тугутом новые представления, разорвала конгресс; из этого видно, как мало она уважает представления здешнего двора». Кауниц помолчал и потом завел речь о другом предмете. Получивши от Панина подробные известия о разрыве конгресса, Голицын опять поехал к Кауницу сообщить их ему. Кауниц, выслушав изложение дела, принял серьезный вид и не отвечал ни да ни нет. Тогда Голицын начал говорить: «Вспомните, князь, по крайней мере, что мое изложение дела представляет искреннее объяснение от одного дружеского двора другому, что тут нет ничего искусственного и скрытного, и мы были бы очень рады, если бы наше поведение в переговорах с Портою показалось и вашему двору столь же справедливым и последовательным, каково оно на самом деле». – «В добрый час, – отвечал Кауниц, – но чтоб судить о вашем деле беспристрастно, надобно, чтоб я поставил себя также и на место турок; по-вашему, вы требуете мало, а по их – слишком много».

В октябре по поводу перехода русского войска через Дунай император Иосиф II спросил Голицына: «Не думаете ли вы, что переход через Дунай несколько рискован?» – «Государь, – отвечал Голицын, – нет сомнения, что попытка смела и опасна, но если неприятель не шел к нам, то надобно идти к нему; впрочем, если наше войско не могло вполне достигнуть цели похода, то по крайней мере оно удержало решительное превосходство над неприятелем». – «Правда, – сказал Иосиф, – войско держало себя хорошо, и я удивляюсь постоянной славе вашего оружия, если бы только поскорее последовал мир». – «Государь, – отвечал Голицын, – это не от нас зависит». Иосиф: «Правда, турки упрямы до

невозможности; что мы не делали, чтоб уговорить их, – один ответ, что русских условий принять нельзя! Ваше требование Керчи и Еникале есть один из главных камней преткновения; они думают, что посредством этих двух мест и флотов, какие у вас там будут, вы будете владеть Черным морем и держать в осаде Константинополь». *Голицын* : «Все эти опасения не имеют никакого основания; положение Керчи и Еникале неудобно для военного флота; да если бы было и иначе, то Порте нечего бояться в мирное время, когда наши корабли имеют право плавать по Черному морю; в случае же войны мы приведем в действие верфи Таганрога, Азова и Воронежа, причем Кафский проход, находящийся в руках наших союзников татар, будет нам всегда открыт. Порты не хочет нам отдать этих двух мест единственно потому, что они послужат нам гарантией независимости татар». *Иосиф* (с улыбкой): «Говорят, что татарская независимость, на которую так настаивает Россия, вовсе не по вкусу самих татар и что вы ее им навязываете». *Голицын* : «Дело возможное: народ, привыкший долгое время к игу, связанный с турками единством веры и нравов, может оказывать нежелание внезапного освобождения, и мы не стали бы открывать им глаза насчет выгод, которых они не понимают, если бы у нас не было прямого интереса так поступать. Освобождая этот хищный народ из-под покровительства Порты, делая его ответственным за его собственные поступки, мы чрез это доставляем нашим границам безопасность от их набегов. Да и ваши владения от этого выиграют». *Иосиф* : «Как это?» *Голицын* : «Во-первых, мы удалили многие татарские орды, переведя их из Буджака на Кубань; потом, в случае войны австрийского дома с Портой последняя не будет иметь в своем распоряжении толпы разбойников, которые прежде с необыкновенной быстротой опустошали целые области». *Иосиф* : «Прекрасно! Эти соображения мне кажутся основательными; однако если турки будут упорствовать, то скоро ли у вас будет мир?» *Голицын* : «Наш мир с Портою будет заключен очень скоро, если венский двор употребит в нашу пользу лучшее из увещаний». *Иосиф* (улыбаясь): «Понимаю, вы разумеете пушки». *Голицын* : «Именно, государь. Уже самая близость войны столь продолжительной неудобна для соседней державы; потом турки благодаря неутомимым заботам наших завистников привыкают нечувствительно к лучшей дисциплине, учатся воевать с Европою, и, соединяя эту выгоду со своими естественными средствами, они делаются гораздо опаснее, чем были прежде». *Иосиф* : «Я с этим не согласен. Не касаясь уже главной струны (магометанства?), живой и кипучий характер этого зверского народа в соединении с формой правления никогда не может согласоваться с дисциплиной, в какой мы держим наших солдат». *Голицын* : «Дай бог, чтоб предположение вашего величества никогда не допускало исключений, но, соображая все обстоятельства, осторожность в этом отношении не неуместна». Тут император вдруг переменял разговор.

Об интригах Франции толковали постоянно в Петербурге, Берлине и Вене; о чем же толковали во Франции? В марте Хотинский писал Панину: «Здесь согласие трех дворов – русского, прусского и австрийского – почитается странным для всех союзом, и неведомо, каких в нем видов не подозревают. Потому опасаясь я, чтоб не употребил здешний двор всяких ухищрений напугать этим и англичан, которые в такую западню могут и попасться и станут если не содействовать Франции в ее предприятиях, то мироволить, а она не преминет всячески кутить и мутить». Больше всего во Франции боялись нападения на Швецию со стороны России, что

заставило бы Францию помогать Швеции хотя деньгами, но и денег не было. Тщетно Хотинский уверял Эгильона, что у России нет намерения напасть на Швецию; герцог отвечал: «Это все равно как если бы вы мне говорили, что остаетесь в Версале, а я собственными глазами видел из окна, что в вашу карету лошади запряжены. Для чего вы не хотите со стороны шведов обеспечить заключение с ними договора?» В августе пришло известие о назначении во Францию министром генерал-майора князя Ив. Серг. Борятинского. Это известие заставило утихнуть слухи о войне, и бумаги поднялись на бирже. Эгильон сказал Хотинскому, что Дюран расхваливает Борятинского. «Такое назначение, – заметил Хотинский, – может успокоить вас и относительно Швеции». – «Вы знаете, – отвечал Эгильон, – образ мыслей короля и мои намерения, знаете, что мы желаем более всего, чтоб это назначение послужило к утверждению совершеннейшего согласия». Когда Хотинский указал на вооружение Франции, то герцог сказал: «Мы не хотим, чтоб о нас подумали, что мы уже совсем бессильны».

В августе был составлен наказ новому министру кн. Борятинскому. Наказ этот замечателен как объяснение и оправдание русской политики во время панинского управления внешними делами, написанный самим Паниным: «Руководство общими делами разделяется главными державами по мере умения каждой себе его присваивать. До царствования Великой Екатерины Россия при всех своих успехах в прусской войне играла только второстепенную роль (?), выступая везде вслед за своими союзниками (?). При вступлении ее в-ства на престол в Европе были две стороны: в первой находились Франция и Австрия, за ними Испания и значительная часть имперских князей; на другой стороне была Англия и король прусский. С первой в союзе находился король португальский и некоторые имперские князья; с последним же сделался вдруг из неприятеля теснейшим союзником император Петр III; следовательно, и тут Россия, переменя политическую систему, осталась все же в значении державы, от посторонних интересов зависимой. При заключении мира Англия успела вынудить от бурбонского дома выгодные условия, удержав за собой многие и важные завоевания, а король прусский отдалился безо всякой потери. Чем меньше Россия вследствие скоропостижного перелома, совершенного в ее политике Петром III, могла иметь влияние в этих мирных переговорах, которые основывали будущее положение всей Европы, тем труднее было ей после приобрести влияние. Мудрость и твердость ее и. в-ства превозмогли, однако, скоро эту трудность, и свет увидел вдруг с удивлением, что здешний двор начал играть в общих делах роль, равную роли главных держав, а на севере – первенствующую. Англия, имея с нами одинакие государственные интересы, а сверх того, привыкнув по естественному положению острова своего смотреть в мирное время очень равнодушно на континентальные дела, увидела такую политическую перемену с чрезвычайным удовольствием по той причине, что находила в России новую соперницу Франции, облегчающую собственные ее заботы. Австрия и Пруссия были так утомлены от войны, что сначала мало помышляли о распространении влияния своего далее пределов германской империи, а после, увидя, что Россия начала сама собою и по собственной системе действовать, стали по взаимной их друг ко другу ревности наперерыв искать ее дружбы и союза, но с той разностью, что венский двор по прежней привычке руководствовать ею для собственных видов (?) старался и тут возвратить нас в зависимость от своей политики; а король

прусский, оставляя ее и в-ству первенство в общих с ними делах, хотел только приобрести себе ее дружбу и союзом ее оградить целость и безопасность владений своих на будущее время, зная по опыту, какою завистью пылает к нему венский двор, и, конечно, воспользуется. первым удобным случаем к отнятию у него Силезии. Не трудно было императрице избрать, которая сторона выгоднее и полезнее для славы и достоинства империи, тем более что венский двор находился в теснейшем соединении с Франциею, которой влияние везде господствовало и особенно на севере препятствовало усилению русского влияния. Предпочтение России прусского союза не могло быть по вкусу венскому двору, и потому он начал везде способствовать французским интригам против нас, сохраняя некоторую умеренность и все наружное приличие. Но Франция оскорблялась в войне, чувствуя, что русское влияние усиливается в ущерб ее собственному; и первый министр герцог Шуазель, полагая в том личную свою честь, стал хвататься и за все позволенные и непозволенные способы. Общая французская система против нас состоит в том, чтоб влиянию и значению России, по крайней мере равняющимся теперь влиянию и значению Франции, ставить сильнейшие препятствия и стараться возратить Россию в прежнее положение державы, действующей не собою, а повинующейся чужим интересам. По этому плану действуют теперь при всех дворах французские министры, хотя герцогу Эгильону надобно отдать справедливость, что со времени его министерства наблюдается ими все наружное приличие; и здесь Дюран уверяет о дружеском расположении своего короля к императрице и желании его оказать ей услуги, средством к чему могут служить возобновление оборонительного союза между Россией и Швециею и посредничество для заключения мира с Портою, но все это делается с прежней целью лишить нашу политику самостоятельности. Франция увидала, что успехи ее в борьбе с нами не соответствуют ее желанию, и потому вздумала перевернуться и построить батареи свои у нас самих, пользуясь шведской революцией и порвaniem переговоров с турками, в надежде, что увеличение наших забот побудит нас с радостью и без размышления ухватиться за ее лестные предложения. Тонкая мысль, чтоб дать нам в собственном нашем деле почувствовать недостаток собственных наших средств. Но тонкость Франции не устояла, однако, против мудрости ее и в-ства, проникнувшей ковы и отклонившей французские предложения». Борятинский должен был поступить соответственно этому, если б во Франции повторили ему подобные предложения. Относительно отклонения французского посредничества Панин под условием глубочайшей тайны рассказывал английскому посланнику Гуннингу следующее. Известный Дидро, гостивший в это время в Петербурге, подал императрице бумагу, содержащую условия мира России с Турциею, который Франция обязывается доставить, если будет принято ее посредничество. Дидро объяснял, что бумагу получил он от Дюрана и не мог отказаться передать ее императрице, иначе по возвращении во Францию был бы заключен в Бастилию. Екатерина отвечала ему, что, принимая в соображение такую опасность для него, она прощает неприличие его поступка, но пусть он передаст Дюрану, какое употребление она сделала из его бумаги: при этих словах бумага была брошена в огонь. Кроме того, Дюран три раза был у Панина с предложением посредничества и союза Франции с Россией на условиях, какие будут угодны последней. Каждый раз он получал ответ, что русский двор не считает настоящую минуту удобной для увеличения своих

обязательств и довольствуется обязательствами, уже существующими, но императрица очень чувствительна к дружественным намерениям его христианнейшего величества и всего более желает иметь случай убедить короля в том, как она его уважает и ценит его дружбу. Панин уверял Гуннинга, что, пока он управляет иностранными делами, Россия не примет французского посредничества. Но Гуннинг, донося об этом своему министерству, замечает, что, несмотря на враждебность Панина ко Франции, если бы не было в Петербурге Орлова, то можно было бы очень опасаться успеха приверженцев французского союза.

В Швеции не переставали ждать нападения с русской стороны и для обеспечения себя следовали вполне французским внушениям. «Благонамеренные, – писал Остерман, – говорят, что они не оказали сопротивления перевороту потому только, что не были удостоверены в защите России, говорили, что иго, наложенное королем, русской силой так же легко будет свергнуто, как скоропостижно было наложено. Нет ни одного шведа, который бы не думал, что эта минута настанет; до ее же наступления всякое движение, как вы сами мудро и проницательно признавать изволите, было бы не только напрасным, но и самым вредным предприятием и, следовательно, по моему мнению, всякая денежная раздача на приготовление умов была бы излишня, кроме одного тайного вспоможения благонамеренным, находящимся в крайней нужде, на что из последних полученных мною денег еще довольно в остатке находится. Я должен тем более остерегаться, что и без того наши соперники приписывали мне составление заговора и теперь прямо говорить начали, что мы по окончании нашей войны намерены напасть на Швецию вместе с Пруссией и Даниею. Зная ее и. в-ства будущее намерение, я не оставлю, сколько благопристойность позволит, под рукою усиливать настоящее неудовольствие, соразмеряя мои внушения и мою откровенность со взаимной ко мне доверенностью. Я составил список людей, в неудовольствии которых не сомневаюсь; но так как эти люди отмечены у короля русскими креатурами и удалены от правления, то от них, кроме скрытного содействия, другого ожидать нельзя, ибо за каждым их шагом следят. Пока не удастся королевского брата герцога Фридриха от короля отвлечь и к нашим началам привести, ни один из больших господ себя не откроет, и если вспыхнет какое возмущение и непослушание в полках, то от мелкого офицерства, а не от больших чиновных людей. На твердость и скромность герцога Фридриха надеяться трудно. За два дня до получения королевского указа о принятии команды над полками в Остготской провинции при известии о бунте в Христианштаде принц публично за столом уверял, что он явится вождем народа в защите вольности, по получении же указа объявил, пожимая плечи: „Король мне брат, мне нельзя его оставить, поневоле должен защищать“. Выходки против короля делал и герцог Карл, но следствий никаких не было; родственное чувство в королевской фамилии очень сильно: часто и скоро ссорятся, но скоро и опять мирятся».

Известия о русских вооружениях в Финляндии заставили Густава III созвать в начале марта военный совет из сенаторов графов Ливена, Шефера, Ферзена и барона Фалькенгрена. Король предлагал отправить в Финляндию несколько полков и артиллерийскую эстляндскую команду из 400 человек с 16 пушками. Но кроме Шефера, все другие сенаторы представляли, что прежде надобно получить

достовернейшее сведение, действительно ли императрица намерена напасть на Швецию, и потому они признавали полезным прежде всяких вооружений со стороны Швеции обнадежить императрицу именем короля, что у него нет ни малейшего намерения ее беспокоить, вследствие чего можно надеяться получить и от императрицы подобные же уверения, тогда как вооружения скорее всего могут произвести холодность между дворами. Король согласился не посылать в Финляндию полков и артиллерию, но, с другой стороны, согласился с Шефером, что не нужно посылать в Петербург обнадеживания, которое может повести к неприятному для Швеции ответу. Старались всеми средствами уверить, что с шведской стороны никакого военного движения не будет. Шефер приезжал к английскому министру Гудрику и говорил о распространяемом в Европе слухе, будто шведский король заключил с Портою договор, по которому за большую сумму денег обязался сделать диверсию против России. Шефер клялся, что этот слух выдуман врагами Швеции, что не только нет никакого договора, напротив, шведскому министру при Порте Целзангу предписано не препятствовать никоим образом заключению мира между Россией и Турциею. «Это уверение Шефера, – писал Остерман Панину, – могло бы иметь еще некоторый вид истины, если бы он так бесстыдно не уверял о своих предписаниях Целзангу». Остерман был уверен, что турецкие деньги придут в Стокгольм, как бы они ни были прикрыты, трактатом или французским плащом. После всех этих событий Шефер прислал просить свидания у Остермана и начал такой разговор именем королевским: «Вам известны неоднократно данные его величеством уверения об искреннейшем желании и непоколебимом намерении сохранить доброе согласие с императрицей. Король, имея и теперь то же самое пламенное желание, приказал мне подтвердить вам о нем с присовокуплением, что он до сих пор полагался на подобные же уверения и с ее стороны, несмотря на известие о русских вооружениях в Финляндии; теперь же, получа подтверждение этих известий о сборе 18000 человек, о вооружении 75 галер и целой эскадры, не может скрыть, как бы эти известия его беспокоили, если б он не вполне полагался на дружбу ее величества, основанную на родстве. Между тем он принял и с своей стороны некоторые меры предосторожности, но приказал мне повторить уверение, что эти меры приняты только для обороны, а никак не для наступления, и как скоро он из ваших уст узнает, что ее величество ничего против него предпринять не намерена, то сейчас же всякие вооружения прекратятся». «Этот поступок: Шефера, – писал Остерман, – происходит от того, что он со своей шайкой пронюхал нерасположение народа к войне и старается теперь подобра выйти из этого лабиринта для успокоения нации, почему так сильно и домогается об ответе с нашей стороны, чтоб в случае благоприятного ответа пресечь все движения, в противном случае продолжать их усиленно, даже собрать и чрезвычайный сейм».

В Петербурге составлен был такой ответ Остерману для передачи Шеферу по поводу последней конференции: «С тех пор как король вступил на престол, ее импер. в-ство постоянно уверяла его в своей искренней дружбе к нему как близкому родственнику, в участии, какое она принимает в его благополучии, в доверии, какое она питает к его желанию установить совершенное согласие между двумя державами. Одушевляемая такими чувствами, императрица с новым доверием и с новым удовольствием приняла последние уверения короля. Ее импер. в-ство презирует тайные пути; во все свое царствование она вела свои дела

на виду пред всей Европою; тем менее она могла изменить свое поведение относительно государя, находящегося с ней в таком близком родстве; по этому неизменному правилу своей политики она приказывает вам (Остерману) уверить, что во всем, что делалось и делается в ее государстве, не заключается ни малейшего намерения к нападению на Швецию. Первый шаг в перемене существовавшего порядка дел на Севере сделан не ею. Ее война с Турцией уже приближалась к окончанию, когда Швеция получила новую правительственную форму. От этой перемены и воинственных движений, непосредственно за нею последовавших и продолжающихся без перерыва до сего дня, враг России ободрился и мирные переговоры встретили препятствия, каких не было вначале. Императрица, естественно, должна была обратить внимание на то, что делалось в Швеции, а там велись усиленные приготовления к войне. В России же, наоборот, на северных границах постепенно являются войска, которые и прежде там были, но в последнее время были отправлены на юг вследствие неожиданного объявления турками войны; то же делается и относительно морских сил; и этим ограничиваются все военные распоряжения. Северные границы были обнажены от войска вследствие минутной необходимости, их вовсе не хотели оставить обнаженными, и они не должны были оставаться такими на основании перемены, происшедшей в соседстве. Императрица объявляет, что она не думала и не думает ни о чем Другом, кроме естественной защиты своего государства и своего союзника короля датского, и если шведский король даст торжественные уверения, что он не желает напасть на Россию, ни обеспокоить ее каким бы то ни было образом, и если эти уверения простираются и на Данию, то императрица с своей стороны уверяет короля, что она не имеет ни малейшего намерения напасть на него и желает сохранить мир и дружбу между обоими государствами. Что же касается до предложения о более тесном союзе между Россией и Швециею, сделанного шведским посланником при русском дворе бароном Риббингом, то это дело откладывается до более спокойного времени, могущего уничтожить возможность всяких перетолковываний».

Когда Остерман прочел этот ответ Шеферу, тот сказал, что лучшего уверения и желать нельзя, и хотя можно было бы сделать много замечаний относительно шведских вооружений, упоминаемых в ответе, но он считает более приличным их оставить. В ноябре сам король наедине сказал Остерману, что единственное его желание – удостоверить императрицу в искренности своей дружбы и для отнятия всякого повода к сомнению в этом он объявляет свое намерение в начале июня месяца будущего года ехать в Финляндию. Нынешний год он отложил эту поездку единственно для избежания разных толков о ее цели, а теперь частным образом открывает свое намерение по случаю этой поездки посетить императрицу и потому спрашивает, получил ли Остерман ответ на его прежний вопрос по этому делу. Остерман отвечал, что король, конечно, припомнит, как он, посол, именем императрицы уверял его, с каким удовольствием она увидит у себя такого дорогого гостя и кровного родственника. «Правда, – сказал Густав, – но так как после того произошли здесь разные приключения, то нет возможности формально повторить прежнее предложение, и потому мне было бы очень приятно, если бы вы сообщили ответ ее и. в-ства моему министерству; и я жажду видеть такую великую, прославляемую во всем свете монархиню и уверить ее лично в моем высокопочитании и миролюбивых чувствах, а потому и желаю получить от ее

в-ства приглашение», Екатерина велела Остерману отвечать, что она по-прежнему питает искреннее желание лично познакомиться с королем, своим соседом и близким родственником. Панин по этому случаю писал Остерману: «Приезд его величества был бы нам, конечно, приятнее в то время, когда у нас мир с турками заключен уже будет, нежели при настоящих наших хлопотах; однако ж когда он ныне вторично оказал желание посетить государыню, то и не позволяет нам благопристойность препятствовать тут исполнению его намерения».

Мы видели, что императрица по отношению к Швеции несколько не отделила себя от своего союзника датского короля. В самый первый день 1773 года новый русский министр в Копенгагене Симолин самыми блестящими красками (хотя и не блестящим французским языком) описывал отношения России к Дании. «С знанием дела смею уверить в с-ство, – писал он Панину, – в искренности и ненарушимости чувств всей королевской фамилии и министерства относительно императрицы, ее системы и ее интересов, от которых они решились никогда не отделяться, ибо целость и благосостояние Дании неразлучны с интересами Российской империи. От нашего двора зависит располагать Даниею и всеми ее силами соответственно нашим видам и интересам. Члены королевской фамилии смотрят на Францию, как на животное (*les personnes royales regardent la France comme la bete*), и я не упускаю случая укреплять такой взгляд во всех министрах. В с-ство видите, как настоящее время благоприятно для основания и утверждения русского влияния на Севере, для исключения отсюда французского влияния. Здесь ждут только заявления воли и желаний ее и в-ства, чтоб вполне с ними сообразоваться и доказать, что приверженность Дании к ней не имеет границ». Но скоро оказались тени в этой блестящей картине. 16 февраля Симолин писал уже о колебаниях министра иностранных дел графа Остена, о его противодействии вооружениям, которые датский двор принимал как для безопасности собственных границ, так и для выполнения союзных обязательств относительно России на случай, если бы шведский король сделал демонстрацию или диверсию против России, чтоб побудить Порту к продолжению войны. В совете, где дело шло о назначении офицеров на эскадру, вооружавшуюся к будущей весне, Остен не ограничился открытым сопротивлением мере, но выбрал потайные пути для достижения своей цели и даже внушал особам королевского дома, что успех в окончательном улажении голштинского дела еще не верен. Эта последняя попытка окончательно повредила Остену в глазах королевы и принца Фридриха, и им стало противно сноситься с ним о делах. Опасно было предоставить такому человеку конференцию с иностранными министрами и внешнюю переписку; трудно было предположить, что его разговоры с французским посланником, продолжающиеся по целым часам, ведутся только о предметах посторонних, о дожде и хорошей погоде, как он утверждал. Уже несколько времени Симолин замечал в Остене какое-то смущение в разговорах с ним, особенно желание избегать с ним разговора или прекращать начавшуюся беседу, когда посланники французский и шведский могли наблюдать за ними. Члены королевского дома чувствовали необходимость его удаления, но кем заменить? Послали за советом в Петербург к графу Панину, но, прежде чем пришел ответ, подозрения против Остена усилились. Прусский посланник барон Арним объявил Остену, что вследствие разнесшегося в Копенгагене слуха, будто прусский король смотрит равнодушно на датские вооружения, он, Арним, писал

об этом своему государю и получил в ответ, что датские вооружения не причиняют ему ни малейшего беспокойства и что он может только одобрять меры предосторожности, принимаемые копенгагенским двором в настоящих обстоятельствах. Принц Фридрих и другие, которым было известно об этом ответе Фридриха II, думали, что Остен непременно объявит о нем в совете, но министр иностранных дел промолчал о таком важном сообщении. Кроме того, пришло донесение датского посланника в Вене об отзыве французского посла там принца Рогана. «Франция и Швеция, – сказал Роган, – покойны насчет расположения копенгагенского двора, потому что в Дании скоро произойдет перемена министерства, выгодная для системы обоих этих государств». Наконец открылось, что Остен держит при дворе шпионом камер-юнкера Триберга, который в то же время находился в подозрительных сношениях с французским посланником маркизом Блоситом. Тогда решили отделаться от Остена, не дожидаясь ответа из Петербурга, и временно поручить иностранные дела тайному советнику Шаку. Когда дано было об этом знать Симолину, тот отвечал, что полагается вполне на благоразумие и проницательность принца Фридриха, тем более что Шак давно уже пользуется расположением русского двора. Потом, извещая о последовавшей уже отставке Остена, Симолин писал, что надобно окончить голштинское дело, ибо этим окончанием Россия завоевывала целое королевство, которого силы и средства будут навсегда в ее распоряжении. Спешить окончанием голштинского дела нужно было уже и потому, что Франция распускала слухи, будто великий князь Павел Петрович никогда не утвердит договора, лишавшего его отцовского владения.

Королева и принц Фридрих выразили Симолину, как им прискорбно, что Шак отказывается от департамента иностранных дел, тогда как это единственный человек, способный занимать это место. Симолин предложил им помедлить королевским назначением другого лица, а тем временем, быть может, Шак привыкнет к своей должности; беда в том, что прошлый год Шак для успокоения Остена объявил ему, что никогда не примет его места; против этого, впрочем, можно найти средство, именно оставить Шака навсегда *ad interim*, не называя министром иностранных дел. Королева и принц обещали не торопиться. Симолину, как видно, очень хотелось, чтоб голштинское дело кончено было при нем, при его содействии; он вторично написал Панину, что только одно голштинское дело может принудить Шака оставить за собою иностранный департамент: если он увидит, что может кончить его и заслужить этим признательность целого народа, то может уступить настояниям двора и друзей своих.

Шак не тронулся никакими увещаниями; и выбран был в министры иностранных дел граф Бернсторф, племянник покойного министра того же имени; рекомендацией служило то, что Бернсторф был воспитан во вражде ко Франции, в добром расположении к России, был другом Шака, который по-прежнему оставался душою королевского совета. При первом свидании с Симолиным новый министр заявил о своей несокрушимой приверженности к системе русского союза, говоря, что он воспитан в принципах этой системы и все его честолюбие состоит в том, чтоб сделать узы, соединяющие Данию с Россию, нерасторжимыми. 31 мая приехал к Симолину Шак с радостною вестью, что договор о промене Голштинии на Ольденбург и Дельменгорст подписан в

Петербурге. Вслед за тем Симолин сообщал Панину известие, что шведский министр в Копенгагене предложил вдовствующей королеве тесный союз между Швециею и Даниею. Королева отвечала, что дело возможное, если Швеция в то же время склонит к этому союзу и петербургский двор, без которого Дания не может принимать подобных предложений. Швед возразил, что это совершенно невозможно, потому что Россия слишком отдаленна. «Однако, – заметила королева, – Россия – соседка Швеции и по своему положению, могуществу и влиянию способна принимать участие во всех делах Европы, особенно Северной». Этим разговор и кончился.

Но поведение Остена, хотя и кончившееся его низвержением, произвело тревогу в Петербурге: оно доказывало, что Франция вовсе не отказывалась от надежды привлечь Данию на свою сторону, ко потерять союз Дании при известных шведских отношениях было тяжело для России, и потому здесь попытались предложить союз Англии с прежним условием субсидий, но чтоб эти субсидии выплачивались теперь не Швеции, а Дании; сделать это предложение считали тем более нужным, что приходили известия о стараниях Франции сблизиться с Англиею.

Из Лондона Мусин-Пушкин писал, что там с некоторого времени в публичных местах начались рассуждения о честолюбивых замыслах России, о робости Англии, о склонности ее заключить тесный союз с Франциею, о здоровой политике, правилам которой следует Пруссия. 20 марта в разговоре с лордом Суффольком Мусин-Пушкин спросил его шутя, когда союзный договор их с Франциею будет подписан. Министр также шутя отвечал, что это дело уже решенное, но потом, приняв серьезный вид, стал обнадеживать Мусина-Пушкина самыми сильными уверениями, что немислимое Дело для Англии забыть свое положение, когда-либо предпочесть французский союз русскому, к которому обязывают ее самые осязательные интересы, но, чтоб составить решительную систему, надобно иметь полные сведения о дальнейших желаниях императрицы как по турецким, так и по шведским делам. Настоящее согласие Англии с Франциею происходит единственно оттого, что нет ни малейшей причины к какому-нибудь неудовольствию между ними; но это положение несколько не уничтожает оснований соперничества и недоверия, которые останутся навсегда неодолимыми препятствиями к союзу. Суффольк прибавил, что все это он говорит не от одного своего имени, а от имени короля и министерства. Но по известиям из Парижа и по собственным наблюдениям Мусин-Пушкин пришел к мысли, что существуют какие-то переговоры между Франциею и Англиею. Он сказал об этом Суффольку, и тот, не подтверждая и не отрицая прямо сомнений русского министра, отвечал: «Не удивительно, если при настоящих критических и нимало не определенных обстоятельствах были бы какие-нибудь с французской стороны предложения английскому двору; но я еще не смею о них вам говорить. Благоразумие требует, чтоб вы подождали выводить свои заключения. Молчание графа Панина пред нашим министром Гуннингом служит мне доказательством, что у вас нет еще намерения начать новую войну; а Швеция сама никогда не посмеет подать к ней ни малейшего повода, особенно когда Франция еще не в состоянии подать ей действительной и беспрепятственной помощи и когда Дания своими вооружениями приготовилась немедленно напасть на Швецию».

Между тем в марте месяце Панин в разговоре с Гуннингом упомянул о союзе, который прежде всего необходим для ограждения Дании от французских покушений: если Англия согласится вступить в обязательства с Даниею, то союз ее с Россиею будет необходимым следствием. Гуннинг прямо отвечал ему, что не может донести своему двору об этом предложении, ибо здесь имя Дании стоит вместо имени Швеции, тогда как английское правительство объявило раз навсегда, что никакому государству платить субсидий не будет. Панин спросил, неужели не должно обращать внимания на великую перемену в положении Европы, происшедшую уже после того, как требовались субсидии для Швеции, и неужели не должно обращать внимания на то, что в Швеции своими субсидиями Англия приобретала для себя только одну партию, тогда как теперь она будет иметь в своем распоряжении весь датский флот. По мнению Панина, всеобщая война была недалека, если не будут приняты меры предотвратить ее, причем прежде всего надобно отделить Данию от Швеции, которая одна будет для Франции только слабою союзницей, и когда будет заключен союз между Россиею и Англиею, то обоим государствам нечего будет более бояться интриг Франции. Гуннинг «из уважения к Панину» донес о его словах своему министерству, которое опять только «из личного уважения к Панину» отвечало – впрочем, вовсе не уважительно, а сухо и резко, – что русское предложение противоречит английскому плану, английским решениям, много раз объявленным, и потому не может быть никогда принято. Принять его – это значило бы уступить главную роль тем, которые при заключении союза между Россиею и Англиею должны были бы по необходимости за ними последовать.

В мае сама императрица решилась говорить с Гуннингом о союзе на том же основании, т.е. чтоб прежде Англия заключила субсидный договор с Даниею. Быть может, подозрение, что Панин, в угоду прусскому королю, враждебному Англии, ведет дело не с должною настойчивостью, заставило Екатерину сделать этот шаг, не совсем согласный с представлениями ее о достоинстве русской государыни. «Посмотрим, нельзя ли нам окончить наши скучные переговоры о союзе», – сказала она Гуннингу. Тот отвечал, что дело трудное. «Как же сделать? – продолжала Екатерина, – Дания нуждается в помощи, ваш интерес не менее моего требует оказать ей эту помощь; никакая система для Севера не может быть составлена без нее, она представляет нам случай оказать наш союз». Гуннинг отвечал, что английское министерство непреклонно в своем решении не допускать никакого обязательства в пользу Дании как условия союза с Россиею, что этот союз рассматривается как основание великой системы и надобно прежде всего положить это основание, а потом уже возводить на нем дальнейшие постройки. «Не вижу, – возразила Екатерина, – почему мы не можем сделать этих двух дел вместе или посредством секретной и отдельной статьи, или в двух разных договорах». Посланник отвечал, что прежде что-то подобное предлагалось относительно шведской субсидии и было отвергнуто в Англии. «В таком случае зачем же договор, – сказала Екатерина, – разве в нем не будет никаких условий? Из чего же он будет состоять?» – «Подобно всем оборонительным договорам он будет определять взаимную помощь», – отвечал Гуннинг. «В чем же я найду эту взаимность? – спросила Екатерина. – Вы вследствие сложности своих интересов, торговых и политических, бесконечно более меня подвержены спорам и разрывам с разными державами; у меня только один враг – турки, а вы отказываетесь

включить их в случае союза». – «По моему мнению, – отвечал Гуннинг, – Россия имеет столько же врагов, как Великобритания, и хотя наши враги сильны, однако по нашему положению при нападении их мы не очень боимся стать в тягость нашим союзникам». На это Екатерина сказала: «Что же хорошего может выйти из договора такого общего свойства, какая польза будет мне от него?» На этот вопрос Гуннинг отвечал вопросом, полагает ли императрица, что союзный договор России с Англией не произведет никакого впечатления на большинство европейских кабинетов, не сохранит мира на Балтийском море, и неужели последнее обстоятельство не важно для владений ее величества. Екатерина кончила разговор словами: «Я нахожу, что дела представляются в Лондоне иначе, чем здесь; ни Россия, ни Англия не может, однако, оставаться долго в подобном положении». Но в Англии решили, что лучше остаться в этом положении, и отвечали, что субсидия Дании не может служить основанием союзного договора с Россией; кроме того, Гуннингу дано было знать, что в договор не может быть внесена гарантия захваченного в Польше (*usurpations in Poland*) и по-прежнему нападение на Россию со стороны Турции не составляет случая союза.

Было ясно, что безопасность на севере зависела исключительно от хода дел на юге, зависела от успехов Румянцева в 1774 году.

Мы видели, что в самом конце 1773 года Екатерина велела написать Румянцеву рескрипт, чтоб он по взятии Варны и разбитии визиря не останавливался перед Балканами, а шел далее для завоевания мира. Мир был необходим, ибо на востоке надобно было тушить пугачевский пожар. Когда в январе 1774 года Штакельберг из Варшавы переслал константинопольское письмо, где говорилось об ожидании смерти султана, то Екатерина написала Панину: «Почитаю последние чрез Штакельберга из Царяграда здесь приложенные известия такой важности, что мое мнение есть, чтоб оные немедленно сообщены были к графу Румянцеву с таким предписанием, чтоб он по всевозможности старался сей пункт времени сделать полезным, что, по моему рассуждению, быть может, если он не видом, но самым делом приступит к завоеванию Силистрии и Варны, а по завоевании, чего боже дай, визирю предложит о трактовании мира, уполномочивая графа Румянцева к трактованию оного, в какой силе желаю я, чтоб вы заготовить велели к фельдмаршалу рескрипт к моему подписанию, не теряя времени, ибо потерянный подобный случай не возвращается».

Штакельбергово известие оказалось справедливым: султан Мустафа умер, а место его занял брат его Абдул-Гамид. К Румянцеву из Петербурга отправлен рескрипт: «Так как по прежним примерам можно думать, что такая важная перемена произведет какое-нибудь волнение в серале и потому некоторое расстройство в общих политических и военных мерах Порты, то благоразумная прозорливость требует от нас поставить себя как можно скорее в готовность воспользоваться наилучшим образом могущею быть оплошностью неприятеля вследствие перемены правления. От избытка желания нашего содействовать всеми мерами истинной пользе империи, т.е. скорейшему доставлению ей драгоценного мира, препоручаем вам устроить по возможности заблаговременно и без всякой, конечно, огласки достаточный корпус войск таким образом, чтоб он по первому вашему приказу мог немедленно перенестись на противоположный берег Дуная и ударить вдруг или порознь на Силистрию и Варну в таком случае, если бы между

неприятельскими войсками начали являться оплошность и расстройство вследствие перемены правительства. Наше соизволение есть, как только оба эти города, если и один из них, захвачены будут нашими войсками, вы, пользуясь ужасом неприятеля, должны предложить визирю от себя возобновление мирных переговоров, но с тем чтоб эти переговоры велись для сокращения времени и отстранения всяких затруднений между вами обоими как главными военными начальниками».

Пришло известие, что новый султан передал все дела в полное заведование великого визиря Муссин-Заде, и в то же время получены были из Вены и Берлина обнадеживания, что Зегелин и Тугут единодушно, оставя всякую между собою личную зависть, будут стараться, чтоб заключение мира было передано визирю, ибо к известному миролюбию последнего должно будет присоединиться желание быть в Константинополе для предупреждения серальских интриг. Екатерина писала Панину: «Постскрипт кн. Кауница, который вам прочел кн. Лобкович, кажется, так сочинен, что он должен у нас отнять всякое сомнение о двоякости венского двора. Мне пришло на мысли воспользоваться вступлением нового султана: с ним не настоят все те опасения в рассуждении гордости, и других его собственных обстоятельств и чувствований, коих мы опасаться имели в умершем, и для того я думаю, чтоб вы снова кн. Кауница просили, чтоб он готовность нашу к поспешению мира предъявил туркам всякий раз, что они к трактованию оною охоту иметь будут, и что для того к фельдмаршалу снова ныне отправлены как рескрипт, так и полномочие».

При таком нетерпении получить как можно скорее мир, разумеется, должны были смягчить его условия до последней степени; и в заседании Совета 10 марта в присутствии императрицы гр. Панин предложил отказаться от Керчи и Еникале в пользу татар, ограничиться одним Кинбурном и свободным плаванием одних торговых судов, которые в случае нужды могут быть превращены в военные. Все члены Совета согласились, кроме гр. Григория Орлова. Екатерина отложила решение вопроса. В следующее заседание (13 марта) положили не вдруг предъявлять туркам эти условия, но спускаться к ним постепенно ввиду упорства турок и «сущей государственной надобности скорейшего возвращения отечеству тишины и мира». В Петербурге много надеялись на обещание венского двора приказать Тугуту объявить Порте, что, видя упорство ее в принятии русских условий, венский двор находит себя принужденным возвратить русскому двору полученное от него слово относительно Молдавии и Валахии, судьба которых будет теперь зависеть единственно от хода войны. «Даруй боже, – писала императрица Румянцеву, – чтобы руки ваши, лаврами увенчанные, равномерно увенчались и ветвями мира. Когда дело при помощи божией дойдет у вас до действительного трактования с верховным визирем, тогда откроется сама по себе дорога, которою, применяясь к его мыслям и желаниям, надобно будет начать негоциацию. Мы мним, однако ж, что короче всего будет пойти с пункта, где Бухарестский конгресс остановился, утвердя наперед все те статьи, кои на оном или действительно уже подписаны, или по крайней мере в существе своем одержаны были объявленным согласием рейс-эфенди. Вся трудность замирения стала только на двух пунктах: на уступке России Керчи и Еникале с их уездами да на свободе всякого кораблеплавания по Черному морю. Познав довольно, что турецкое сопротивление в этих обоих пунктах непреодолимо, ибо Порта считает

их крайне опасными для самого бытия своего, решились уже мы для возвращения отечеству драгоценного покоя снизить на ограничение кораблеплавания по Черному морю и на оставление татарам Керчи и Еникале, если Порты согласится, признав их вольность и независимость, отдать им в полное владение все крепости в Крыму, на Тамане и на Кубани со всею землею от реки Буга по реку Днестр и если уступит нам город Очаков да замок Кинбурнский с окрестностями и степями по Буг-реку. В случае нужды можете требовать только разорения Очакова, а в случае крайней необходимости – оставить туркам Очаков, а себе взять один Кинбург с округом по Буг-реку; плавание по Черному морю выговорить одно торговое».

Визирь, живший в Шумле, прислал за Дунай своего чиновника с письмом к пашам, которые находились в плену у русских. Румянцев с ответными письмами пашей отправил турка назад в Шумлу и с ним своего офицера. Последний возвратился опять с тем же турецким чиновником, который на этот раз привез письма к фельдмаршалу от визиря и рейс-эфенди с приглашением возобновить мирные переговоры. Началась переписка между главнокомандующими об условиях мира, причем немедленно оказалось, что туркам внушено было о затруднительном положении России, которая должна согласиться на все. Визирь уступал один Азов, не хотел слышать об уступке Очакова или Кинбурна; соглашался на плавание русских торговых судов по Черному и Мраморному морям, но конструкция и размеры судов должны быть в точности определены (чтоб они не могли быть обращены в военные). О Крыме говорил в самых неопределенных выражениях, несколько не соответствовавших русским требованиям; татары будут пользоваться свободой согласно предписаниям магометанского закона, но это ровно ничего не значило.

Панин по этому поводу писал Румянцеву длинное письмо: «С Бухарестского конгресса примечаю уже я, что Порты, говоря о вольности татар, во всех своих отзывах нечувствительно уклоняется присовокуплять к слову *вольность* слово *независимость*. Долг общего нашего бдения взыскивает, напротив, не дать ей воспользоваться сею хитрою ухваткою варварской ее политики; почему я в с-ство сим прилежнейше прошу как во всех ваших во время негоциации отзывах неразлучно везде соединять оба слова вольности и независимости, так и при сочинении и подписании самого мирного трактата неопустительно предостеречь, дабы оные вместе оглавлены и татары именно и точно признаны были областию в политическом и гражданском состоянии никому, кроме единого бога, не подвластны». В Петербурге беспокоились насчет медленности переговоров, подозревали, что визирь нарочно хочет протянуть их, чтоб истомить наше терпение и выторговать для Порты лучшие условия или воспользоваться случаем для испытания военного счастья, кроме того, выждать благоприятной перемены обстоятельств. В этом беспокойстве Панин писал Румянцеву, что «отечеству нашему мир весьма нужен и что мы потому одного с алчностью желать и добиваться должны», и потому требовал, чтоб Румянцев изъяснил визирю, как ошибается он и все министры Порты, если верят наветам завистников мира, будто в России государственные средства истощены вконец и она не в состоянии продолжать войну с прежними успехами. Но если бы и в самом деле средства ее истощились, то Румянцев имеет способ, которого у него не может отнять никакая сила и никакая перемена европейских обстоятельств в пользу Порты; этот способ

состоит в том, чтоб превратить войну из наступательной в оборонительную, но прежде все занятые турецкие крепости разорить до основания, города и селения опустошить вконец, а жителей всех с имуществом их отвести в Россию, где еще много пустых и к жизни удобных мест; такое переселение жителей Бессарабии, Молдавии и Валахии будет для России достаточным вознаграждением за все понесенные убытки, а для Порты – самым чувствительным ударом, от которого она не оправится.

Но мы видели, что Румянцев несколько не сочувствовал этим ассирийско-вавилонским средствам; для принуждения турок к миру у него оставалось средство, более приличное для победителя при Ларге и Кагуле: это средство было сильное движение вперед, не останавливаясь и пред Балканами. Еще в апреле месяце корпус генерал-поручика Каменского перешел Дунай и в мае стоял у Карасу, с ним в связи находился корпус Суворова, перешедший Дунай у Гирсова. Каменский и Суворов положили иметь в виду не Варну и Силистрию, а Шумлу, местопребывание визиря. Разбив пятитысячный отряд турок, Каменский 2 июня занял Базарджик, и в то же время сам Румянцев с главною армиею переправился через Дунай у Гуробал и двигался также по направлению к Шумле. Визирь выслал к Базарджику навстречу Каменскому до 40000 войска, но оно было поражено при Козлуджи 9 июня; героем дня был Суворов. После этой победы Каменский хотел было остановиться, но Румянцев, зная, как в Петербурге жаждут мира и ждут его только от наступательного движения в Болгарии, требовал, чтоб Каменский непременно шел к Шумле. 17 июня Каменский был уже в 5 верстах от этой крепости, а бригадир Заборовский перебрался уже за Балканы и там бил турок. Визирь прислал с предложением перемирия; Румянцев велел отвечать, что он об этом и слышать не хочет; визирь предложил возобновить конгресс; Румянцев и на это не согласился; тогда визирь оправил в главный стан армии двоих уполномоченных. Узнав об этом, главнокомандующий перешел с двумя пехотными полками и пятью эскадронами кавалерии в деревню Кучук-Кайнарджи, показывая вид, что идет для соединения с корпусом Каменского под Шумлу, Турецкие уполномоченные приехали в Кучук-Кайнарджи 4 июля и просили, чтоб поскорее приступить к переговорам; но, чем больше они просили, тем сильнее отговаривался Румянцев, представляя, что он на дороге к Шумле и не может останавливаться. Это заставило турок быть стоворчивыми, когда фельдмаршал позволил наконец начать переговоры, назначив для их ведения князя Ник. Вас. Репнина, потому что Обрезков не мог поспеть вследствие разлива вод на левом берегу Дуная. 10 июля мирный договор был заключен и подписан на следующих условиях: 1. Всем татарам быть вольными и ни от кого, кроме бога, не зависимыми в своих делах политических и гражданских, а в духовных сообразоваться им с правилами магометанского закона, без малейшего, однако, предосуждения их вольности и независимости. Все земли и все крепости в Крыму, на Кубани и на острове Тамане отдаются татарам, кроме Керчи и Еникале, которые уступаются России. 2. России уступается также замок Кинбурн с его округом и всю степь между реками Бугом и Днепром; а Порты удерживает Очаков, Молдавию, Валахию и Архипелажские острова на выгодных для жителей условиях. 3. Торговля и мореплавание купеческим кораблям дозволяются на всех водах, равно как плавание из Черного моря в Белое (Мраморное) и обратно, и в этом отношении русские подданные пользуются преимуществами,

предоставленными подданным Франции и Англии. 4. Порты обязалась заплатить России за военные издержки 4500000 рублей. Сам кн. Репнин повез в Петербург известие о веденных им переговорах и результатах их.

В рескрипте Румянцеву, отправленном по получении известия о мире, высказалась вся радость, возбужденная этим событием. Радость была тем сильнее, что потеряли надежду получить такой выгодный мир. «Возвещая мир, рук ваших творение, возвестили вы нам в то же время чрез оный и знаменитейшую услугу вашу пред нами и отечеством, – писала Екатерина Румянцеву. – Мы объявляем ее во всем пространстве тех трудов и подвигов, коими вы чрез все время войны ополчаться долженствовали к преломлению сил и высокомерия неприятеля, обывшего донныне в счастливых своих войнах предписывать другим законы жестокие. Мера благоволения нашего к вам и к службе вашей стала теперь преисполнена, и мы, конечно, не упустим никогда из внимания нашего, что вам одолжена Россия за мир славный и выгодный, какового по известному упорству Порты Оттоманской, конечно, никто не ожидал, да и ожидать не мог с рассудительною вероятностию. Самая зависть не может оспорить сей истины, ибо, с одной стороны, турки, лишившись Крыма и всех татарских орд, лишились на будущее время значительного числа войск, тем более полезных, что содержание их Порте ничего не стоило, а уступка нам трех пристаней на Черном море даст нам способ вредить Порте в самых для нее чувствительных местах, если б она опять покусилась на войну с нами вследствие посторонних происков».

Написан был уже рескрипт и к начальнику Второй армии с приказанием очищать постепенно Крым, оставив гарнизоны в Керчи и Еникале, как вдруг приходит от Долгорукого известие, что в Крым высадился с войском сераскир-паша Алибей и хан Сагиб-Гирей не только не оказал ему никакого сопротивления, но и выдал ему русского резидента Веселицкого. Тогда написан был другой рескрипт: «Не будучи мы еще от вас в подробности уведомлены и не зная потому, каким образом хан крымский мог соединиться с турецкими начальниками и осмелиться отдать им нашего резидента в бытность вашу со всею предводительствуемою армиею посреди Крыма, следовательно, в близости от хана и при настоянии всех способов к содержанию с ним нужной связи и обсылки с резидентом, мы находимся в необходимости настоящее наше предписание составить главнейше из общих примечаний». Эти примечания состояли в том, что об очищении Крыма русскими войсками теперь нечего и думать, можно начать вывоз войск только тогда, когда турки совсем оставят полуостров или по мере их выхода. В рескрипте говорилось также: «Мы давно уже от вас и чрез другие достоверные известия были предупреждены о дурных качествах и о малоспособности к правлению настоящего хана, по при том положении дел, в каком мы в рассуждении Крыма и прочих татарских народов находимся, нет пристойных способов к его низложению, как получившего достоинства по праву происхождения и по добровольному избранию всего общества, особенно в то время, когда оно решилось отложить от власти турецкой; поэтому мы находим нужным его и защищать, если б с турецкой стороны принято было намерение низвергнуть его. Впрочем, как с турками, так и с татарами, дабы не подано было с нашей стороны ни малейших поводов ко вражде, надобно поступать с такою разборчивостью, чтоб всегда удаляться от первых задоров». Но от Долгорукого получено было известие, что он войска свои из Крыма выводит, и вместе с тем

просьба об увольнении его по слабости здоровья в Москву и позволении сдать команду старшему генерал-поручику. Все это было ему дозволено.

Между тем стали приходиться и от Румянцева дурные вести. Для окончательного улажения дела он отправил в Константинополь полковника Петерсона, который дал ему знать, что дело не улаживается, диван требует перемены некоторых условий мирного договора; о том же писал Румянцеву и прусский посланник при Порте Зегелин. Но как взглянул фельдмаршал на известия последнего, видно из любопытного письма его к Петерсону (от 24 октября): «Зегелин расхваливает рейс-эфенди, выставляет его усердным защитником мира; но мы достоверно знаем, что он мира не хочет. Зегелин хочет нас настраивать готовностью турок к войне, но в предыдущем письме сам он описывал страшное истощение Порты, которая не может поднять головы; и потому будьте с ним осторожны и выведывайте, не от него ли или от каких других происков идет помеха делу. Легко станется, что и прусский министр, будучи лишен всякого участия при заключении мира, старается теперь сделаться нужным. Если рейс-эфенди или кто другой станут время проволакивать или откажутся принять мирный договор слово в слово, то дайте им почувствовать, что их поступок остановит очищение Молдавии и остающихся в наших руках крепостей, где у нас вся армия без малейшей убавки. Рейс-эфенди спрашивал вас, на каком основании австрийцы заняли своим войском значительную часть Молдавии. Я вам передаю следующее, что вы должны содержать в величайшей тайне: необходимо внушить Порте об истинных взглядах двора нашего на это дело. Откройте надежнейший путь к удостоверению Порты, что австрийское занятие ее земель есть для нас дело совсем постороннее, в котором мы не имеем и никогда не примем ни малейшего участия. Передайте это внушение словесно, а не письменно самому великому визирю или доверенной от него особе. Повторяю, что это должно сделаться в величайшей тайне, ибо положение нашего двора в этом случае очень деликатно: он не должен себя компрометировать ни пред венским двором, ни пред Портою. Даю вам право обещать 100000, 200000, наконец, 300000 рублей тому, кто возьмется уничтожить все происки недоброжелательных людей и довести дело до того, чтоб ратификация была отправлена в Петербург без всяких изменений договора».

Все эти сношения вел Румянцев в Фокшанах, лежа в постели, к которой приковала его мучительная болезнь. Еще в августе, узнав о тяжелой болезни Румянцева, императрица решила отправить к нему назад Репнина для помощи в окончании мирного дела; если фельдмаршал оправится, то Репнин должен был ехать послом в Константинополь, в противном случае принять начальство над армиею. 14 сентября приехал Репнин в Фокшаны и на другой день написал в Петербург к Потемкину: «Я нашел фельдмаршала в крайней еще слабости и в несостоянии встать с постели, хотя уже из всей опасности и вышел. Жалко на него глядеть и на всех здесь находящихся; из всего города сделалась больница. Игельстром был очень болен, но уже ходит. Завадовский лежит, Аш, Велда, кн. Андрей Николаич тоже – одним словом сказать, все почти больны лихорадками и горячками. Из всех людей фельдмаршальских один его егерь только здоров, а прочие все или лежат, или насилу таскаются. Фельдмаршал поручил мне вам изъяснить, сколь он наичувствительнее признателен за участие, кое вы приняли в его болезни, и за все знаки вашей к нему дружбы. Сам писать не в силах, а коль

скоро сможет, то будет. Считая, что фельдмаршал недели через три или четыре придет в желаемые силы, тогда не вижу я, чтоб нужно мне было здесь при нем оставаться. Вы знаете, мой друг, что ему помощники не надобны. Сделай мне милость, спроси не только наставления, но милостивого по сему совету у государыни. Я боюсь, чтоб турки, сведав, что наш посол прискакал по почте, не подумали, что крайняя нужда нам спешить, и оттого бы не возгордились, а утаить сего нельзя, понеже оно публично в Петербурге, а оттоль сюда множество людей пишут. Представьте ее в-ству все сие, и если я буду столь счастлив, чтоб мысли мои встретились с мыслями ее в-ства, то испросите мне высочайшее позволение отсель к вам приехать, когда фельдмаршал придет в желаемые силы. Пожалуй, мой Друг, не замедли мне на сие ответом, а посольствы, конечно, прежде будущей весны быть не могут». Совет решил, что можно позволить Репнину приехать в Петербург.

Румянцев еще не успел оправиться от болезни, как на него возложена была новая обязанность – заведование Вторую армию, оставшеюся без начальника за отъездом Долгорукого, и улаживание дел татарских. По этому поводу Румянцев писал императрице: «Что касается свойств и расположения татарских народов, то едва ли и надеяться можно в скором времени видеть их спокойными и пользующимися, как следует, вольностью и независимостью. Я свое мнение основываю на том, что имевшие с ними дело Щербинин, Веселицкий и кн. Долгорукий одинаково и постоянно писали, что татары исполнены крайнего отвращения ко всем благодеяниям в. в-ства и никогда не переставали желать раболепствовать по-прежнему Порте, а теперь этого и формально ищут, о чем визирь в своем письме ко мне упоминает да и кн. Долгорукий писал, что они за этим депутатов своих отправили к Порте». Действительно, турецкие войска вышли из Крыма, флот отправился от его берегов назад в Константинополь, резидент Веселицкий был освобожден; но татары не хотели принять данной им вольности. Больному фельдмаршалу было тяжело заведовать двумя армиями, особенно при таких обстоятельствах. «Пощады я не делаю ни здоровью, ни самой жизни моей, – писал он Екатерине, – против совету докторов, кои беспокойство, сопряженное с управлением дел, главным препятствием моему выздоровлению полагают, я жертвую вседневными силами исполнению моей должности, но, во всем ослабевши от долгой болезни, едва могу распорядиться и сею частью и боюсь, чтоб в таком состоянии и тут чего-либо не проронить». Румянцев просил, чтоб для Второй армии назначили или опять кн. Долгорукова, или кого-либо другого, хорошо знающего дела того края, где расположена эта армия. Между тем великий визирь прямо обратился к Румянцеву с письмом, где выражал желание изменить мирные условия, именно касающиеся татар и дунайских княжеств, для которых в Кучук-Кайнарджи выговорены были льготы. На это Румянцев отвечал: «Скрыть не хочу моего крайнего удивления, каким объят я был, увидав содержание вашего письма. Дело столь торжественное, как мир, заключенный между Всероссийскою империею и Портою Оттоманскою уполномоченными от их государей, в своем исполнении не терпит ни отлагательств, ни остановки, и я должен вам сказать, не обинуясь, что ни один пункт в трактате не может быть нарушен без того, чтоб не нарушены были и все статьи его, и самое главное основание – искренность и добросовестность. Перемена священных договоров вслед за их постановлением была бы предосудительна достоинству и славе

высочайших дворов. Хотя сказанное увольняет меня от дальнейших объяснений, однако хочу из дружбы к вам заметить следующее: татарские народы как вольные и независимые не принуждаются ни к чему противному магометанскому закону. Жалобы и просьбы их, хотя бы и действительно шли от них самих, не дают права ни той, ни другой державе входить в их разбор. Татары стали теперь народом вольным и ни от кого не зависимым, и об этом положении их Россия и Порты имеют между собою обязательства, которые должно исполнить независимо от татарских желаний. Вы сами говорите в письме своем что несколько лет велась война по несогласию на те условия, которые постановлены в Кайнардже; можно ли же опять требовать в них какой-нибудь перемены и этим трогать пепел прежнего несогласия?» В донесении от 5 ноября Петерсон поздравил Румянцева, что твердость его ответа произвела желанное действие: решено утвердить договор безо всякой перемены.

Но когда ошибка допущена в начале дела, то она непременно обнаружится в конце его. Ошибка, допущенная в начале крымского дела провозглашением независимости татар, была еще усилена уступкою туркам религиозного влияния над ними. Тотчас по заключении Кучук-Кайнарджийского мира Панин писал Веселицкому относительно его условий о татарах: «Хотя татары со стороны Порты в рассуждении политического и гражданского их состояния и признаны совершенно свободными и ни от кого не зависимыми, но с тем, однако ж, чтоб они в духовных обрядах как единоверные с турками в рассуждении султана яко верховного калифа сообразовались правилам, законом их предписанным, но без малейшего предосуждения утверждаемой для них политической и гражданской вольности. По бывшим о сей духовной должности татар к турецкому государю на Фокшанском и Бухарестском конгрессах рассмотрением имела она состоять в том, чтоб каждый новый хан крымский, добровольным избранием возводимый на сию степень, возвещал о том оттоманскому престолу грамотою своею чрез нарочную депутацию и требовал от оногo утверждения или же благословения на свое достоинство; чтоб судьи крымские, поелику суд и расправа магометанская в тесном соединении с их же законом состоят, снабдеваемы были полною мочью от кадилескера константинопольского, а по крайней мере чтоб при первом случае, но единожды на все уже последствие времени не требовано было татарским правительством судей их настоящих и будущих благословляющая бумага и чтоб в Крыме и во всех татарского владения местах каждую пятницу в мечетях возносимо было в молитвах имя султанское. Без сомнения. Порты и не оставит стараться тотчас о приведении сих трех пунктов в полное действие; но против того настоит опасность, чтоб татары по невежеству своему, суеверству и неограниченной к туркам преданности не подвиглись, буде оставить без предостережения, поступить далее, нежели совместно быть может с настоящим их независимым состоянием. Пускай посему начинают татары возглашать имя султанское в своих мечетях; но, как скоро разведаете вы о намерении ханском и приготовлениях к сношению с Портою для возвещения ей о своем начальстве и испрошения на то ее подтверждения, также и полной мочи для судей татарских, можете тогда потребовать о сообщении вам отправляемых к Порте писем яко первых по свободе приобретенной, которые, буде найдете в чем-либо несвойственными с настоящим татар положением, стараться имеете исправить вашими хану и правительству крымскому изъяснениями, чтоб хан явился пред

султаном не рабом, а господином, действующим только по духовным убеждениям».

Таким образом, татары были поставлены между двух огней: между султаном, которого они должны были считать своим духовным владыкою и молиться за него, и Россией, которая при первом случае вражды с султаном потребует, чтобы татары также объявили себя против него. Понятно, что татары, особенно их духовенство, будут стараться всеми силами выйти из такого тяжелого положения именно возвращением к старине; а другие, как Шагин-Гирей, которые хотели совершенно нового порядка вещей, полной независимости от Порты, были крайне недовольны условием духовной зависимости от султана, вовсе не признавая за нею религиозного основания.

Шагин-Гирей выступил в это время опять на поприще по поводу ногайских волнений. В самом начале года кн. Долгорукий уведомил о развороте ногайцев, прельщенных подарками, которые раздавал им хан, присланный Портою в Суджук-Кале. Едичкульская орда возмутилась и захватила русского пристава с командою. Сначала в Совете решено было против турецких денег действовать деньгами же и разрешено Щербинину употребить на это 35000 рублей. Но одними деньгами нельзя было помочь; гораздо успешнее действовал подполковник Бухвостов, который несколько раз поразил мятежных ногаев и прогнал из Едисанской орды присланного турками калгу; для окончательного же успокоения ногаев решено было послать к ним Шагин-Гирея. Панин писал ему письмо (26 февраля): «Полученное известие при высочайшем дворе ее и. в. о восприятом вашим сиятельством намерении переехать в ногайские народы для начальствования над оными произвело великое удовольствие. Без сомнения, потщитесь вы при бытности вашей в ордах ногайских и толь вяще по подающимся лучшим там Для вас способам отечеству вашему и всем народам татарским учиниться благодетелем и наставником; природа ваша и добродетели отличные достойны того, чтоб народы татарские, избавленные великодушным ее и. в. подвигом по единому человеколюбию, из поносного рабства и неволи и в независимом состоянии здешним попечением и стражею сохраняемые, но, к удивлению и крайнему сожалению, по малой своей разборчивости почти не чувствующие выгоды и превосходства настоящего своего жребия пред прежним презрительным, тяжким и бедственным, во всем том были вразумлены и приведены в прочный для них порядок чрез ваше сиятельство и чтоб таким образом слава вашего имени и в будущее их потомство распространилась для примера и подражания. Для достижения сего вашего намерения вы не только деньгами, но и войсками воспособствованы будете, а сверх того, и те 12000 рублей, кои вам назначены ежегодно для вашего в здешних границах пребывания, також производимы вам будут, пока благонамеренными останетесь, и ежели б по случаю какой для вас опасности вы долее между ногайцами быть не могли, тогда можете по-прежнему воспрять убежище в здешнюю империю и ожидать всякого пристойного уважения». В то же время кн. Долгорукий получил рескрипт: «Доставление живущему под нашим покровительством в Полтаве Шагин-Гирею, калге-салтану крымскому, главного над ордами ногайскими правления, будучи, по-видимому, средством из лучших и надежнейших к удержанию сих легкомысленных людей и во время продолжающейся войны в положении, свойственном с пользою нашей империи, тем паче нашего старания достойно, что

сверх исполнения вида, толико важного и нужного, найдет и калга-салтан в том же самом по состоянию и обстоятельствам своим самое сходственнейшее воздаяние своей к нам преданности. Пусть он как наискорее отправлен будет к ногайцам, чтоб получил и пособие войсками и деньгами для устрашения одним способом злонамеренных и приобретения другим себе доброжелательствующих и чтоб находился при нем и особливый пристав, наблюдающий его поведение. Денег калге в пособие назначается до 30000 рублей. И как мы желаем, чтоб искательство им власти над ордами ногайскими ни малейшего вида принуждения не имело, но совершилось с соблюдением всей наружной свободы, добровольным избранием, для того потщитесь дать калге-салтану уразуметь, колико для него нужно и полезно будет удалиться от всяких мер строгих нашим оружием, а вместо того стараться общую снискать доверенность снисходительством и пристойными изъяснениями. Полковник Бринк может должность пристава исполнять».

Шагин-Гирей отправился на Кубань; заключен был Кучук-Кайнарджийский мир, но крымцы заявляли упорное желание оставаться под турецким владычеством. Калга хотел воспользоваться этим для достижения своих целей и открыл Щербинину, что есть возможность склонить ногаев к протесту против поведения крымцев и к возведению на ханство его, Шагин-Гирея, если ему дано будет 100000 рублей и несколько войска для охраны. Когда 27 октября в Совете было прочтено донесение Щербинина, то Совет «признал предложение калги весьма полезным к утверждению сооруженной нами татарской области и рассуждал, что можно исполнить оное как дело, единственно между татар произойти могущее, без остуды с Портою; что посредством денег все на Кубани татары и сам Джан-Мамбет-бей в то употреблены быть могут; что, без сомнения, одержат они поверхность над крымцами и Порта, не видя явного нашего участия, а притом и опасаясь нарушить мир, не осмелится подкрепить их; что калга, будучи нам обязан возведением своим на ханство, останется совсем преданным к нашей стороне и что, таким образом, нечувствительно отвыкнут татары от турков и могут сделаться наконец совершенно от них независимыми».

Но Шагин-Гирею на этот раз не удалось достигнуть своей цели. Румянцев, получив благоприятные известия от Петерсона из Константинополя, не хотел мешать утверждению мира новыми движениями с Кубани и дал знать Щербинину, чтоб остановился приведением в исполнение Шагин-Гиреева плана. В Петербурге были совершенно согласны с мнением фельдмаршала, и 15 декабря Совет одобрил рескрипт Щербинину о неисполнении теперь плана калги-султана и о содержании, однако, татар к тому в готовности, не допуская их переселяться в старые их жилища.

Несмотря на то что дела татарские не предвещали продолжительности Кучук-Кайнарджийскому миру, заключение его с такими выгодами при важных затруднениях внутри России должно было произвести сильное впечатление на соседние дворы, которые по отношению к польскому вопросу чувствовали себя до сих пор гораздо развязнее.

23 января Штакельберг писал Панину из Варшавы: «Начиная с короля до последнего депутата, никто не смеет высказаться в пользу греков-неуниатов и диссидентов, если бы даже в глубине своего сердца кто-нибудь и был убежден в правоте их дела; фанатизм, вместо того чтоб уменьшаться, усилился! Страх теперь не действует, как прежде, по причине системы ханжества венского двора. Я

пригласил к себе моих обоих товарищей и предложил им порассудить о диссидентском деле, которое скоро пойдет. Я не буду говорить о Бенуа. Его мнения, совершенно согласные с правотою дела, остаются те же, как и прежде, а его будущие действия будут согласны с интересами его государя в этом деле. Он вместе со мною убеждал барона Ревницкого, но понапрасну: Ревницкий твердил свое, что особенно при настоящем положении дела, при чрезвычайном уменьшении жителей этого исповедания вследствие раздела, неприлично давать им место на сейме наравне с католиками; и вообще его двор сделал внушения в Петербурге и особенно в Берлине, где признали справедливость того, что Австрия, как государство католическое, не может заступаться за диссидентов. Легко представить себе впечатление, производимое на поляков поведением венского двора. Приехав в Польшу, я нашел народ исполненным предубеждений против России и ослепленным своею неблагодарностью. Раздел усилил эти чувства». 3 марта Штакельберг писал: «Бенуа мне обещал действовать заодно в борьбе с предрассудками, увеличению которых так содействовали папский нунций и барон Ревницкий. Первый толкует об анафеме, а другой обещает именем своего двора деньги и помощь, хотя мне говорит, что он нейтрален». Но союзники останавливали дело не по одному диссидентскому вопросу. Мы видим, что Австрия захватила польские земли по реку Сбруч; теперь пришло известие, что пруссаки изменили пограничную линию, обозначенную в договоре, забирают польские земли. Делегация завопила; послы начали ей грозить, но получили в ответ: «Сознание своей слабости заставило нас купить уступкою лучшей части Польши надежду владеть остальным спокойно; но при виде, что и это остальное не безопасно от ежедневных захватов, нам нечего больше бояться, и мы скорее согласимся быть поделенными окончательно, чем умирать на малом огне». Штакельберг жаловался, что это происшествие уничтожает надежду кончить все дела к 6 мая, времени открытия сейма. Дело кончилось тем, что делегация решила единогласно отправить знатных людей в Петербург и Вену с просьбою о посредничестве, причем в Петербург решено отправить великого гетмана Браницкого; решено было также отправить доверенного человека и в Берлин, просить Фридриха II остановить разграничение. А между тем диссидентское дело висело грозною тучей над головами. Штакельберг писал Панину 24 марта: «Мое положение будет трудное между католическим фанатизмом, с одной стороны, и упорством, иногда мелочным, диссидентов – с другой. Эти господа, справедливо раздраженные обидами, требуют полного равенства, не вникая в положение вещей, не принимая в расчет необходимость ограничиться существенным, ибо число их ничтожно в сравнении с числом католиков. Каждый день я уверяю их, что по крайней мере в известном числе они непременно будут допущены к участию в сеймах, но это их не успокаивает; они хотят полных прав, включая и право быть членами Постоянного совета. Все это они получают со временем, но теперь нельзя провести вследствие сопротивления венского двора и затруднений нового правительства. Нужно было бы гренадеров, чтоб нести проект Постоянного совета в делегацию, если бы мы объявили, что в него войдут диссиденты. Будущее для них будет менее страшно, если при новой правительственной форме король и разумнейшая часть народонаселения успеют ослабить влияние епископов и римского двора вообще».

Барон Ревницкий внушил членам депутации, чтоб держались крепко относительно диссидентского дела, а он отвечает за следствия. Штакельберг опасался, что переговоры порвутся на пункте допущения диссидентов на сейм, и писал Панину, что для успеха дела нужно объявление императрицы, что она обещает свое посредничество у короля прусского по делу разграничения только в том случае, когда диссидентское дело решено будет по инструкции, данной ею своему министру в Варшаве. Если король прусский под этим же условием выполнит соглашение относительно границ, то диссидентское дело, эта основа спокойствия Польши, будет покончено навсегда.

Сейм собрался и снова отсрочил свои заседания до 1 августа, чтоб дать время делегации порешить все вопросы. Всего больше могло взять времени пограничное дело: Фридрих II захватывал на том основании, что Австрия захватила лишнее. Австрия не думала возвращать этого лишка; мало того, Ревницкий уверял Штакельберга, что если прусский король оставит за собою свои захваты, то и венский двор не ограничится своими прежними захватами. Штакельберг не предвидел этому конца. В то же время беспокоил его гетман Браницкий, который присылал из Петербурга вести, волновавшие всю Польшу. Штакельберг просил Панина унять Браницкого. «Это человек, – писал он, – способный служить, но надобно полагать границы его воображению, иначе он ниспровергнет все. Вы должны заметить, что он хочет быть самовластным кормчим корабля. Он, быть может, у вас несколько раз упоминал о короле, но это только из приличия. Он держит Станислава-Августа в подчинении посредством чувства, которое, переставая быть дружбою, приближается к страху. В своем стремлении стать единственным главою партии он подражает всем тем, которые прежде его были нашими орудиями. Как только они укреплялись нашим покровительством, становились сильны и богаты через него, то благодарность изглаживалась из их сердец и уступала место ненависти, когда русские послы, заметив, что играют второстепенную роль, старались снова поднять Россию на то место, которое принадлежит ей в польских делах. Ваше сиятельство знаете, как вследствие польской анархии и власти вельмож русским послам было трудно удерживать нынешнего короля и вельмож, чтоб они не употребляли во зло покровительство императрицы, когда первый имел постоянно в виду самодержавие, а последние – притеснение своих сограждан. Обстоятельства переменились, но виды остались прежние. Если этому не помешать, то король будет делать то же, что делал всегда, Польша погибнет, а Браницкий последует примеру Чарторыйских, с той разницею, что он, может быть, честнее, но зато горячее. Россия, король, если только захочет, и все честные люди найдут в Национальном совете средства против зла, если только равновесие, раз установленное, будет сохраняться. Вы так часто давали мне чувствовать важность Польши для России особенно когда после мира образуется твердая система относительно целой Европы и нам нужно будет обеспечить себе этот оплот империи, столь полезный и в войне, и в мире, которым стало гораздо труднее управлять с тех пор, как две другие державы так приблизились к нему. Вы мне позвольте окончить мою депешу необходимыми размышлениями. Пружина страха, столь могущественная относительно поляков, почти совершенно ослабела с нашей стороны, потому что почти все значительные вельможи королевства находятся смешанными подданными трех держав. Отсюда, когда им внушают, что их поведение может не понравиться России, они

выставляют покровительство других дворов, и преимущественно венского. Если пружина страха ослабела, то благоразумие требует обеспечить себе пружины надежды и благодеяний. В этом отношении надобно заставить Браницкого, чтоб он со своей стороны принудил короля оставить упорную систему преследования всех людей, преданных России. Вы обратили этих бедняков ко мне, с тем, чтоб они получили вознаграждение здесь, ибо большие военные издержки препятствуют императрице сделать это самой; но когда я ходатайствую о них пред королем, то не только получаю отказ, но его величество косвенно вредит им в делегации, объявляя публично, что такова участь людей, которые обращаются к чужой державе. Легко понять, какое впечатление это производит ежедневно и как чрез это король утверждает свою систему уничтожения нашего значения в Польше, тогда как при королях саксонских Россия совершенно располагала Польшей вследствие уважения этих государей к нашим рекомендациям. Если вы для восстановления нашего прежнего значения не воспользуетесь пребыванием Браницкого в Петербурге, то король успеет сделать Россию в Польше столь же незначительною, как самые отдаленные дворы. Есть еще предмет, относительно которого нужно поставить Браницкого, – это именно на счет переговоров, которые ведет польский король при всех дворах Европы насчет собственных своих интересов, насчет самодержавия, потому что король шведский окончательно вскружил ему голову».

Но в то время как Штакельберг требовал от Панина, чтоб тот наставлял Браницкого действовать согласно с видами России, оказывалось, что Браницкий по соглашению с королем поехал в Петербург для ниспровержения постановлений о Постоянном совете, вследствие чего королевская партия в делегации возобновила дело о Совете и выставила против него сильное сопротивление. Приверженцы короля имели дерзость сказать, что между ним и министрами трех дворов не было никакого соглашения насчет Совета. Это сильно раздражило Штакельберга, Бенуа и Ревницкого. «Только в Польше могут делаться подобные вещи!» – писал Штакельберг Панину. Послы указали на письменное соглашение с королем. Король велел своим приверженцам объявить, что он ничего не подписывал. Тогда Штакельберг показал записку короля, написанную к нему на другой день после соглашения и где Станислав-Август объявлял, что, соглашаясь на учреждение Совета, приносит этим жертву уважению своему к императрице. Чтоб помешать делу в делегации, приверженцы короля стали говорить, что так как в Совете должны принять участие три государственных чина, то надобно обозначить исключение диссидентов, и вся делегация начала этого требовать. Штакельберг отвечал, что не должно мешать предметам, что о диссидентах будет речь впереди. Заседание отложили до следующего дня, а между тем король, будучи не в состоянии отречься от своего соглашения с послами, объявил, что его к этому принудили угрозами. В следующее заседание Постоянный совет прошел в делегации, причем возобновились крики, чтоб диссиденты были из него исключены. Штакельберг опять настаивал, что не должно смешивать предметов; и Ревницкий взял его сторону, но в то же время в своей речи дал почувствовать, что Россия зашла слишком далеко в договоре 1768 года и что по приказаниям своего двора он примет самое живое участие в поддержании существенных прав господствующей в Польше религии, даже прибавил, что будет стараться о недопущении диссидентов в Постоянный совет. Делу о Постоянном совете

помогла книга отца Канарского, содержащая проект Постоянного совета, сходный с русским, только еще менее благоприятный для короля; мало того, автор привез письма князя Чарторыйского, канцлера литовского и стольника литовского, нынешнего короля, в которых проект был признан спасительным. Дело о Постоянном совете кончилось, но дела о границах и диссидентах перешли на 1775 год.

Первое дело вело к усиленным сношениям между Берлином, Веною и Петербургом. Старый друг России прусский король принимал самое живое участие в затруднительном положении ее в первой половине года: он очень огорчился казацким бунтом, но в этой печали утешением служила ему возможность настаивать, чтоб Россия поспешила заключить мир с Портою, уступив и относительно Крыма, и относительно плавания по Черному морю; другим утешением служила возможность приобрести от Польши лишние землицы. 4 января король писал Сольмсу: «Так как я друг России, то вы не можете сомневаться, что я очень опечален известиями о казацком бунте. Это искра, которую нужно погасить прежде, чем она произведет пожар. Это заставляет меня сильнее, чем когда-либо, желать для России заключения мира с турками. Скажите графу Панину, что если турки готовы сделать желанные предложения, то нехстати заниматься мелочами; я думаю, что для России в эту минуту мир важнее всех завоеваний, какие она может сделать. Фон-Свитен возвратился из Вены с жалобами на русских, которые делают австрийцам препятствия относительно границ Галиции; венский двор, по его словам, твердо решился не отступаться от своих владений. Если же, – продолжал Фридрих, – австрийцам в Петербурге уступят, а мне будут делать затруднения, то, значит, русский двор лучше поступит с завистниками, чем с самыми верными союзниками. Мне кажется, было бы всего лучше, если бы петербургский двор подарил нам обоим эти землицы, которые нам обоим очень пригодны, а в сущности пустяки. А вот, наконец, новости из Франции: Дюран пишет о своих успехах; при русском дворе, говорит он, интерес государственный идет позади личных страстей. Ему хотелось уколоть четолобие упреком, что Россия получает указы от короля прусского. Внутри России, по его словам, бунт, затруднения в сборе рекрут и дурные распоряжения относительно войны. Все это должно вести к затруднениям, которые заставят Россию обратиться к Франции». В следующем месяце Фридрих писал: «Я одобряю мудрые меры графа Панина, чтоб не возбуждать вражды Австрии, особенно в настоящих обстоятельствах. Но я не обещаю России больших выгод от ее любезностей: никогда они не доставят ей существенной дружбы венского двора. Я имею право предполагать в нем ту же зависть, какую питают Англия и Франция относительно русской торговли в Турции. Из этой зависти Франции так хочется поссорить три двора и овладеть посредничеством при заключении мира между Россиюю и Турциею. Как бы то ни было, если Россия действительно желает поскорее заключить мир с Портою, то она имеет к тому средство без всякого посредничества. Стоит только ей смягчить условия относительно торговли и татар». В марте советы короля заключать скорее мир со смягчением условий становятся еще сильнее. Фридрих пишет, что от этого смягчения условий военная слава России не потерпит никакого ущерба, тогда как военное счастье непостоянно. Переход через Дунай – дело всегда чрезвычайно трудное. Надобно поскорее заключить мир, пока еще не испытали превратности военного счастья.

Выгоды от независимости или подчинения татар не могут уравновесить риска, какому подвергается Россия при перемене счастья на Дунае или в Крыму. Король стонет при одной мысли об этом. Неудачи в Турции поведут к новым замешательствам в Польше, более опасным, чем прежде; и нельзя поручиться, что шведский король не воспользуется случаем для отнятия той части Финляндии, которая теперь за Россию. Если Порты не предложит условий слишком невыносимых, то России лучше всего помириться. О превратностях военного счастья Фридрих говорил по собственному примеру.

В апреле Фридрих был сильно озабочен намерением Австрии обратиться прямо к польскому двору и от него получить согласие на увеличение своей доли, тогда как все это дело должно быть улажено между тремя дворами, которые одни должны заботиться о взаимном равновесии, а Польша тут ни при чем. Фридрих приказывал Сольмсу объявить Панину, что если Австрия добьется расширения своей доли, то он будет добиваться увеличения своей и надеется в этом случае получить помощь от двора, одинаково с ним заинтересованного в поддержании равновесия между Австрией и Пруссией. В Петербурге хорошо знали, что поддержание этого равновесия может завести очень далеко, и потому с первого же года очень дурно приняли предложение Австрии перенести ее границу с Серета (или Подгурже, как он был назван в договоре) на Сбруч. Панин в разговоре с Лобковичем прямо высказался, что если австрийцы не откажутся от своих претензий, то не будет никакого основания требовать от прусского короля, чтоб и он не делал дальнейших захватов, и когда Лобкович вздумал было объяснить, что Австрия в данном случае имеет более права, чем Пруссия, то Панин заметил, что, наоборот, прусскую претензию на все течение реки Нетце можно еще как-нибудь вывезти из выражений договора, тогда как ссылка Австрии на недостаточность сведений, по которой явилась на карте какая-то неизвестная река, не имеет значения и не дает права распространять границы до таких местностей, о которых при заключении договора никто и не думал. Панин закончил разговор словами, что пусть прежде Австрия сговорится с Пруссией и потом уже обратятся к России.

Австрия начала сговариваться с Пруссией. Фридрих II был недоволен Петербургом и говорил фон-Свитену: «Это чистое крючкотворство с русской стороны, я нахожу ваши объявления основательными; я не принимаю никакого участия в затруднениях, какие вам делают, я вовсе не завидую вашей доле. Мне также делают крючкотворства, как и вам, из-за пустяков». Когда фон-Свитен заметил ему, что, смотря по тому, как в Петербурге смотрят на дело, Австрия и Пруссия должны согласиться не в том, чтоб увеличить свои владения, но только в том, как бы выгоднее определить границы, следовательно, кое-что и урезать из занятого, то Фридрих отвечал: «Надобно удержать за собою все, чем мы теперь владеем; надобно поддержать свое право». Тут же Фридрих высказал, почему он так решительно выражается, не обращая внимания на неудовольствие России: это государство находится в таком затруднительном положении, что не в состоянии помешать их делу; пугачевский бунт у Румянцева взял 15000 войска; народ страшно наскучил войною, рекрутские наборы затруднены.

Но Австрия была озабочена не одним сопротивлением России. Из Варшавы Ревницкий писал о новых захватах Фридриха II, говорили уже, что с Нетцы он перенес свою границу на Варту; следовательно, если положить основанием

равновесие в долях, т.е. соперничество с прусским королем в захватах, то чем кончится дело? Австрия вовсе не хотела окончательного разрушения Польши, напротив, хотела приобрести в ней наибольшее влияние, значение покровительствующей державы, и поэтому она объявила прусскому королю, что надобно вести дело о границах вместе с поляками в делегации. Легко представить раздражение Фридриха; в депеше к Сольмсу он величал за это Кауница страшным человеком, самым гордым и в то же время величайшим мошенником между смертными.

Этот разрыв между Пруссией и Австрией заставил обе державы отдельно хлопотать в Петербурге о своем деле. Но Екатерина не хотела изменить своего прежнего взгляда, требовала, чтоб границы были установлены согласно договору, именно так, как поступила Россия относительно Белоруссии. Так как Фридрих объявил, что он не уступит ни пяди из занятых им земель, если Австрия не откажется от своих претензий, то Панин снова принялся убеждать Лобковича к уступке, опять выставляя на вид, что если б не Австрия, то прусский король и не подумал бы занимать что-нибудь лишнее. Когда все увещания остались бесполезными. Екатерина решилась обратиться непосредственно к Фридриху, Иосифу и Марии-Терезии с увещаниями ограничиться землями, выговоренными в конвенции. Но как только Фридрих узнал о решении Екатерины писать к нему и государям австрийским, то немедленно послал за фон-Свитеном. «Если вы хотите уступить что-нибудь, – сказал он ему, – то прошу объявить мне, и я распоряжусь, со своей стороны, чтоб нам остаться всегда в соединении. Браницкий разгорячил головы в Петербурге; видите ли, интерес польского короля состоит в том, чтоб выиграть время в надежде, что, быть может, возникнут несогласия между тремя дворами. Все это его дело; он заставил Браницкого кричать там, преувеличил дело, требовал правосудия, покровительства императрицы, которая и далась в обман; но нам стоит только держаться вместе, и буря рассеется. Хотите знать мое мнение: не будем торопиться ответом на письма русской императрицы; движение там уляжется; я их (т.е. русских) знаю; первые впечатления очень сильны, но они исчезают со временем. Польский король выбрал Браницкого нарочно, зная, что его в Петербурге будут слушать и сама императрица допустит его к себе, ибо он был доверенным лицом ее и Станислава Понятовского, когда последний был в Петербурге при императрице Елисавете. Браницкий умел воспользоваться этими старыми отношениями и убедил императрицу, что ее слава требует заступиться за поляков, доведенных до отчаяния. Вследствие этого и написаны были к ним письма; но это еще не все, это только прелюдия; план Браницкого состоял в том, что, если после получения писем от русской императрицы вы не отступите от занятых вами земель, я вместе с Россией должен обратиться к вам с увещаниями и, если вы и тут не согласитесь уступить, поляки созовут посполитое рушение и нападут на вас, а мы будем смотреть спокойно. Мне сообщили этот прекрасный план во всех подробностях; я не хотел отвечать на него серьезно и старался обратить в смех. Я дал почувствовать императрице, что мы будем играть роль польских Дон-Кихотов и что я вовсе не расположен к этой роли.

Но с пограничным делом надобно было спешить, а не затягивать его, не отвечая на русские требования уступок или отвечая таким образом: мы готовы уступить, если другие уступят». Скрепя сердце в Берлине и Вене должны были прийти к решению: потребовать от поляков признать претензии обоих дворов, а

если поляки не согласятся, обратиться к России, чтоб решать вопрос всем трем державам вместе. Поляки объявили, что претензии Австрии и Пруссии не могут быть рассмотрены в Варшаве, непременно нужно отправить особые комиссии. Опять скрепя сердце надобно было и на это согласиться. Поляки имели свои выгоды медлить отправлением комиссаров, год проходил, а Фридрих в сердцах писал Сольмсу: «Признаюсь, я бы желал иметь средство убедить графа Панина в необходимости сделать полякам декларацию посильнее. До сих пор эти республиканцы выставляют тысячи затруднений в определении наших границ, и Австрия находит их комиссаров столь же непреклонными, как и я. Надобно полагать, что эта комиссия не будет иметь ни малейшего успеха, дело будет передано в делегацию и у нас будет еще много хлопот. Россия будет иметь ту же участь в диссидентском деле, и я очень сомневаюсь, что она достигнет своей цели без криков и шума. Поляки по своей глупости думают, что венский двор и я сделаем все возможное, чтоб заставить Россию вывести свои войска из Польши. Австрийский министр отвечал на эту просьбу в общих выражениях, но Бенуа отлично отвечал, что так как дела далеки от окончания, то и нельзя думать, чтоб спокойствие было восстановлено в Польше, а его восстановление есть единственная цель пребывания в ней иностранных войск; следовательно, дело идет не о выходе русских войск, а о том, чтоб австрийские и прусские войска не вошли опять в Польшу вследствие медленности и недоброжелательства в переговорах. Поляки, – продолжал Фридрих, – не так сговорчивы, как, быть может, о них думают в Петербурге, и сейм никогда не кончится, если Россия на них не прикрикнет. Почти два года прошло с тех пор, как собрана делегация, и что сделано? Едва прошло дело о Постоянном совете. Вопросы о власти великого гетмана, о войске, о королевских выборах, о доходах, о диссидентах находятся в прежнем положении, и не думают о их решении. Если позволит делегация вести так дело, то пройдет еще несколько лет прежде, чем мы с ними покончим. Верно то, что ни я, ни Россия, ни венский двор не можем никогда положиться на поляков. Это народ легкомысленный и корыстолюбивый, лучшие резоны не производят над ними никакого впечатления, страх и деньги суть единственные пружины этой тяжелой массы».

Итак, надобно было обращаться к России, просить ее, чтоб прикрикнула на поляков, а на Россию прикрикнуть было нельзя после Кайнарджийского мира. Фридрих попробовал было внушить в Петербурге, что мир непрочен, что Пруссия снова может получить важное для России значение в делах турецких, но попытка не удалась. В начале октября Фридрих переслал в Петербург депешу Зегелина из Константинополя, в которой давалось знать, что Порта просит прусского короля употребить свои добрые услуги для смягчения условий Кучук-Кайнарджийского мира. Екатерина написала Панину: «Вы можете ответить заверено, что без новой войны нынешнего трактата ни единой строки не переменю, а лучше бы Порте оглянуться, что у ней делается в соседстве, нежели нас ябедою отвратить от истинного с нею согласия, которое я ненарушимо содержать намерена». Последние слова относились к занятию австрийцами земель в Молдавии, о котором Румянцев уже переписывался с Петерсоном. Мы видели, что кроме польских земель взять что-нибудь и у Турции было любимую мыслью Иосифа II. В начале 1774 года в Вене были в блаженном настроении духа: Россия, занятая на востоке Пугачевым, должна заключить самый невыгодный для себя мир с Портою,

какого только могла желать Австрия. И вдруг страшное разочарование: Россия заключает мир самый выгодный, какого только могла желать! Негодование против турок было страшное. Кауниц говорил: «Турки вполне заслужили несчастье, которое их постигло, частью своим слабым и глупым ведением войны, частью недостатком доверия к державам, которые, особенно Австрия, желали высвободить их из затруднительного положения. Зачем не потребовали они посредничества Австрии, Англии и Голландии? Каждая из этих держав помогла бы им получить выгоднейшие условия, и мы были бы все довольны. Но этот народ предназначен к гибели, и небольшое, но хорошее войско может, когда угодно, выгнать турок из Европы». Но если так легко выгнать турок из Европы, то еще легче отобрать у них какую-нибудь землю; сами турки не в состоянии вести теперь новой войны; Россия не станет воевать из-за Турции; король прусский, принявший «Политический катехизис», не должен сердиться, что на основании этого акта позволяют себе небольшие приобретения, не беспокоя ДРУГ Друга уведомлениями; прусский король сам может взять себе где-нибудь что-нибудь, а, если возьмет слишком много, Австрия на основании равновесия прибавит к своей доле. Стоит только выбрать какую-нибудь землю поудобнее, и выбрали Буковину, прилежащую к Трансильвании часть Молдавии, очень выгодную теперь по отношению к новым польским владениям Австрии. Буковина была занята австрийскими войсками; Турция не двигалась; в Петербурге положили ждать, что скажет король прусский, и вообще были очень довольны поступком австрийцев, что видно из письма Екатерины к кн. Репнину: «А сбывается часто по моему желанию; вот и цесарцы ссорятся с турками; готова об заклад биться, что первые биты будут, а я, руки упираючи в бока, как ферт, сидеть буду и на них погляжу, а в устах везде у меня будут слова: добрые официи». Оставалась Франция, всегдашняя заступница за турок, но Франции было теперь не до Буковины.

9 января приехал в Париж новый посланник, князь Иван Сергеевич Борятинский, а в апреле умер король Людовик XV, вследствие чего вышел в отставку герцог Эгильон и был заменен графом Верженем, вызванным из Стокгольма. Борятинский писал, будто новый король, Людовик XVI, рассуждая о системе герцога Шуазеля, говорил, что Франция издерживает много денег на субсидии и пенсии понапрасну. «Какая мне нужда, – говорил король, – что Россия ведет войну с турками, а в Польше делаются конфедерации, и зачем давать субсидии Швеции и Дании? Я все эти лишние расходы сокращу». Известие о Кучук-Кайнарджийском мире произвело страшное впечатление, особенно в министерстве. «Невероятно, – писал Борятинский, – до какой степени простирается здесь зависть к нашим успехам. Находящиеся здесь поляки в великом горе. Австрийский посол очень мало оказывает мне откровенности, если что говорит, то в общих, с двойным смыслом выражениях».

При настоящем положении Франции Швеция не могла на нее много рассчитывать.

В мае месяце Остерман уехал из Стокгольма в Петербург, оставив ведение дел резиденту Стахиеву. В июле на придворном бале король подошел к Стахиеву и сказал, что этим летом он никак не может посетить императрицу, но непременно сделает это в будущем году, о чем никому заранее рассказывать не будет, давая этим знать, что в этом году исполнению его желания помешали другие люди. Король распространился о необходимости свидания с императрицею. «При

личном свидании, – говорил он, – я в четверть часа могу сделать больше для утверждения взаимного благополучия обоих дворов, чем министеральной перепискою в продолжение целого года, особенно для уничтожения всяких недоразумений и подозрений, возбуждаемых недоброжелательными людьми и, быть может, некоторыми свойственниками. Горю желанием видеться с императрицею и при этом свидании однажды навсегда закрыть дорогу недоброжелательным внушениям. Мне известны наветы и наущения, которые по поводу последней здешней перемены делались в Петербурге на меня, а здесь мне – на петербургский двор. Я в одно ухо впускал, а из другого выпускал. А что касается самой этой перемены, то я решился на нее не прежде, как чины вознамерились согнать сенаторов с их стульев. Я должен отдать справедливость графу Остерману и вам, что вы прилагали всевозможное старание сдержать тогдашнее беспредельное своеволие в трех нижних чинах, но сдержать было иначе нельзя, как тем, что я сделал». По поводу Кучук-Кайнарджийского мира Стахийев писал: «Чем славнее и выгоднее для нашего двора этот мир, тем неприятнее он здешнему двору и его приверженцам, тем более что французский двор ласкал его надеждою помещения в трактате турецкой гарантии для здешней формы правления, что и было причиною, почему король отложил свое путешествие в Петербург: французский посол Вержен грозил королю, что если он поедет в Петербург, то этой гарантии не будет».

Как Екатерина понимала отношения России к европейским державам после заключения Кучук-Кайнарджийского мира, показывает следующий случай. Тотчас по получении известия о заключении мира в Ораниенбауме было собрание при дворе; где находились все иностранные министры. Императрица, сядя за карты и приглашая играть с собою министров датского и английского, сказала громко, чтоб все слышали: «Нынешний день для меня очень радостен, и я хочу видеть около себя только веселые лица».

Глава вторая

Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны

Внутреннее состояние России во время первой турецкой войны

С учреждением Совета Правительствующий сенат в действительности уступал ему первенствующее значение. Императрица, присутствуя очень часто в заседаниях Совета, не присутствует более в сенатских заседаниях, объявляя свою волю на письме или чрез генерал-прокурора. Так, по поводу наказания поручика Дубасова, убившего прикащика граф. Разумовской, состоялась собственноручная резолюция. «Заменя ему десятилетнее его содержание в тюрьме, освободить, а Сенату рассмотреть, по какой причине такого состояния дело толь долгое время решено не было, и впредь нашему Сенату непременною оком смотреть, чтоб дела правосудия требующие, толь долго без решения не оставались». Без малого через два года Сенат слушал собственный указ императрицы: «Сколь ни нужно для службы и самого порядка, чтоб по насылаемым из одного в другое гражданское

правительство повелениям везде скорое и точное исполнение делано было, со всем тем, однако ж, ее и. в-ство из многих дел усматривает, что в некоторых присутственных местах сие столь худо и нерадиво наблюдается, что самые нужнейшие дела и учреждения остаются либо не в действии или не с тою скоростью и точностию исполняются, как служба и важность дела требуют. Посему ее и. в-ство и повелевает Сенату не только во все присутственные места о том наистрожайше подтвердить, но и самому за всеми подчиненными местами неослабно смотреть, чтоб везде по оному в самой точности наблюдаемо было; если же бы где паки оказалась какая по сему неисправность, с таковыми поступать без всякого послабления по самой точности законов; и дела таковые как весьма нужные судить без всякого отлагательства и уважения, потому наипаче, что никакое учреждение не может принести ожидаемой пользы, покуда не будет в точности и в предписанное время исполняемо».

Но, несмотря на приказание Сенату смотреть «недреманным оком», в 1774 году видим окончание дела, начавшегося еще в 1765. Мы упоминали, что в этом году двое малороссиян, Золотаренко и Черный, показали, что во время ярмарки подожгли Луганскую станицу и сделали это по приказанию базарного старшины Волошенинова. После Золотаренко и Черный в военном суде с трех пыток и огня показали, что они ярмарки не зажигали и Волошениновым научены не были. Волошенинов ни в чем не винулся. Юстиц-коллегия оправдала Волошенинова, Золотаренко и Черного в сожжении ярмарки; но так как Золотаренко оказался видимым мошенником, то приговорили бить его кнутом и сослать в Оренбург. Сенат не велел Золотаренка бить кнутом, потому что он терпел лишние пытки, а сослать только на вечное житье в Таганрог. Золотаренко и Черный объявили, что показали на Волошенинова, не стерпя побоев и мучений от купцов, которые их схватили на ярмарке. Относительно проволочки дел замечательное решение Екатерины дано было в 1769 году по поводу купца Попова. В марте месяце в Московскую тайную экспедицию привели из Камер-коллегии содержавшегося в ней под караулом московского купца Михаила Попова; содержался он вследствие доноса своего на коронного поверенного Хлебникова, что тот накладывает на вино лишние деньги; а в Тайную экспедицию привели Попова потому, что он, будучи под караулом, встал с места своего в азарте и говорил: «Нет правосудия в государыне». Екатерина дала резолюцию: «Неосторожные Попова слова уничтожить, а его отослать в Камер-коллегию с подтверждением о немедленном окончании его дела, дабы он видел, что есть правосудие».

Знаменательно для характеристики времени высказались взгляды екатерининского Сената по поводу следующих двух случаев. В 1771 году уфимский воевода Борисов донес оренбургскому губернатору, а тот Сенату, что в городе Уфе при соборной церкви слышан был многократно происходящий с высоты невидимо колокольный звон. Сенат приказали: как вышеписанный колокольный звон какую ни есть простую и натуральную причину имеет, то оренбургскому губернатору, выбрав какого-либо надежного человека, препоручить ему изыскать ту причину. Через год оренбургский губернатор донес, что для исследования причины звона послан был архитектурии прапорщик Гарезин, который, возвратясь, донес, что звон при нем днем и ночью слышан был неоднократно, только очень тихий. Заметив, что в тихую погоду в церковном куполе происходил шум, похожий на шум от пчелиного роя, Гарезин в

присутствии местного протопопа велел проломать купол; при ломке отдавалось такое же эхо, и причиною явления оказался стоящий на главе железный с проволокою крест, по снятии которого как в церкви, так и в куполе ничего уже слышно не было. Сенат приказали: оренбургскому губернатору дать знать, что Пр. сенат еще из прежнего его рапорта заключил, что сие эхо не могло быть чрезвычайным каким-нибудь действием, так как воевода по легкомыслию и пустому суеверию к нему, губернатору, писал, но от простой и натуральной причины, да и изыскивать оную велел не для чего иного, как чтоб тамошний народ чрез то вывести из заблуждения, а потому Сенат и рекомендует впредь в таковых случаях быть в рассуждениях своих осмотрительнее.

В этом случае дело ограничилось распоряжениями светских властей. Но в 1769 году Синод дал знать Сенату, что епископ устюжский донес о появлении в Печорской волости, города Яренска, колдунов и волшебников из крестьян мужского и женского пола, которые не только отвращают других от правоверия, но и многих заражают разными болезнями посредством червей. Сенат приказали: так как обман их и колдовство состояли в умышлении на здоровье других людей, что и производилось на самом деле, то за такое преступление мужчин отдать в солдаты, оставя при них и жен их, а незамужних женщин и девиц отослать в Сибирь на поселение. Но прежде чем это решение достигло Яренска, колдуны были отправлены в Сенат как повинившиеся, что отреклись от веры и имели свидания с чертом, который приносил им червей, этими-то червями они и портили людей. В Сенате крестьяне показали, что они схвачены волостными сотскими по злобе на них кликуш, что в Яренской воеводской канцелярии в расспросах их не раз нещадно били и этими побоями принудили виниться в том, в чем они вовсе не виноваты. Тогда Сенат предписал архангельскому губернатору яренского воеводу и товарища его отрешить от должности, мнимых чародеев освободить и отпустить, дать знать об этом во все губернские, провинциальные и городские канцелярии и в Синод сообщить ведение. В 1772 году Синод дал знать Сенату, что посланными к архиереям и прочим духовным особам указами запрещено им вступать в следственные дела о чародействах и волшебствах, ибо эти дела считаются подлежащими гражданскому суду.

Мы упоминали о свидетельстве императрицы Екатерины, что она не нашла в Сенате карты России. Осенью 1774 года, вероятно, вследствие пугачевского бунта генерал-прокурор предложил, что в Сенате нет верного известия о расстоянии мест от каждого города, как до других с ним соседственных, так губернских и провинциальных к ним ближайших, и чрез какие знатные места, урочища или селения дороги к тем городам идут, какие на тех дорогах реки и чрез них есть ли мосты или переправы. Приказали: послать во все канцелярии губернские, провинциальные и воеводские велеть означенные расписания прислать в Сенат.

Относительно жизни второстепенных учреждений в описываемое время замечателен следующий случай: президент Главного магистрата гр. Толстой и прокурор Сушков были отрешены от должностей за непорядочное баллотирование членов в московский магистрат.

В областном управлении по-прежнему особенной деятельностью отличался новгородский губернатор Сиверс. В 1769 году он прислал в Сенат ведомости о числе в его губернии рожденных, сочетавшихся браком и умерших за прошлый 1768 год. Приказали: приняв в известие, послать к нему указ, что Сенат толь

похвальное и рачительное его должности своей исправление благоволительно приемлет и как желательно, чтоб и все господа губернаторы таковыми полезными сведениями Прав. сенат уведомляли, тем более что присланные от новгородского г. губернатора известия ясно доказывают, что сообщить о сем похвальном его, могущем служить средством к доставлению и от каждого о своей губернии таковых ведомостей поступке чрез г. генерал-прокурора. Но другого рода предписание Сенат должен был послать лифляндскому генерал-губернатору графу Брауну, который донес, что по силе манифеста 1766 года надобно выбирать голов и предводителей на два года. Лифляндского земства предводитель представил, что скоро минет этому двухлетний срок, на который он был выбран, и потому просил призвать земство для выбора нового предводителя. Земство надлежащим образом было созвано; но явился на выборы только один человек, да четверо отозвались письменно. «Из этого, – писал гр. Браун, – я заключаю, что лифляндское земство больше предводителя выбирать и особый корпус составлять не хочет». Сенат приказал предписать генерал-губернатору, что, признавая такое отрицание лифляндского земства от выбора предводителя весьма предосудительным, он, Сенат, поручает ему вразумить на этот счет тамошнее земство и подтвердить ему самым строгим образом, чтоб теперь же непременно приступили к выбору нового предводителя; если же кто и после того явится ослушником, с тем поступить по всей строгости законов. Еще прежде по предложению генерал-прокурора Сенат предписал губернским канцеляриям рижской, ревельской и Выборгской, чтоб находящиеся в них канцелярские служители старались приобрести совершенное знание русского языка и могли занимать высшие места предпочтительно пред теми, которые русского языка не знают, чего как государственное, так и собственное их благосостояние и польза требуют; в посылаемых Сенату представлениях о кандидатах на места должно именно означать, кто из них знает и кто не знает русского языка.

В описываемое время присоединена была к империи новая область – Белоруссия. Но при административном устройстве новоприобретенные земли разделены были на две половины и к одной из них присоединена часть от обширной Новгородской губернии; образованы были две губернии: первая названа Псковскою, а вторая – Могилевскою; Псковская разделена на 5 провинций, из которых две великороссийские – Псковская и Великолуцкая, а три присоединенные от Польши – Двинская, Полоцкая и Витебская; Могилевская губерния разделена на три провинции – Могилевскую, Оршанскую и Рогачевскую. Губернскими городами назначены: для Псковской – город Опочка, для Могилевской – Могилев; губернаторами определены генерал-майоры: в Псковскую – Кречетников, а в Могилевскую – Каховский; над обеими губерниями поставлен генерал-губернатором граф Захар Чернышев. Императрица, дав знать Сенату 10 сентября о присоединении к России некоторых польских земель, приказала представить мнение, где этим новоучрежденным губерниям состоять под апелляциями. В докладе Сенат признал нужным, чтоб с самого же начала, сколько возможно, уравнивать жителей новоприсоединенных земель со старинными русскими подданными, дабы теперь же пресечь им повод к притязанию какого-либо особого права себе на будущее время в вечную привилегию, чем еще и теперь Лифляндия, Эстляндия и Финляндия в производстве дел причиняют некоторые затруднения. Поэтому Сенат считает полезным подчинить эти губернии

относительно апелляции по судебным делам Юстиц-коллегии, а по вотчинным и земляным – Вотчинной коллегии, по другим же делам – тем учреждениям, в которых эти дела ведаются. Но так как личные тяжёбые дела между жителями этих губерний производятся теперь по их праву, следовательно, и на их языке, то поэтому не угодно ли будет повелеть в Юстиц– и Вотчинной коллегиях учредить для этих губерний еще по одному департаменту и в них определить потребное число переводчиков польского языка.

Выбор правительственных лиц в новоприобретенные области не везде был удачен, как видно из донесения мстиславского прокурора Бабаева, который писал о немалых беспокойствах и несогласиях по Мстиславской провинции, так что нередко доходило и до смертоубийств. Из таких дел, вступивших в провинциальную канцелярию, ни одно до сих пор еще не решено, в чем от обывателей принесены жалобы на воеводу губернатору. Вследствие неприсутствия воеводы продолжительное время в канцелярии не только между обывателями, но и между канцелярскими служителями и штатною командою явилась распушенность, все пришло в расстройство, между обывателями происходят беспрестанные ссоры и драки, беднейшее шляхетство, вдовы и сироты разоряются и управы найти не могут. Воевода коллежский советник Лебедев сказывается всегда больным, очень редко бывает в канцелярии и производит некоторые дела на дому, но о них в канцелярии неизвестно; да и воеводский товарищ Роде по приезде своем в канцелярию уходит всякий день в дом к воеводе, а оттуда возвращается уже в такое время, когда из присутствия уже выходить должно. Помещица Парцевская из провинциальной канцелярии повелений не принимает и крестьянам повиноваться не велит; из посланных команд многим ее люди нанесли большие обиды и мучения, а солдата Квасова застрелили.

Во время тяжелой шестилетней войны внимание Сената должно было особенно обращаться на цели, указанные его основателем: бережливость в расходах, умножение доходов, снабжение войска людьми: «Денег как можно более собирать, ибо деньги суть артериею войны». Мы видели, что вслед за объявлением войны турками учрежден был ассигнационный банк. Теневая сторона этого учреждения не замедлила обнаружиться. В июне 1771 года Н. И. Панин получил от императрицы записку, обличавшую большую тревогу; тревога обнаруживалась и в том, что на человека, заведовавшего воспитанием наследника престола и делами иностранными, возлагалось поручение, вовсе не соответствовавшее этим занятиям: «Извольте обще с генерал-прокурором и гр. Шуваловым (Андр. Петр., директором ассигнационного банка) войти во все подробности того приключения, которое сегодня сделалось в банке государственных ассигнаций в рассуждении двадцатипятирублевых бумаг, кои переделаны в семидесятипятирублевые, и что окажется, о том вы мне дадите знать; также положите на мере, как наискорее можно будет упредить, чтоб банковый кредит фальшивыми ассигнациями не был поврежден». На другой день новая записка: «Писал ко мне гр. Шувалов, что воры его сысканы и признались; только не пишет, у них сысканы ли готовые еще цедели, а только глухо пишет, что они до 5000 рублей выиграли или 90 номеров испакостили своим манером». В 1772 году производилось дело о двоих братьях Пушкиных, из которых один ездил за границу и привез оттуда штемпеля и литеры для делания фальшивых ассигнаций, но был схвачен на границе. При учреждении банка было выпущено ассигнаций на

миллион рублей, но в начале 1774 года Сенату дан был именной указ об обращении в империи не более как на 20 миллионов рублей ассигнаций с тем, что, когда взятая сумма выпущена будет из банков, тогда уже Сенату печатать вновь ассигнации единственно только на обмен присылаемых от банков ветшалых ассигнаций. Приказано: подтвердить всем присутственным местам, которые могут иметь какое-нибудь дело с банками, чтоб они крайне остерегались представлять обязательство и требовать отпуска ассигнаций, не имея действительно в сборе следуемой по тому наличной монеты в полном количестве, не полагаясь отнюдь на то, что эта монета в скором времени вступит. Старый банк для дворянства донес Сенату о злоупотреблениях, с которыми не имеет средств бороться: хотя, писал банк, всякая подлежащая строгость и осторожность к отвращению подлога в закладном имении употребляется, однако число преступников не только не уменьшается, но еще от времени до времени умножается, и потому просит, чтоб повелено было о всех фамилиях, сколько за кем мужеска пола душ и в каких уездах состоят, Камер-коллегии прислать именной список, к которому банк сделает алфавит и при выдаче денег будет справляться, подлинно ли закладываемое имение состоит за займщиком, не продано ли и не заложено ли. Сенат сначала решил: предписать Камер-коллегии составить список, сообщить его в банк; но потом чрез несколько недель переменил свое решение и велел отвечать банку: так как эти ведомости без крайнего затруднения сочинены быть не могут, а указами уже предписано, какие при даче займы денег предосторожности банк наблюдать должен, то и поступать ему на основании предписанных указов.

В октябре 1769 года был опубликован указ во всенародное известие: «Настоящая ныне война с турками, умножая расходы противу того, как было в мирное время, требует, чтоб и доходы государственные по мере той надобности умножаемы были. И хотя при таком обстоятельстве нужда требовала бы в способствование общей обороны и безопасности наложить на народ особливую подать, однако ж ее и. в-ство, имея матернее о своем народе попечение, изыскивает способы, чтоб и при сих обстоятельствах, поелику возможно, не отягощать верноподданных ее общенародными налогами, но заменять оные возвышением таких государственных доходов, которые неотяготительны. Таков есть принадлежащий королю доход от питейной во всем государстве продажи». Вино велено продавать по три рубля ведро, на французскую водку прибавить пошлины по три рубля на анкер.

В 1769 году императрица поручила двоим известным дельцам, Волкову и Теплову, изыскать, какую подать на нынешнее военное время купечество и мещанство должны платить, причем составители проекта обязаны были держаться непрременных правил: 1) чтоб всеобщая тягость была, сколько можно, уравнильнее в рассуждении всего государства; 2) чтоб не число душ, но состояние городов и их промыслов и торгов приняты были во внимание; 3) в числе купечества и мещанства и тех надобно разуметь, которые хотя и выключены из подушного оклада, но пользуются фабриками, заводами и другими мещанскими промыслами; 4) так как эта подать есть временная, а не всегдашняя, то смотреть, чтоб она соответствовала времени. Волков и Теплов нашли, что таких фабрик, на которых работа производится ткачеством, в 1769 году было 230; фабрик таких, на которых работа не ткачеством производится, 256; на первых 12771 стан, на вторых ежегодно обращается капитала 921534 рубля. Железных

заводов 111, и на них ежегодно обращается капитала 1192540; медных заводов 48, и на них обращается капитала 780175. Число купечества с цеховыми – 228209. В докладе своем Волков и Теплов объяснили, что ими было принято правило: если нужда требует наложить новую подать, то принять в основание старую и по ней возвысить временную новую, ибо так делается во всем свете. Они нашли, что не будет отяготительно, если ежегодно платимые подати с фабрик и заводов будут удвоены; этим способом получится 287646 рублей. На том же основании уравнивается и купечество, если на него к нынешнему сорокаалтынному окладу прибавится по полтора рубля на душу. Государственные крестьяне платят столько же, а именно по 2 рубля оброчных и по 70 копеек подушных. Правда, что бедный в мелких городах мещанин не имеет выгод государственного крестьянина, но правда и то, что только лень и нерадение причиною их бедности и что зажиточные мещане всегда большую часть бедных, как и теперь, будут оплачивать, тогда как крестьянин по большей части сам себя оплачивает. Всего мещанства, по последней переписи, 228209 душ, следовательно, временный налог принесет 342313 рублей. Этим способом казна каждый год в военное время получит нового дохода 629959 рублей. На основании этого доклада издан был указ о новой подати 30 октября того же года.

Но если должны были увеличивать налоги, то прежде всего должны были постараться добрать старые подати и отвратить явления, вредившие финансовым мерам. В начале 1769 года Сенат принужден был признаться, что хотя сбор подушных денег и взыскание доимки преимущественно возложены на попечение губернаторов, но, сколько со стороны комиссариата и Военной коллегии старания ни было и сколько Сенат ни посылал подтверждений, все осталось без действия: не только прежних лет доимка не выбрана, но и вновь от одного нерадения накапливается; так что комиссариат по 1768 год считает всей доимки 644000 рублей; к тому же и донесений комиссариат в свое время не получает, напротив, еще оказывается упрямство и ослушание, как то доказывает поступок Московской губернской канцелярии секретаря и канцелярских служителей, которые, будучи комиссариатом задержаны в канцелярии, осмелились отбивать часового, поставленного у дверей. Сенат приказал опять подтвердить губернаторам, чтоб старались взыскивать доимку. Разумеется, гораздо легче было взыскать казенные деньги с одного или нескольких известных лиц. Оказалось, что бывший казанский губернатор Квашнин-Самарин купил у сенатора графа Ив. Ларион. Воронцова в казну вино по превосходным ценам и в такое время, когда его вовсе не нужно было покупать, и оттого произошел казенный убыток на 31511 рублей. Для вознаграждения этого убытка взыскано с откупщика Шемякина 9675 рублей да определено еще взыскать с него же и с другого откупщика Белавина 5084 рубля, а остальные 16740 рублей взыскать с Квашнина-Самарина. Сенат приказал взыскать с Воронцова и Квашнина-Самарина. Жаловались на контрабанду, и гр. Миних подал императрице проект для ее прекращения: купцы в таможенных должностях должны получать ярлыки за руками всех таможенных служителей, с прописанием звания и количества товаров и сколько к ящикам или тюкам приложится печатей, дабы никто из купцов в дороге, не доехав до учрежденного места, не отважился распечатать, вынуть и распродавать под страхом конфискации всех товаров. Когда купцы с товарами к назначенным городам приедут, то караулы должны проводить их прямо в главное местное правительство, где товары свидетельствуются и, если

что найдется сверх ярлыка, конфискуется; если же все явится исправно, то купцам вольно продавать товары. Во всех пограничных городах и селах по церквам читать, чтоб разночинцы, а особливо крестьяне к поимке контрабандистов более приохочены были. Так как большая часть купцов с контрабандою надеются приобрести большие барыши в главнейших городах, особенно в Москве, то надобно учредить там контору ведомства Главной канцелярии над таможенными сборами, которую поручить одному верному человеку с хорошим жалованьем и потребным числом служителей: он должен всех приезжающих в Москву купцов осматривать и, найдя какие-нибудь таможенные беспорядки, давать знать канцелярии, по подозрению осматривать дома и лавки купцов, у которых предполагается контрабанда. Императрица передала проект на рассмотрение Сената, который представил, что при уничтожении внутренних таможен и переносе пошлин к гаваням и пограничным таможням предполагалось менее миллиона рублей сбора, а вышло более миллиона, иногда получается полтора миллиона, почему Сенат и не видит прямой надобности отменять такое учреждение, которое до сих пор, принося казне немалую прибыль, приносит и купечеству большую пользу, доставляя свободное и безостановочное обращение. Свидетельство по ярлыкам товаров у тех, на кого никакого подозрения нет, будет весьма несправедливо и для купечества тягостно: купечеству нельзя будет избежать привязок и такого же разорения, какое во время внутренних таможен было. Крестьянство от частого напоминания в церквах поощрено будет к свободному грабежу товаров под именем сохранения казенного дохода. Сенат не утверждает, чтоб на границах не происходило упущения пошлин: и прежде это замечалось, а теперь в Боевской пограничной таможене открылось прямое воровство директора и других управителей; но Сенат причины тому полагает следующие: 1) слишком большое число таможен, причем купец может ехать в какую ему угодно, где имеет надежду на послабление в пошлинах; 2) служащие при таможах назначаются из разного рода людей сомнительной нравственности; 3) таможи стоят очень низко между учреждениями, и чиновники в них не могут служить из одного честолюбия и усердия к отечеству. Потому Сенат полагает: давать на границах и в гаванях ярлыки купцам только для того, чтоб в случае доноса можно было купцу оправдаться; уменьшить количество таможен; определить в них чиновных людей, заслуженных и честных, дать им хорошее жалованье.

В 1769 году государственный доход простирался до 16996902 рублей, причем в недоимке осталось 983856. В 1773 году доход простирался уже до 23611300 рублей, причем из доимок вступило 2835823, осталось в недоимке прошлых лет 4544017 рублей, а от того же 1773 года – 4302102. В 1774 году по окончании турецкой войны генерал-прокурор объявил Сенату, что императрица приказала рассмотреть о государственных доходах, нет ли между ними тягостных, которые следует сложить. Сенат, рассмотревши, решил: 1) сложить все подати, которые наложены для бывшей турецкой войны, как-то: контрибуции в Лифляндии, с купцов прибавочные подушные, также с фабрик и заводов; 2) сложить некоторые собираемые по местам подати (с стругового и лодочного караула, красильного промысла, с харчевен, с камней, с полков, с кузниц, постоянных дворов, бритовных изб и проч.); 3) с выдаваемых купечеству и крестьянству паспортов собирать половину. По этому решению убывало пошлин на 807683 рубля.

Кроме денег война требовала усиленной поставки рекрут. Мы видели, что немедленно же было сделано распоряжение о взятии в военную службу священно— и церковнослужительских детей, живущих празднично при отцах и родственниках. Мера эта вызвала многочисленные жалобы на несправедливости, вследствие чего один архиерей (тамбовский) лишился епархии; вскрылись странности вроде следующей: в Москве при разборе священно— и церковнослужительских детей кремлевских ружных осьми церквей, состоящих в ведомстве мастерской и оружейной конторы, оказались сверх штата многие Церковнослужители, не только в это звание не произведенные архиереем, но и не имеющие письменных видов ни от какого Духовного правительства; они были церковнослужителями на основании указов, данных им из мастерской и оружейной конторы за подписью присутствующих в ней. Сенат приказал: всех этих дьячков и пономарей, состоявших сверх штата, записать в военную службу, а мастерской и оружейной конторе предписать, чтоб они впредь сами собою в означенные церкви служителей не определяли, но, выбрав достойных, представляли архиерею.

По другим отношениям к церковному правительству Сенат находился в затруднительном положении по делам раскольничьим. С одной стороны, правительство высказывало терпимость и предписывало кроткие меры: раскольникам возвращались гражданские права, например позволено было допускать их к присяге и свидетельству по делам судным; правительство не желало употребления внешних принудительных средств, но внутренних средств не было, ибо рассылка по церквам и монастырям книжки «Раскольникам увещания» не могла заменить живых устных увещаний, разумной и горячей проповеди со стороны православного духовенства, а между тем раскол почувствовал ослабление внешних средств и начал действовать смелее. Синод дал знать Сенату, что в 1765 году из заграничной слободы Ветки раскольниками вывезена церковь и поставлена близ раскольничьих слобод Климовой и Митковки; в этой церкви совершается служба по старопечатным книгам: в недавнем времени в принадлежащей к слободе Злынке местности близ реки Ипути, в лесу, в урочище Малином Острове, построена небольшая церковь и служба отправляется. А сверх того, по справке в Синоде оказалось, что еще имеются построенные раскольниками часовни: одна недалеко от Саратова, за Волгою, по реке Иргызу, при которой и колокола медные имеются; другая в крепости св. Елисаветы в пригородной слободе; третья Царевосанчурского заказа в дворцовой Устинской волости, в починке Ларионова; в этих часовнях раскольники для моления публично во множестве собираются да и правоверных христиан от церквей божьих отлучают. Сенат решил поднести императрице доклад, что Сенат согласен со св. Синодом относительно уничтожения означенных церквей и часовен, чтоб от них правоверным смущения и развращения последовать не могло.

Но являлись секты, которые не строили церквей и часовен. По поводу появления скопческой ереси в половине 1772 года императрица дала полковнику Волкову любопытный указ: «Слух носится, будто бы в Орловском уезде оказался новый род некоторой ереси и будто бы действительно в орловское духовное правление привелено уже несколько человек из крестьян разных помещиков, в той ереси найденных. В таковых случаях ничего нужнее не бывает, как, с одной стороны, утушение в самом начале подобных безрассудных глупостей, а с другой

– сохранение и безопасность множества людей от прицепок и забираний в каком ни есть нижнем судебном месте, паче же от всяких иногда невинным людям быть могущих привязок и притеснений. В рассуждении сего повелели мы вас отправить в город Орел, где имеете наперед у тамошнего воеводы и в духовном правлении наведаться, действительно ли состоит там таковое дело и где оно производится. Если найдете, что подобное следствие начато, то имеете истребовать к себе сие дело и всех людей, кои донныне приведены; получая же о всем полное сведение, должны вы обще с тамошним воеводою и его товарищем изыскать прежде всего, кто сей вредной ереси зачинщик и кто ее над другими в действо производил; буде донныне сии люди не сысканы, то велите их сыскать немедленно. Всех же в сем деле участвующих вины разделить на три класса: 1) начинщик или начинщики и те, кои других изуродовали; 2) те, кои, быв уговорены, других на то приводили; 3) тех простяков, кои, быв уговорены, слепо повиновались безумству наставников; о тех же, кои по сию пору не забраны, стараться и вам должно, узнав их имена и жилища, без крайней надобности их не забирать, а единственно дать знать под рукою их начальникам, чтоб за ними имели бденное смотрение, дабы воздержаны были от всяких иногда неистовств. По окончании следствия с первыми имеете поступить как с возмутителями общего покоя, т.е. высечь кнутом в тех жилищах, где они проповеди свои производили и где более людей уговаривали, и потом сошлите их в Нерчинск вечно; вторых велите высечь батожем и сошлите в фортификационную работу в Ригу, а третьих разошлите на прежние их жилища. Мы за нужное находим здесь прибавить, чтобы вы при следствии поступили для изыскания правды без всякого истязания и самым кротчайшим образом, и что если найдете, что забраны невинные люди, то старайтесь оных наискорее отпустить безвредно в их жилища; чем же скорее и без дальней огласки сие дело исследовано и окончено будет, тем по существу сего рода дел полезнее быть может, ибо, чем менее к нему от правительства окажется уважения, тем менее утвердится безумство таковое в несмысленных умах и, следовательно, тем скорее исчезнет привлеченная к нему мысль людская. Не меньше же находим мы за нужное вам прибавить, чтобы вы сие дело трактовали как обыкновенное гражданское, а отнюдь не иначе и для того и в разделении вин вам стараться, чтобы наказаны были гражданские преступления».

Несмотря на это объявление скопчества как дела гражданского, а не церковного, церковь должна была заняться им, когда жены двенадцати оскопленных крестьян, возвращенных помещику, подали просьбу о позволении вступить им во второй брак. Синод решил, что эти женщины как ни в чем не виновные имеют право отвергнуть от себя супругов, которые браком возгнушались и тем уничтожили благословение церкви, данное им на супружество. Позволив женам скопцов вступать в новый брак, относительно самих скопцов Синод постановил: семь лет не допускать их до св. причащения, кроме смертного случая, а исповедоваться им дважды в год.

В 1769 году несколько раскольнических учителей были сосланы в Азовскую и Таганрогскую крепости для определения в военную службу, причем Военной коллегии было предписано иметь за ними наикрепчайшее наблюдение, чтоб они между собою никакого сообщения не имели и прелести своей не рассевали. Но предписание не исполнялось. Воронежский губернатор донес Сенату, что один из таких сосланных, солдат Степан Кузнецов, часто отлучаясь от своей команды на

прежнее свое место жительства, в Воронеж, распространял в этом городе раскол; особенно усердными его ученицами явились женщины, из которых две крестьянки, Варвара Ефимова и дочь сержанта Овчинникова девица Акулина, торжественно на площади проповедовали народу о необходимости двуперстного сложения. У раскольников нашли четыре псалма, которые они пели в своих собраниях, причем Акулина Овчинникова и мать ее Мавра показали, что петь эти псалмы научил их бог. Сенат накрепчайше подтвердил, чтоб сосланные в крепости за отступление от благочестия отнюдь не были отпускаемы на прежние жилища, но прибавил распоряжение: из всех вступивших теперь о раскольниках в Сенат дел, сочиня экстракт, отослать в св. Синод на его примечание, с тем чтоб благоволил духовным властям дать наставление: при случае производства следствий о каких-нибудь суевериях подлежащие духовному суду люди требуют были в консисторию со всевозможным осмотрением и осторожностью, чтоб как-нибудь и таким, которые к суевериям непричастны, не могло быть причинено ни малейшего притеснения и чрез то «не произвешь бы существительного вида инквизиции». Мы видели, что Синод указывал на построение раскольниками часовни с колоколами на реке Иргизе. Узнали, что на обеих реках Иргизах образовались раскольничьи скиты, служащие убежищем для беглых, вследствие чего Сенат предписал казанскому губернатору Бранту отправить туда команду и осмотреть все скиты вдруг, чтоб раскольники не могли укрыться из одного скита в другой; этим способом в них найдено беглых разного звания мужчин и женщин 44 человека.

Такого же рода щекотливые отношения продолжались по делам магометан. Синод жаловался, что в Казани вопреки прежним указам построены мечети подле православных церквей и что прежний губернатор Квашнин-Самарин, с позволения которого это сделано, объявил о получении им на это устного указа от императрицы. На доклад Сената об этом Екатерина велела отвечать: «Как всевышний бог на земле терпит все веры, языки и исповедания, то и она из тех же правил, сходствуя его святой воле, и в сем поступает, желая только, чтоб между подданными ее всегда любовь и согласие царствовали; а впрочем, ее в-ство приказать соизволили Сенату объявить, что бывший губернатор Квашнин-Самарин дозволение строить каменные мечети сделал в сходственность данного большого наказа 494, 495 и 496-й статей». Месяца через два Синод дал знать Сенату, что магометане, приезжая в Барабинскую степь, обращают в свою веру обращенных недавно в христианство идолопоклонников, и хотя сибирский губернатор въезд туда татарам и бухарцам запретил, однако все же происходят от них разные оболъщения: так, разглашают, будто бы из Сената прислан указ, которым позволено им и мечети там строить, отчего новокрещенные, пришедши в соблазн, перестали ходить в церковь, особенно же к исповеди и причастию. Сенат приказал: тобольскому губернатору предписать, чтоб он не запрещал магометанам совершенно въезда к новокрещенным, ибо они могут приезжать для торговли, а приказал бы только накрепко смотреть, чтоб они не совращали новокрещен в свою веру. Что же касается наказания кнутом совратившихся из христианства, то от него совсем удержаться и стараться приводить их в благочестие посредством духовных лиц одним увещанием и ласкою, а не наказанием. Что же касается разглашения, будто бы дозволено строить мечети, даже и каменные, то губернатор должен их уверить, что это разглашение неосновательно.

Мы видели, что Екатерина при своем основном стремлении: действовать против безнравственных явлений средствами нравственными, а не жестокостью наказаний, обращалась за помощью к церкви, как то поступлено было в деле Жуковым. И в описываемое время она продолжала поступать таким же образом преимущественно в делах по убийствам крестьян своими помещиками. О дворянке Мориной, убившей свою крепостную, Екатерина написала: «Посадить на 6 недель на хлеб и на воду и сослать в женский монастырь на год в работу». По решению Екатерины белозерские помещики Савины за убийство крестьянина посажены в тюрьму на полгода и потом преданы церковному покаянию. Капитанша вдова Кашинцева за прижитие с человеком своим младенца и несносное телесное наказание служанки, от которого та повесилась, приговорена была на шесть недель в монастырь на покаяние. Жена унтер-шахмейстера Гордеева была присуждена к содержанию месяц в тюрьме и церковному покаянию за истязание своей дворовой, от которого та скоро умерла. Сенат при этом приказал взять с нее подписку, чтоб она вперед от таких наказаний удержалась; но императрица переменяла сенатское решение и написала: отдать ее мужу, с тем чтоб он ее впредь до такой суровости под своим ответом не допускал.

Сенат подал доклад о наказании генерал-майорши Эттингер за побои крестьянину, от которых тот умер; императрица написала на докладе: «Вдова Эттингерша сама на себя показывает, что она человека своего секла за такие дела, кои исследовать не ей, но городской юстиции надлежит, и тако присвоивала себе судейской власти, ибо побег, воровство и подобное не подлежит домашнему следствию и наказанию, чего приметить дать надлежит второму сенатскому департаменту, дабы сходственно законам власть судебная была охраняема от особенных вступлений в оной». Сенат отвечал: «Чтоб и другие владельцы в принадлежащие гражданской юстиции дела собою не вступали, как на то точного положения нет, собирать о сем в комиссии о сочинении проекта нового уложения для положения на сие закона». Но Екатерина написала на это: «Которой комиссии и о том положение сделать, что с такими чинить, кои суровость против человека употребляют». По известиям о дурном обращении со своими крепостными генерал-майорши Храповицкой Сенат получил именной указ определить опекуна, который бы, отобрав, от кого надлежит, о ее доходах сведение, принял дом ее в свое содержание и определил людям ее такое пропитание и одежду, которых бы без излишества довольно было, а достальное отдавать ей на содержание, и чтоб оные люди в случае их преступления наказанием зависели от него, сохраняя притом должное от них ей почтение и повиновение.

Кроме приведенных случаев дурного обращения с крепостными людьми, истязаний и смертоубийств, крепостные отношения, составляя главный интерес землевладельцев, увлекали их в другого рода преступления; кроме того, крепостные люди являются удобными, послушными орудиями преступлений. Сенат приговорил к наказанию кнутом и ссылке на поселение в Сибирь жену прапорщика Федосью Чегодареву за подговор ею к побегу дворовой девицы жены лейтенанта Торماسова и за прочие непорядки. Екатерина написала на докладе: «Вместо телесного наказания содержать ее две недели на хлебе и воде, а потом, лиша дворянства, послать в Сибирь». Такому же наказанию по решению императрицы была подвергнута дворянка Ингельдеева за то, что продала беглого, переменяв ему имя. Сенат приговорил к смертной казни отставного подпоручика

Карпова за то, что он с людьми своими приходил на сотского из однодворцев Кутепова, ранил его сам из ружья и бил дубинами, от чего Кутепов через сутки умер. Екатерина переменяла этот приговор так: «Лишить дворянства и чинов и, поставя под виселицу, заклеить лоб словом „разбойник“ и потом сослать вечно в работу». Сенат приговорил ко кнуту и ссылке в Нерчинск отставного сержанта кн. Ивана Мещерского за сочинение для проезда подложного письма и за кражу у разных людей пожитков; Екатерина переменяла: «Лиша дворянства, сослать в Сибирь». То же наказание определила императрица дворянам Суцову и девице Чертановой за содержание ими в домах своих разбойников и краденых пожитков. Лишение дворянства и чинов, заклеивание под виселицею буквою «У» (убийца) и вечную работу на Нерчинских заводах императрица определила отставному капитану Отяеву за то, что он людям своим позволил убить до смерти свою жену. Отставной поручик Лесков убил беглого человека; жена его и свояченица Родичева знали об этом и не донесли; императрица написала решение: «Лескова, лишив чинов и дворянства, заклеить под виселицею буквою „У“ и сослать на Нерчинские заводы в работу; жену освободить; Родичеву заключить на покаяние в тюрьму». По решениям императрицы содержана две недели на хлебе и на воде и сослана в Сибирь прапорщица Васильева за подговор к краже и побегу чужой крепостной девушки. Лишен дворянства, чина и сослан в Сибирь прапорщик Ильин за держание в доме своем разбойников и за взятие от них себе пожитков. Посажена на четыре недели на хлеб и воду, лишена дворянства и сослана в Сибирь капитанша Моуринова за подговор людей своих, чтоб они первого мужа ее поручика Епанчина спящего задушили подушкою, что они и сделали. Лишен чина и сослан в ссылку прапорщик Симбирский за битье пономаря, который через два дня умер. Лишен дворянства, чинов и сослан в Сибирь полковник Рачинский за убийство. Посажена на четыре недели на хлеб и на воду, лишена мужней и отцовской фамилии, заклеивена буквою «У» и сослана в Сибирь жена отставного прапорщика Авдулова за убийство мужа; дочь ее, соумышленница матери, держана две недели на хлебе и воде и сослана в Сибирь. Одинакому с Авдуловой наказанию за убийство мужа подверглась подпоручица Симонова. Лишены дворянства и сосланы в Сибирь гвардии сержант Варахеев за заложенное в банк чужое имение и склонение чужого дворового человека к воровству, гвардии капрал Юрьев за ложно проданного чужого дворового человека, поручик Тяпкин за продажу беглых, прапорщик Стоханов за подложную продажу чужого человека в рекруты. О прапорщице Скрипицыной, продавшей беглого чужого человека, императрица написала: «Посадить на две недели на хлеб и на воду и, если муж взять ее к себе не пожелает, сослать в Сибирь, лиша дворянства». Помещик Култашев лишен дворянства, заклеивен и сослан в каторжную работу вечно за убийство двоих родных братьев; жена его, бывшая виновницею ссоры, окончившейся убийством, сослана в женский монастырь в работу; сын их подпоручик Прохор, который хотя и отговаривал отца и мать от злого предприятия, однако принужден был сделать невольное послушание, лишен чина и записан в солдаты до выслуги. Лишен дворянства, чинов, фамилии, выведен на эшафот, положен на плаху, заклеивен и сослан вечно в работу отставной капитан Турбин за убийство крепостной своей девушки. Сослан в монастырь на покаяние отставной провиантмейстер Нелединский за то, что сек мать свою плетми, а сестру бил палкою.

Этот длинный скорбный лист может быть объяснен скороспелым указом Петра III, которым позволялось дворянам выходить в отставку, когда захотят. На службе человек и с дурными наклонностями сдерживался дисциплиною служебною, не мог предаваться праздности, сдерживался самим обществом, в котором постоянно должен был находиться и которое необходимо расширяло его умственную сферу, увеличивало количество высших интересов, развивало его. Но теперь он имел возможность в молодых годах вырваться из-под служебной дисциплины и поселиться в деревне; из подчиненного, трепетавшего перед гневным взглядом старшего офицера, он становился полновластным господином над рабствующим, безгласным населением; чем более он был принижен на службе, ибо находился в низших чинах, тем более он должен был разнуздываться теперь; господином становился раб. Совершенная праздность, невежество, неумение заняться чем-нибудь умственно и нравственно развивающим, отсутствие общества, которое могло бы развивать, в этих отношениях вели к нравственному падению. Женщины по страстности своей природы, по легкости, с какою они поднимаются вверх и спускаются вниз, были тут еще ближе к искушению, чем мужчины. Должно прибавить, что бедность при отсутствии нравственных сдержек могла сильно побуждать к преступлениям вроде сманивания крепостных, продажи беглых, пристанодержательства. Пронский дворянский предводитель доносил Сенату, что при собрании дворян для раскидки жеребьев к поставке рекрут явилось к нему более 200 дворянских сыновей с объявлением, что усердно желают вступить в службу, но только не в состоянии явиться, где надлежит, ибо некоторые из них ни платья, ни обуви не имеют. Сенат приказал: для сохранения вольности дворянства московскому губернатору поручить, чтоб он от этих недорослей отобрал челобитные об определении на службу. Новгородский губернатор Сиверс требовал указа, что повелено будет делать с малолетними дворянскими детьми, которых отцы по бедности своей пропитать не могут; Сенат приказал определять их в гарнизонные школы на казенное содержание.

Но, приводя этот скорбный лист, мы не можем не заметить, что преступления помещиков относительно крестьян не могли быть утаены и наказывались. Относительно преступлений крестьян против помещиков любопытно решение Сената в 1769 году: когда прочтена была выписка губернаторских рапортов, которыми доносилось о происходивших от крестьян и крепостных людей против помещиков непослушаниях, смертоубийствах, разбоях и грабежах, то Сенат приказал сдать выписку в архив, потому что об отвращении таких злодейств губернаторами надлежащие распоряжения сделаны. Отметим важнейшие случаи. В 1769 году в Симбирской провинции наказаны были крестьяне села Ишевки за непослушание помещице Кротковой. В то же время воронежский губернатор доносил о непослушании владельцам Нарышкиным малороссиян, поселившихся в слободах Красовке, Елани, Рудне и Краснояровке, из которых живущие в первых двух слободах командою в послушание приведены. В 1771 году подтверждено было постановление Петра Великого о непродаже крестьян без земли; в именном указе Екатерины говорилось: учинить запрещение как конфискации, так и всем аукционистам, чтоб отнюдь от сего числа одних людей без земли с молотка не продавали, чего всем градоначальникам смотреть накрепко. Относительно приписных к заводам крестьян было определено давать им деньги за те дни, которые они употребят на дорогу к заводам; и относительно приписки крестьян

стали наблюдать осторожность, что видно из следующего решения Сената о Вознесенском медеплавильном заводе: послать указы к казанскому и оренбургскому губернаторам, чтоб они, снесясь друг с другом, представили сообщая свое мнение, какие из крестьянских государственных селений, состоящих в их губерниях, удобнее приписать к Вознесенскому заводу, в каком расстоянии от заводов и одно от другого они находятся и сколько в каждом селении душ; причем губернаторы должны объявить, как они полагают: полезнее ли перевести крестьян к заводу или только приписать; Берг-коллегии приказать донести Сенату, есть ли при Вознесенском заводе столько пашенных и сенокосных земель и других угодий, чтоб ими душ до 1000 переведенцев безнужно можно было удовлетворить; коллегия должна донести и о том, какой способ к переселению крестьян она находит удобнейшим, и какое сделать им для этого вспоможение, и на каком основании. На востоке волнений заводских крестьян не видим, но зато обнаружилось сильное волнение на западе, на Петровских Олонецких заводах.

Первою причиною к волнениям здесь было принуждение крестьян сверх обычных работ ломать еще мрамор для построения Исаакиевского собора. Эта работа была с них сложена, но другие работы были усилены. С них стали требовать поставки 1000 куч угля, тогда как кузницы могли издерживать только треть этого количества; они видели, что хотят строить четыре новые кузницы, тогда как руды на них не стало бы и на один год. Тут является между ними искатель приключений, известный банкрот Иван Назаров Елагин и начинает им внушать, что если они подадут просьбу императрице и предложат платить по три рубля с души, то будут освобождены от работы. Крестьяне поверили, послали просьбу и в ожидании ответа на нее начали отказываться от работы; это было летом 1770 года. Сенат отправил в приписные селения следственную комиссию, которая донесла, что объявляли во всех селениях сенатский указ крестьянам о неременном и безотговорочном повиновении в исполнении всех налагаемых на них работ и прилагали всевозможное старание, чтоб крестьяне повиновались указу, но они отговариваются разными причинами и в работу идти не хотят, всего более виноваты в этом регистратор Назимов и крестьянин Калистратов; комиссия оканчивала свое донесение тем, что надобно употребить какую-нибудь строгость. Сенат был недоволен этим донесением, нашел, что комиссия не вступила ни в какое настоящее рассмотрение дела по данной ей инструкции, не исследовала, действительно ли крестьяне не в состоянии отбывать работы, не исследовала, достаточно ли их число для этого отбывания, также не видно в производстве дела комиссиею того усердия, какого требует важность порученного ей следствия, и потому решил, что так как заводы и крестьяне находятся в Новгородской губернии, то и предложить губернатору Сиверсу, чтоб он как хозяин губернии отправился на место, где комиссия производится, взял ее в свое ведомство и, рассмотря причину крестьянского ослушания, прежде всего постарался всевозможными средствами привести непослушных в должное повиновение, способы же, как удобнее это сделать, Сенат возлагает на известное его благоразумие и попечение. Потом, приведя крестьян в повиновение, губернатор должен рассмотреть их жалобы и отягощения заводскими работами и в случае действительной невозможности для крестьян исправлять заводские работы должен сделать вновь обо всем надлежащее и с благосостоянием крестьян сходственное учреждение.

Сиверс не отправился на место производства следствия. В письме своем к императрице он говорит, что его оклеветали перед нею, будто бы он не хотел ехать на место следствия, тогда как он именно просился туда ехать. Немного дней спустя он получил приказание императрицы ехать на польскую границу. Несмотря на то, он рассмотрел дело и высказал свое мнение о средствах успокоить умы, но мнение это было отвергнуто с жесткостью. Сиверс оканчивает письмо словами: «Я решился молчать и молчал бы, если бы не слышал глухих жалоб, которые причины должны быть важны, если жалобы слышатся так издалека». Мнение Сиверса, пересланное им в Сенат, состояло в следующем: главная причина слушания крестьян состояла в чрезвычайно тягостном и беспорядочном наряде работников и поставке материалов в самую рабочую пору; крестьяне, лишаясь таким образом возможности снискивать пропитание от своих земледельческих занятий, пришли в отчаяние, тем более, что хотя и состоялась новая оценка для уплаты за работу на заводах, но до них известие об этом еще не дошло. Другою причиною отчаяния этого несчастного народа были непорядки правления Петрозаводской канцелярии. Третьею причиною можно принять посланную туда потом комиссию из трех разного звания людей, которые упражнялись в переписках и действовали не с тем согласием, какого можно было бы надеяться в том случае, если б отправлена была одна знатная особа. Сенат, получа это донесение, подал императрице доклад: «Хотя Сиверс о главных причинах неустройства и непослушания доносит, но так как он сам на месте не был, то Сенат мнения его утвердить не может и решает отправить туда из генералитетских чинов особу, которой поручить ту комиссию в полную дирекцию, и для этого избирает генерал-майора Лыкошина». Императрица утвердила доклад.

Это распоряжение об отправке Лыкошина было последним в 1770 году. В самом начале 1771 года генерал-прокурор получил именной указ: из прошения государственных крестьян ведомства канцелярии петровских заводов ее в-ство усмотреть изволила, что из тех же крестьян определены и к каменной ломке вновь для строения здешней соборной Исаакиевской церкви, и потому указать соизволила, что такое этих крестьян определение нимало с намерением ее в-ства не сходствует, тем более что ее в-ство и стат. совет. Кожину, представлявшему о таком распоряжении, именно отказала, повелев мраморную ломку производить вольнонаемными людьми. Но через неделю после этого Сенат слушал донесение следственной комиссии при петровских заводах, что крестьяне еще в начале 1770 года освобождены от мраморной ломки и напрасно утруждали императрицу своим челобитьем, что, как мы видели, подтверждается и письмом Сиверса.

С марта начались донесения Лыкошина. Он причиною всех неустройств, запущенных доимок и отчасти дерзости полагал то, что хотя старосты определяются по мирскому выбору, но эти выборы превратились в один обряд, а в действительности старосты определяются теми крестьянами, которые почитаются в волостях первейшими и богачами, большею частью из преданных им креатур, исполняющих потому их волю, безграмотные и такие бедные, что по начетам взыскать с них нечего; сами же богачи, управляя ими, что хотят, то и делают. В доказательство Лыкошин представил поданное ему от Шуйского погоста донесение с указанием, какую власть и силу имеет в том погосте крестьянин Коротяев. Через несколько дней после этого Лыкошин доносил, что все его старания усмирить волнующихся крестьян безуспешны, что с крестьян сказки

взяты. Из этих сказок было видно, что надворный советник Елагин брал подписку от крестьян, обнадеживая их, что представит ее в собственные руки императрицы и исходатайствует удовлетворение их желанию, чтоб вместо зарабатывания положенных на них окладов заводскими работами платить им по три рубля с души; и вообще своими разговорами Елагин подал немалый повод ко крестьянскому волнению и ослушанию; кроме того, укрывал в своей квартире приходивших в Петербург просителей, несмотря на данную им в Сенате подписку. Лыкошин требовал также отрешения полковника Винтера, который, будучи главным членом комиссии и зная поступки Елагина, не удерживал его от них. Сенат исполнил требования Лыкошина.

Вследствие безуспешности увещаний Лыкошин отправил для усмирения крестьян команду под начальством капитана Ламсдорфа. Прибыв в село Кижы, команда нашла толпу народа тысяч до пяти, вооруженную винтовками, рогатинами и другим оружием; толпа встретила команду бранью и угрозами перебить всех солдат, требовала, чтоб именной указ был прислан прямо в руки крестьян. Ламсдорф, находя свою команду слабою, принужден был отступить; крестьяне провожали отступавших верст восемь криками: «Счастливы, что стрельбы не начали!» Сенат, получив об этом известие, приказал отправить к возмущившимся капитан-поручика Ржевского с подлинным манифестом, если не будут верить печатному. Но Ржевский не должен был отдавать манифеста никому из крестьян в руки, а хранить при себе; должен был читать печатный манифест там, где будет больше волнуемого народа, не обращая внимания на многолюдность скопища и вооружение; где есть церкви, заставляя читать священников или дьяконов, а где нет, то старост в земских избах; если же будет очень много народу, то на сборных площадях, внушая всем и каждому, что преступление их было следствием научения коварных людей из их же братьи; что как скоро все придут в повиновение, то жалобы их немедленно будут рассмотрены; в противном же случае не будет им никакой милости. После этого Лыкошин уведомил Сенат, что крестьянам по жалобам их делается всякое удовлетворение. Понявши это, они 15 июня при доношении от 8990 душ подали в комиссию объявление, где говорили, что признают свой проступок, что были обмануты ложными обнадеживаниями своих же собратий, и так как теперь они приведены в лучшее положение, то обязываются быть послушными во всем. Лыкошин писал, что со времени прибытия Ржевского пришли еще в повиновение 3105 душ и безотговорочно вступили в работы; для приведения же в повиновение остающихся непослушными крестьян послан полковник кн. Урусов. И на это донесение Сенат отвечал: стараться, сколько возможно, привести в повиновение и остальных крестьян без строгости и жестокостей; все силы употребить для скорейшего рассмотрения и удовлетворения крестьянских жалоб и тем окончить все их неудовольствия. Но желание Сената не исполнилось: комиссия донесла, что кн. Урусов, прибыв с командою в Кижскую треть, сколько ни прилагал старания привести крестьян к должному повиновению кроткими средствами, цели своей не достиг, почему принужден был приказать выстрелить из пушки и лишить жизни некоторых крестьян, после чего остальные объявили себя послушными и уже вступили в работу.

Сиверс не переставал ходатайствовать за крепостных крестьян; он писал императрице: «Позволение, данное дворянам посылать на поселение, кого им

угодно, из своих крестьян, причем судья не смеет спрашивать: за что? – это позволение производит ежедневно трогательные зрелища. Крестьянин, которого нельзя сдать в рекруты по малому росту или другому какому-нибудь недостатку, должен отправляться в ссылку в зачет будущего набора, которого помещик боится в будущем году, и многие даже продают эти квитанции. Признаюсь, не проходит дня, чтоб сердце мое не вооружалось против такой привилегии. Сибирь выигрывает относительно мало, если обратить внимание на расстояние и потери в людях на дороге». Сенат принял другую меру для заселения Сибири. Он сделал запрос Коллегии экономии, сколько в Московской провинции таких экономических сел и деревень, которых жители имеют недостаток в земле, и сколько из них в другие места выселить можно. Коллегия отвечала, что она представит об этом немедленно по собрании справок, прибавив, что и по одному Московскому уезду оказывается значительный недостаток в землях. На это Сенат приказал: предписать Коллегии экономии, чтоб она представила как можно скорее сведение, сколько крестьянских семей за недостатком земель можно выселить в Сибирь, чтоб Сенат мог основательно донести императрице, как удобнее заселить ими нужные места в Сибири и как, напротив того, мало пользы может принести прием на поселение помещичьих людей и крестьян, когда бы он возобновился.

Заводские крестьяне волновались, жалуясь на невыносимую тягость работ, и в то же время крестьяне, бегавшие от разного рода тягостей, находили убежище на заводах. Серпейская воеводская канцелярия доносила, что на заводах Демидова явно принимают и содержат в работе беглых, а притом дают им и подложные паспорта.

В городах не было спокойно. Новгородский губернатор Сиверс донес Сенату об обидах, озорничествах, побоях и убийствах, причиненных разным помещикам тихвинскими жителями. Сенат приказал назначить следствие и прибавил: так как из этого представления и из прежних дел усматривается, что такое неустройство, драки и убийства происходят от колокольного набата, производимого безо всякой нужды и без дозволения властей, тогда как звон в набат позволяется только в случаях пожаров, неприятельских и разбойничьих нападений, то обнародовать указы, чтоб впредь, кроме означенных случаев, никто не смел бить в набат при начале частных ссор и драк. Подполковник Рязанов, посланный с командою для доставления в Саратов подрядных лесов для колонистов, подал жалобу, что на дороге в Сызрани городские жители прибили его, ограбили и сожгли бывшие при нем бумаги. Но в то же время поступили доношения от сызранских купцов, пахотных солдат и городского депутата, что Рязанов и команда его сильно обижали граждан, позволяя себе насилия над женщинами и девицами. Смоленский губернатор доносил, что в Вязьме у тамошнего купечества и магистратских присутствующих происходят большие ссоры и драки с находящимися там воинскими чинами; кроме того, откупщик Барышников жалуется на учрежденного там от купечества под магистратским ведомством полицейского старосту Зуева, который поступает против заключенного с Барышниковым контракта, попускает купцам производить многие драки для защиты корчемников. Для прекращения этого губернатор предлагал не раз вяземскому магистрату сдать полицейское управление воеводскому товарищу, который будет зависеть от губернатора, но магистрат не слушается и употребляет в своих представлениях неприличные выражения и нарекания, относящиеся к

нему, губернатору. В то же время вяземский магистрат, жалуясь на губернатора, просил оставить полицейское управление в своем ведомстве по силе магистратского регламента. Сенат решил: довольно видны вяземского магистрата губернатору слушания, укоризны и дерзкие выражения, лицу и власти губернатора как хозяина в губернии неприличные, и для того послать указ в главный магистрат об отрешении настоящих членов вяземского магистрата и определения на место их других по выбору тамошнего купечества, причем Главный магистрат должен нарядить от себя нарочного депутата для произведения следствия над смененными; других следователей должен назначить губернатор. Дерзость вяземского магистрата состояла в том, что он писал к губернатору, как три раза доносил ему о незаконных высылках вина и причиненных Барышниковым двоим купцам разорениях, о других обидах и неплатеже положенного оклада; но губернатор оправдал во всем Барышникова и поручил полицейское управление вяземскому воеводскому товарищу Богданову, большому приятелю Барышникова, на что магистрат не согласился и послал просьбы в Главный магистрат и самый Сенат.

Но далеко не так остался доволен Сенатом белгородский губернатор Фливерн в столкновении своем с членами курского магистрата. Фливерн жаловался, что курский магистрат не допустил записаться в купечество и в цех курских однодворцев, которые уже устроили кожевенные заводы, сапожное и другие ремесла; губернатор просил наказать членов курского магистрата и подтвердить Главному магистрату, чтоб в приписке этих однодворцев в цех не было запрещения. Но Сенат решил: так как из показанных с обеих сторон обстоятельств он не находит побудительных причин к наказанию курского магистрата, напротив, представляемые последним основания находит справедливыми, то означенных однодворцев, исключая из цехов, возвратит опять в прежнее состояние, и так как подобные дела по существу своему принадлежат исключительно магистратам, то губернатору вперед отнюдь в них не вступаться.

Из Каргополя пришло известие, что там страшные беспорядки между купечеством, по соляному сбору и по прочим делам упущения и казнокрадства; купцы били тирански секретаря Пятницкого, и когда губернатор назначил следствие, то доноситель копиист Попов найден в реке с камнем на шее; а крестьяне, одобряя воеводу, товарища его и секретаря, просили, чтоб купеческим затейным просьбам не верить, купцы несправедливо показывают, будто воевода, товарищ его и секретарь притесняли крестьян. Рыльская воеводская канцелярия доносила, что тамошние купцы Выходцевы, собравшись многолюдством, не пустили к себе команду, посланную для выемки у них корчемного вина, и вообще делают откупщикам многие обиды и озорничества, а рыльский магистрат, потворствуя им, нужных к следствию людей не присылает.

Продолжавшиеся жалобы на мироедов по-прежнему обличали слабость городской общины, недостаточную еще способность к самоуправлению. Гжатские купцы Санбуровы, Гурьев и Емельянов жаловались на присутствующих тамошней ратуши, что они завладели принадлежащими купечеству землями; с тех амбаров и лавок, которыми владеют, десятой части в казну не платят; места отводят под поселение неудобные; в торгах делают препятствия; двоих капитальных купцов по злобе отдали на поселение с зачетом в рекруты. Тамбовские купцы Иван Меньшой Кузьмин, Василий Расторгуев, Матвей Бородин и Григорий Беляев

доносили, что бургомистр тамбовского магистрата Толмачев тамбовским купцам Бородиным, Расторгуевым и Беляеву дал аттестаты для их торговых промыслов и подрядов не против их капиталов, но с большим излишеством и теперь из тех купцов Расторгуев поехал для откупа питейных сборов. Сенат приказал: 35 человек тамбовских купцов показали, что аттестаты подписаны Толмачевым без согласия всего купечества, единственно только потому, что Бородин и Расторгуев без совету прочих купцов, ходя по домам и лавкам, собирают подписки, чтоб быть Толмачеву бургомистром, чего купечество не желает; следовательно, заключает Сенат, нельзя увериться, чтоб означенные аттестаты были справедливы, тем более что и по нынешнему содержанию упомянутыми купцами питейных сборов состоит на них доимки около 9000 рублей; так как поэтому к торгам питейных сборов их допускать сомнительно, то пусть Главный магистрат рассмотрит немедленно, аттестаты им даны согласно ли камер-коллежскому регламенту.

Мы видели, что с самого начала войны внутренняя охрана была ослаблена, вследствие чего надобно было ожидать умножения разбоев. Лихвинская воеводская канцелярия дала знать о разбитии 7 человек купцов разбойнической шайкою в 30 человек. Вслед за тем Сенат получил известие, что по рекам Волге, Каме и Белой оказались великие разбои, железным караванам Демидовых и Твердышева чинятся грабежи и находящимся на них людям разные мучительства; Сенат приказал казанскому и нижегородскому губернаторам препятствовать и ловить, но легко ли было исполнять приказание? Около Саратова в колониях явились разбойничьи шайки, двух человек убили, несколько селений с хлебом и скотом сожгли, грозя и вперед делать то же. На Каме насчитывали 14 разбойничьих шаек, в каждой от 7 до 15 человек. Разбои начались в Шатском и Касимовском уездах и в Темниковском лесу. Так было в 1769 году. В следующем 1770 казанский губернатор донес, что по рекам Вятке, Каме, Волге и Суре весною появились разбойничьи многолюдные шайки, которые убивают и разоряют обывателей, для поимки отправлены команды и 38 разбойников поймано. Осенью разбойники напали на Фролищеву пустынь (Владимирской епархии), всю разграбили, строителя били мучительно, допытываясь денег. Тогда же получены были известия о разбоях в Слободско-Украинской, Воронежской губернии, в Уфимской и Галицкой провинциях. Потом появились в Балахне, в Тамбовском уезде. Сила и дерзость их дошла до того, что они напали на Кайгород, разорили и пожгли обывательские дома, пограбили деньги соляного сбора.

Но недостаточность войска для охранения порядка всего яснее оказалась в Москве во время бедствия, причиненного также турецкою войною. Мы видели, что русское войско по вступлении в Молдавию встретило там врага гораздо опаснее турок – чуму. В конце лета 1770 года она перешла русские границы, быстро распространилась по Малороссии, начала появляться и на границах Великой России, в Севске и Брянске. Московскую губернию с юга окружили заставами, приняли обычные карантинные меры, велено было и самую Москву обнести палисадником или рогатками, но последняя мера осталась без исполнения. В конце года (17 декабря) чума появилась в отдаленной части Москвы, в Лефортове, в малом госпитале, находившемся на Введенских горах. Главный доктор госпиталя Шафонский дал знать медицинской конторе об опасной болезни, дал знать и обер-полицеймейстеру Бахметеву, а тот донес главнокомандующему в столице графу Петру Семен. Солтыкову, что, по словам

доктора, с 17 декабря в госпитале умерло 14 человек опасною болезнью и двое больных остаются. 22 декабря Солтыков писал императрице: «Имеющий дирекцию над госпиталью генерал-майор Фаминцын приехал только сегодня поутру и подал рапорт, ничего значащий и что у них ничего опасного нет. В. и. в-ство изволит усмотреть из рапортов обер-полицеймейстера, да и от медицинской конторы, что зараза уже началась в ноябре месяце. Фаминцын все знал и для чего таил? Г. обер-полицеймейстер – человек весьма проворный и рачительный; я бы желал, чтоб все здешние правители так были исправны и мне в таких нужных обстоятельствах помогали».

В тот же самый день, 22 декабря, собрали совет из медиков – Эразмуса, Шкиадана, Кульмана, Мертенса, фон-Аша, Венеманова, Зыбелина и Ягольского; единогласно было решено, что болезнь должно считать моровою язвою. То же самое доктор Мертенс подтвердил Солтыкову и советовал ему оцепить госпиталь, что и было исполнено. 25 декабря, донося об этом распоряжении, Солтыков писал императрице: «Не надеясь на себя, призывал я доктора Мертенса и требовал его совету, который мне и дал на все то, что уже сделано; кроме того, он требует, чтоб въезд в Москву всем запретить, что никоим образом сделать невозможно: в таком великом городе столько людей, кои питаются привозным харчем, кроме помещиков, и те получают из своих деревень; товары к портам везут через Москву; все – мясо, рыба и прочее – все через здешний город идет; низовые города – Украина – со всех сторон едут; воспретить невозможно. Из Украины же проезд, кажется, необходим: кроме курьеров армия требует многого, необходимо посылать должно кого для подрядов и приему вещей в полки».

Наступил 1771 год. Из Москвы стали приходить успокоительные известия; 4 января Солтыков писал: «Ныне она болезнь утихает, холодное время немало тому способствует, уже несколько дней на Введенских горах более о ней не слышно. Приезжающих из опасных мест велено везде гвардии офицерам накрепко осматривать; но из едущих ни один не имеет нималого виду, хоть бы билет или паспорт; здесь же, около Москвы, от полиции заставы, а как ныне зима, все рвы снегом занесло, то везде переезды, а конного разъезда учредить не из чего, ибо и последний полк почти весь в расходе». 15 января главнокомандующий доносил: «В госпитале на Введенских горах, где было оказалась язва, и там все кончилось. О болезни же прямо донести не могу, там была или нет, пока же, кроме двух подлекарей, кои и ныне там заперты, никто там не бывал. Главного госпиталя доктор (Шафонский) просил медицинскую контору, чтоб освидетельствовать, но ни один доктор не поехал, и рассуждали заочно. Ныне я призывал здешнего физика (Риндера) и посылал туда; он ездил, но только с госпитальным доктором через огонь говорил, и тот его упрекал, что по многим посылкам ни один не был».

Холода прекратили болезнь; но вот уже февраль, начинает таять, с теплом язва может вернуться; и Солтыков предлагает против этого меры. 7 февраля он пишет императрице: «Весна приближается; не изволите ли приказать всех больных (т.е. из госпиталя) из Москвы вывести по разным монастырям верст от 15 до 50 по малому числу в каждый, отрядив лекарей, что монастырям никакой тягости не учинит, ибо малое число больных будет на чистом воздухе, а Москва и без госпиталей довольно нечистот имеет, оный же госпиталь весьма в неудобном месте, вверху Яузы, откуда нечистота идет в город. Не худо бы и праздношатающихся из города к весне убавить: город людный, строение мелкое и

тесное». Императрица не согласилась на перемещение больных в окрестные монастыри, и Солтыков от 28 февраля дал знать, что главный госпиталь от караула освобожден и больных туда принимать велено; в малом же госпитале на Введенских горах два покоя, где была заразительная болезнь, а с прочими находящимися в той же связи ветхими и почти ничем не стоящими покоем, со всем, что в них было, сожжены по совету генерал-кригс-комиссара Глебова и обер-полицеймейстера Бахметева.

В то время как огонь истреблял ветхое строение малого госпиталя на Введенских горах, язва похищала свои жертвы в самой середине Москвы. 13 марта Солтыков донес: «Сего марта 10-го получил я от доктора Ягельского рапорт о оказавшейся в Большом суконном дворе, что близ Каменного моста на берегу Москвы-реки, прилипчивой болезни, коею померло с января месяца по нынешнее число 123 человека да больных осталось 21». Солтыков послал туда пять врачей, которые по осмотру заключили, что болезнь есть гниющая, прилипчивая, заразительная и очень близко подходит к язве. В Москве, как мы знаем, с 1763 года было два департамента Сената, пятый и шестой, которым принадлежало принятие мер в важнейших случаях. Главнокомандующий созвал всех сенаторов, и решили: 1) хотя больных по монастырям развести указом ее и. в-ства и не позволено, однако по крайней нужде надобно всех больных вывести из Суконного двора в Угрешский монастырь (на что согласился и московский архиепископ Амвросий); 2) здоровых всех вывести в наемный дом за Мещанскою улицею в поле, определяя к ним лекаря и оцепив их; 3) покинутый Суконный двор оцепить. Но прежде чем были приняты эти меры, около 2000 фабричных с Суконного двора разбежались и стали жить по всему городу, вследствие чего уже поднято было на улицах несколько трупов. Доктор Ореус и штаб-лекарь Граве, наблюдавшие чуму на юге в армии, донесли Солтыкову, что на московских больных те же самые знаки, какие они видели на чумных в Хотине. Солтыков объявил об этом сенаторам московских департаментов, и было решено: как содержащихся в карантинных домах, так и ушедших с Большого суконного двора фабричных с их хозяевами, у которых они имели пристанище, перевести в три монастыря, отдаля больных от здоровых, и действительно зараженных язвою поместить в Угрешском монастыре; служителей, назначенных к отводу опасно больных, также медиков одеть в приличное платье, которое бы предохранило их от опасности. Чтоб фабричные на св. неделе не шатались по городу и не сообщались с бежавшими с Суконного двора, всем фабрикантам объявлено, чтоб они всю неделю не пускали своих рабочих с фабрик. Пока укрывшиеся с Большого суконного двора фабричные не будут собраны и не восстановится безопасность, во всем городе закрыть торговые бани; внутри города запрещено погребать вообще умерших.

Получив эти известия, императрица приказала предложить Совету следующие меры, чтоб, сколько возможно, остановить распространение заразы: 1) установить карантин для всех выезжающих из Москвы верстах в тридцати от этой столицы как по большим, так и проселочным дорогам; 2) Москву, если возможность есть, запереть и не впускать никого без дозволения гр. Солтыкова; 3) обозы со съестными припасами останавливать в семи верстах от Москвы в назначенных местах: сюда московским жителям приходиться и закупать то, что им нужно, в назначенные дни и часы; 4) на этих местах московская полиция должна между покупателями и продавцами разложить большие огни и сделать надолбы;

должна наблюдать, чтоб городские жители до приезжих не дотрогивались и не смешивались вместе, деньги обмакивать в уксус; 5) московский архиерей должен по отправленному из Синода формуляру приказать читать по церквам молитвы о прилипчивой болезни во всей своей епархии, дабы народ еще больше остерегался от опасности; то же велеть делать во Владимирской, Переяславской, Тверской и Крутицкой епархиях. Для города Петербурга установить на Тихвинской, Старорусской, Новгородской и Смоленской дорогах во ста верстах карантин, хотя семидневный, и если не окажется болезни, то пропускать, окуривая людей и вещи, обмакивая в уксус письма и прочее, как положено будет. Тотчас после просушки вывести все воинские команды в лагерь не в ближнем и не в дальнем расстоянии от города, всякий полк или команду особо, и для того заранее выбрать места и дать повеления. Хорошо было бы, если бы и морское начальство то же сделало. Под воинскими командами разумеются здесь и полки гвардии. Совет, рассуждая об этих мерах, решил представить императрице, не угодно ли будет в Петербурге назначить особу, которая была бы в состоянии независимо от предписаний своею расторопностию принимать все нужные меры: В ведении этой особы будут заставы, которых всего лучше устроить три: в Чудове, Бронницах, Твери и Ладобе; что же касается Москвы, то пункты ее в-ства послать фельдмаршалу Солтыкову с тем, что «сие предписание предподается яко способы ко употреблению по усмотрению на месте, поелику распространение болезни требовать будет по оным исполнения».

В то же заседание Совета 28 марта приглашены были доктор Ореус и московский губернатор Юшков. Первый объявил, что по долгу и званию своему признает болезнь заразительною и что сам больных осматривал. Юшков донес, что московские медики на этот счет между собою не согласны.

Императрица согласилась со мнением Совета, и карантинное устройство было поручено генерал-поручику гр. Брюсу. Совет еще прежде, 21 марта, рассуждал, что по старости гр. Солтыкова охранение Москвы от заразы надобно поручить кому-нибудь другому, но остановился затем, что это будет предосудительно главному командиру. Но императрица не остановилась, и распоряжение всеми мерами против чумы в Москве было поручено генерал-поручику сенатору Петру Дмитр. Еропкину.

Солтыков признавал необходимость внутренних мер очищения Москвы как от зачумленных, так и от условий, благоприятствующих распространению заразы, но по-прежнему стоял против оцепления столицы как невозможного по ничтожному количеству войска, крайне стеснительному и могущему потому повести к волнениям. Он писал императрице 4 апреля: «В установлении карантина для всех выезжающих, кажется, надобности нет, а более в том неудобство; также въезд в Москву запретить весьма опасно: почти весь город питается покупным хлебом; ежели привозу не будет, то будет голод, все работы станут, за семь же верст никто не пойдет покупать, а будет грабить; и без того воровства довольно. Москву запереть способу нет, городу нет, Белый разломан, войска нет, кем окружить? Лучше, чтоб разъезжались по деревням на чистый воздух, в городе тесноты менее будет».

Солтыкову не понравилось назначение Еропкина, что видно из письма его от 21 апреля: «Как по повелению в. в-ства все оное поручено генерал-поручику сенатору Еропкину, предосторожности же все сначала взяты, кажется, больше

нечего делать, только ему остается наблюдать учрежденное, того ради все от меня ему попечение поручено, только чтобы меня уведомлять в известие».

Между тем ход болезни в Москве был такой: от 7 апреля Солтыков доносил, что, кроме Угрешского и Симонова монастырей, умерших и больных нет. 18 апреля писал, что выведено из Москвы фабричных в Симонов, Данилов и Покровский монастыри 943 человека обоего пола. 25 мая в Петербурге в первом департаменте Сената читалось ведение московских департаментов, что так как теперь большая часть работников, бежавших с Суконного двора в карантин, уже собрана и несысканных осталось очень немного, то в удовольствие обществу разрешено топить бани. 30 мая Солтыков прислал утешительное известие, что в карантинных монастырях умерших и вновь заболевших никого нет, только в Угрешском 9 человек больных. Поэтому последовал указ императрицы распустить фабричных, содержащихся по карантинам в Покровском и Даниловом монастырях, и позволить им жить всюду по частным квартирам, что и было исполнено. Но с двадцатых чисел июня в Симонове монастыре опять появилась язва: умерло 10 фабричных, заболело 6. С этих пор болезнь начала усиливаться. Еропкин действовал неутомимо, сделал все, что мог, учредив крепкий, по-видимому, надзор за тем, чтоб каждый заболевший немедленно препровождался в больницу, или так называемый карантин, вещи, принадлежавшие чумным, истреблялись немедленно; но ни Еропкин, никто другой не мог перевоспитать народ, вдруг вселить в него привычку к общему делу, способность помогать правительственным распоряжениям, без чего последние не могут иметь успеха; с другой стороны, ни Еропкин, никто другой не мог вдруг создать людей для исполнения правительственных распоряжений и надзора за этим исполнением – людей, способных и честных, которые бы не позволяли себе злоупотреблений. Жители Москвы не столько боялись чумы, сколько больниц, или так называемых карантин, и потому скрывали больных, не объявляли о них начальникам, которых Еропкин поставил в каждой части города. Другие, оставляя больных одних в домах безо всякой помощи и попечения, сами разбегались и разносили повсюду болезнь и ужас. Иные скрытно выносили из домов мертвых и кидали на улице для того, чтоб не лишиться зараженных пожитков и не подвергнуться осмотру назначенных для того людей. Какого же рода злоупотребления позволяли себе последние, это обозначено в манифесте императрицы: «Наша воля есть, чтоб при осмотре домов и при вывозе в карантин и тако на месте со всеми поступлено было со стороны начальников и приставленников со всем возможным человеколюбием и попечением и чтоб всякий по своему состоянию все к жизни нужные выгоды имел. Всякое же угнетение, утеснение, грубость и нахальство всем и каждому запрещаем употребить, наипаче же паки и паки наистрожайше запрещаем всем начальникам и подчиненным брать взятки, вынуждать у кого бы то ни было деньги и лихоимствовать под каким бы то предлогом ни было как при осмотрах, так и при выводе в карантин... Слух же есть, что таковых беспорядков много ныне на Москве».

От 2 августа Солтыков писал, что в доме у самого Еропкина оказалась чума и потому этот генерал отказывается от исполнения своих обязанностей; Еропкин писал Брюсу, что с таким малым числом людей, какое у него, нет возможности действовать с успехом. Совет решил послать Еропкину рескрипт с убеждением

остаться при должности, несмотря на то что чума оказалась у него в доме; решил также назначить в помощь Еропкину сенатора Собакина и, кроме того, отправил к нему из Петербурга 12 человек гвардейских офицеров для исполнения его поручений. Московский медицинский совет представил о необходимости в кабаках продавать вино из окон, не впуская покупателей в двери, перевести экономическую слободу, построенную подле Земляного вала, выбрать из хороших господских людей в десятские для ежедневного осмотра домов; для погребения умерших от чумы и к отвозу зараженных в больницы употребить каторжных. В Петербурге Совет одобрил все эти меры, кроме последней, соглашаясь на употребление каторжных только разве для копания могил. Тогда же запрещено было вывозить из Москвы какие бы то ни было товары, зараженные дома велено окуривать преимущественно серою; едущие в Петербург курьеры должны были объезжать Москву.

Мы видели, что весною оцепление Москвы было предложено Солтыкову на его благоусмотрение, во сколько этого будет требовать распространение болезни, и тогда Солтыков признал оцепление бесполезным и невозможным. Но теперь при усилении болезни, ввиду опасности, которая грозила другим областям и Петербургу, императрица сочла необходимым предписать московскому начальству это оцепление. 25 августа, присутствуя в Совете, она объявила, что «хотя не надеется, чтоб была в Москве действительная язва, но за потребно почла, однако ж, принять все к истреблению продолжающейся там болезни меры, дабы не быть ответственною в упущении оных». Солтыков и тут не соглашался на оцепление. 30 августа он писал: «Карантины ныне учреждать нужды не видится, да уже и поздно: из Москвы почти все выехали, да и подлость вся бежит, маркитантов и хлебников мало осталось, и все боятся карантин, магазейнов запасных нет, никто в город не едет, не без опасности голоду, зима приходит, дров не везут, народ уже и так уныл и обробел, карантины здешнему народу всего тяжеле, уже несколько и грозились на заставы». Московские сенаторы разделяли взгляд фельдмаршала и представили императрице о невозможности оцепления Москвы, ибо тому препятствуют положение города, состояние домов, жителей, их нравы и обычаи. 5 сентября Екатерина сама принесла в Совет только что полученные из Москвы реляцию Солтыкова и доклад московских департаментов Сената о невозможности оцепления, также письмо Еропкина к Брюсу, где говорилось, что в Москве в двое суток умерло опасною болезнью 207, а другими болезнями – 615 человек. Совет определил предписать Московскому сенату и тамошнему начальству: 1) что карантинные дома необходимы, и потому не только надобно оставить все прежние, но учреждать и новые, причем обнародовать, чтоб все жители объявляли тотчас частным надзирателям о больных для медицинского освидетельствования и отдаления заболевших, если болезнь окажется опасною или сомнительною; что всем тем, которые будут это исполнять, отдается на волю идти в карантин или оставаться дома, не сообщаясь, однако, ни с кем в продолжение 16 дней, но утаивающие о болезни непременно будут отвозимы в карантин; для одной комнаты, где кто умрет опасною болезнью, целые дома не запирают, особенно когда строение разделено на части; 2) карантинные около Москвы заставы также нужны для охранения всей империи и должны быть учреждены по всем дорогам из Москвы в первых от Камер-коллежского вала селениях; 3) отнюдь не надобно впускать в Москву приходящие из других мест с

запасами обозы, а определять им места вне Камер-коллежского вала, где они от городских жителей должны быть отделены еще надолбами, и торг должен производиться в присутствии полиции; 4) харчевники, хлебники и квасники – одним словом, все торгующие съестным не могут считаться праздными и излишними в городе людьми, а потому и нельзя их оттуда выпускать свободно, особливо в таком бедственном состоянии; нужно по крайней мере, собравши там остающихся, распределить их на части и установить между ними старост, которые бы за ними смотрели и за них отвечали; 5) хотя и нельзя ожидать, чтоб теперь в Москве мог случиться недостаток в съестных припасах, потому что обыкновенно там все запасается от зимы до зимы, а теперь тем более быть может достаточно, что значительная часть жителей разъехались по другим местам, однако на случай крайности можно сделать наряд поставки туда припасов с ближних городов и селений и назначить места этим подвозам, где бы высылаемые из города, платя им деньги по обыкновенной цене, принимали от них припасы.

Императрица сама сочинила ответ Московскому сенату в опровержение его мнения о невозможности оцепления Москвы. «За первый долг, – говорилось здесь, – почитаем мы пред богом и от него нам вверенным народом иметь попечение о благополучии и здравии наших верных подданных. И для того и при нынешних трудных обстоятельствах не с унылым духом, но с душою, наполненною памятованием о должности своей и любви к государству, с духом, который в печали своей о теперешних московских обстоятельствах не может находить спокойствия и утешения в пустых сожалениях и вздыханиях, но находить отраду, единственно ища с бодростию и предписуя с твердостью все те меры и осторожности, кои человеческий смысл может только привести в память, для пресечения в столице нагубы рода человеческого и для предостережения, чтоб далее в империи не распространилась. Из сих источников вышли те предписания, кои наш Сенат находит неудобными. Мы ведаем из опытов, что, бесспорно, великая препона быть может скорому учреждению наших предписаний обширность города, но мы притом же ведаем, что наипаче вредно оставлять полезное учреждение для того, что трудно его учредить. Состояние домов, нравы, застарелые обычаи преумножают трудности по причине той, что надлежит входить в подробности, дабы сравнивать с одной стороны выгоды и покой жителей с ненарушимостию того, что установить желается. Но как для порока или слабости, какого бы то звания ни были, не должно отстать, еще менее уничтожить доброе и полезное учреждение, то и в нынешнем случае надлежит преодолеть препятствия, а не ими страшаться и наипаче стараться, чтоб исполнители честные точно, бескорыстно и усердно исполняли всякий то, что ему поручено, за чем начальники смотреть имеют накрепчайше; да и не токмо они, но и всякий в правительстве участвующий, ибо все присягою и честью обязаны всякий вред пресечь и всякому добру подать руку помощи для истребления зла, вредящего обществу, следовательно, самому ему. Не ныне нам ослабевать и опускать обремененные руки для собственного покоя, но да приложат всякий смысл помогать учреждению, сделанному для общей безопасности от мора».

Между тем в Москве 1 сентября Еропкин предложил сенаторам: не угодно ли будет для скорейшего истребления заразной болезни московскому купечеству приказать, чтоб оно для занемогающих купцов учредило по возможности на свой кошт карантинные дома и лазареты. Приказали: призвать в

Сенат из Московского магистрата президента и с ним лучших первостатейных купцов человек с 10 и, объявляя им упомянутое предложение, увещевать, чтоб они согласились принять на свой кошт учреждение карантин и лазарета; кроме того, склонять через полицию и других слободских обывателей, не пожелают ли и они учредить карантин и лазарет на свой счет. Потом Еропкин предложил, что по множеству умирающих от заразной болезни осужденных на поселение преступников, назначенных для вывоза и погребения тел, слишком мало, и потому, так как теперь работа на фабриках прекратилась, не угодно ли будет Сенату определить для этого фабричных в каждую часть по 20 человек с платою по 6 коп. на день. Сенат согласился. Этот Сенат состоял кроме самого Еропкина еще из трех членов: Собакина, графа Ив. Воронцова и Рожнова; но тогда же, 1 сентября, Собакин, назначенный, как мы видели, помощником Еропкина, объявил, что у него в доме оказалась на людях опасная болезнь, почему он больше не будет исполнять порученной ему комиссии и присутствовать в Сенате. На другой день, 2 сентября, в Сенате присутствовали трое: кн. Козловский, Рожнов и Еропкин; и последний сообщил печальное известие: во время осмотра доктором Шафонским и гвардии капитаном Волоцким в Лефортовской слободе опасно больных и умерших госпитальный комиссар поручик Кафтырев, Вотчинной коллегии канцелярист Прытков, конторы строения домов и садов капрал Раков, отставные конюхи Петров и Пятницкий, собравшись большою толпою, наглым и дерзким образом не допустили Шафонского и Волоцкого до осмотра, крича, будто Шафонский и другие лекари дают в госпитале больным и здоровым порошки с мышьяком и от них заражаются жители тамошних слобод. Сенат приказал Кафтырева содержать две недели на хлебе и на воде, других наказать плетьюми. Обер-полицеймейстер Бахметев донес, что при запечатании на Красной площади ларей со старым платьем, которым про изводится торговля, один из продавцов, синодальной конторы солдат, бросил из-за людей камнем и проломил голову солдату, и хотя продавцы ветошь и были схватываемы, но по малочисленности команд всегда их отбивали разных чинов люди. Сенат приказал высечь плетьюми солдата синодальной конторы.

Купцы согласились на предложение Еропкина; за ними выступили раскольники. Они подали Еропкину записку за руками, в которой просили позволить им купить или построить против Преображенского в Земляном валу карантин и содержать его на свой счет, только с тем чтоб все они освобождены были от докторских осмотров и офицерских распоряжений. Двое из просителей – Пимен Алексеев и Иван Прохоров – были введены в Сенат, где им объявлено, что больницу в означенном месте им построить можно, но уволить от докторских осмотров и офицерских распоряжений нельзя. Просители согласились. В этот день, 7 сентября, в Сенате присутствовали четверо: Рожнов, Похвиснев, кн. Козловский и Еропкин. 12 сентября присутствовали только трое: Рожнов, Еропкин и сам фельдмаршал Солтыков; на другой день, 13 числа, Солтыков приехал в Сенат и опять застал только двоих – Рожнова и Еропкина.

Старик не выдержал и 14 числа отправил императрице отчаянное донесение: «Болезнь уже так умножилась и день ото дня усиливается, что никакого способу не остается оную прекратить, кроме чтобы всяк старался себя охранить. Мрет в Москве в сутки до 835 человек, выключая тех, коих тайно хоронят, и все от страху карантин, да и по улицам находят мертвых тел по 60 и более. Из Москвы

множество народу подлого побежало, особливо хлебники, калачники, маркитанты, квасники, и все, кои съестными припасами торгуют, и прочие мастеровые; с нуждою можно что купить съестное, работ нет, хлебных магазинов нет; дворянство все выехало по деревням. Генерал-поручик Петр Дмитр. Еропкин старается и трудится неусыпно оное зло прекратить, но все его труды тщетны, у него в доме человек его заразился, о чем он меня просил, чтоб донести в. и. в-ству и испросить милостивого увольнения от сей комиссии. У меня в канцелярии также заразились, кроме что кругом меня во всех домах мрут, и я запер свои ворота, сижу один, опасаясь и себе несчастья. Я всячески генерал-поручику Еропкину помогал, да уже и помочь нечем: команда вся раскомандирована, в присутственных местах все дела остановились и везде приказные служители заражаются. Приемлю смелость просить мне дозволить на сие злое время отлучиться, пока оное по наступающему холодному времени может утихнуть. И комиссия генерал-поручика Еропкина ныне лишняя и больше вреда делает, и все те частные смотрители, посылая от себя и сами ездя, более болезнь развозят. Ныне фабриканты делают свои карантинны и берут своих людей на свое смотрение. Купцы также соглашаются своих больных содержать, раскольники выводят своих в шалаши». Не дожидаясь ответа на свою просьбу, того же 14 сентября Солтыков уехал в подмосковную на два дня. Разумеется, этот поступок оправдать было нельзя; он объяснялся тяжким положением начальника при чувстве своей беспомощности, одиночества: все разъезжаются, мог думать старик, бросают свои должности, оставляют меня одного, но что я один сделаю, чем помогу? Распоряжается всем Еропкин, он останется, а я вздохну два дня на чистом воздухе. Разумеется, его двухдневное отсутствие не было бы замечено, если бы на другой же день отъезда фельдмаршала, 15 сентября, не произошел в Москве бунт.

Бунт сопровождался страшным, отвратительным, небывалым явлением – убийством архиерея.

В 1767 году умер московский митрополит Тимофей, принадлежавший к числу людей, которых называют добрыми и этим словом отделяются от более точного определения характера. При добром митрополите сильная власть у консистории, ее злоупотребления – понаровка явлениям непозволенным, понаровка из-за взяток. Преемником Тимофея был Амвросий Зертис-Каменский, человек с другим характером. Энергический Амвросий, знавший хорошо московские беспорядки, потому что перед этим был архиереем крутицким, следовательно, жил в Москве, решился искоренить эти беспорядки, дать силу регламентам, указам – предприятие трудное, потому что одним из главных источников беспорядков была крайняя бедность белого духовенства. Обязательная женитьба в ранней молодости условливала многочисленное семейство, обеспечить содержание которого, обеспечить приличное воспитание детей – задача тяжелая и для государства побогаче России; отсюда искание средств жизни с ущербом достоинства, отсюда та алчность, которую издавна так легкомысленно порицали, над которою так жестоко смеялись в литературе, не давая себе труда объяснить явление. Амвросий ввел порядок в консистории, ибо за нарушение порядка предстоял «штраф цепью, скованием в железы и вычет жалованья без всякого послабления»; кто не хотел подчиняться новым порядкам, того немедленно удаляли. Амвросий запретил вступать в брак молодым людям

духовного звания, не кончившим богословского курса, не выдержавшим экзамена у преосвященного, запретил духовенству меняться домами и переходить от церкви к церкви, исходатайствовал у Синода возобновление указа Петра Великого, чтоб духовенство не тратилось на покупку своих домов, а имело дома церковные. Особенно остался памятен Амвросий своим гонением на так называемых крестцовых попов в Москве: он усмотрел, что «в Москве праздных священников и прочего духовного причта людей премногое число шатается, которые к крайнему соблазну, стоя на Спасском крестце для найму к служению по церквам, великие делают безобразия, производят между собою торг и при убавке друг перед другом цены вместо надлежащего священнику благоговения произносят с великою враждою сквернословную брань, иногда же делают и драку. А после служения, не имея собственного дому и пристанища, остальное время или по казенным питейным домам и харчевням провождают, или же, напившись допьяна, по улицам безобразно скитаются». Старики передавали нам, что у этих крестцовых попов был такой обычай: стояли они с калачами в руках, и когда нанимающий служить обедню давал мало, то они кричали ему: «Не торгуйся, а то сейчас закушу!» (т.е. калач, и тем лишусь способности служить обедню).

Легко понять, что такой архиерей, как Амвросий, не мог приобрести расположения в низших слоях московских жителей, среди которых, с одной стороны, явления, им гонимые, не производили большого соблазна, а с другой – среди этих именно слоев накоплялись жалобы на строгого архиерея и принимались с сочувствием по самой близости обиженных к этим слоям. Амвросий должен был знать, что его не любят и кто собственно не любит, и нерасположение, естественно, вызывало нерасположение. При таких-то отношениях Амвросию доносят, что у Варварских ворот на площади происходит безобразное явление, против которого так гремит духовный регламент, так вопиет просвещенный век. У Варварских ворот на стене был давно образ богородицы; вдруг с начала сентября начались пред ним беспрестанные молебны и всенощные. Какой-то фабричный рассказывал, что видел во сне богородицу, которая объявила ему: «Так как 30 лет уже у ее образа никто не только не отпел молебна, но и свечи не поставил, то за это Христос хотел наслать на Москву каменный дождь, но она упростила заменить каменный дождь трехмесячным мором». Мы приведем любопытные слова племянника архиерейского Бантыша-Каменского, обличающие сильную вражду к белому духовенству: «Праздность, корыстолюбие и проклятое суеверие прибегло к вымыслу. В начале сентября поп у всех святых, что на Кулишках, выдумал чудо с помощью фабричного (следует рассказ о сне фабричного). Мерзкие козлы (а попами их грех назвать!), оставив свои приходы и церковные требы, собирались тут налоями, делая торжище, а не богомолие». Заметим здесь одно, что доказательств выдумки чуда священником, а не самим фабричным нет, обвинение остается голословным.

Бантыш-Каменский верно описывает первое впечатление, произведенное на архиепископа известием о событиях у Варварских ворот: суеверие, ложное видение – все это запрещено регламентом, указами, надобно прекратить. «Он (Амвросий) почитал за долг, а регламентом и монаршими указами предписанный, пресечь сие позорище. Первое его по сему делу было намерение удалить оттуда попов и икону перенести (ибо в воротах ни проходу, ни проезду не было по причине приставленной лестницы) во вновь построенную ее в-ством тут же у

Варварских ворот Кира и Иоанна церковь и собранные там деньги употребить на богоугодные дела, а всего ближе отдать в Воспитательный дом, в коем он опекуном был. Требуемые в консисторию попы не только отреклись идти, но еще и угрожали присланным побитием их каменьями». Здесь оканчивается первая часть рассказа Бантыша-Каменского о мерах Амвросия, который поступает как архиерей, обязанный прекращать суеверные явления, и поступает по своим средствам: священники требуются в консисторию отдать отчет в своем поведении; священники ослушались и тем отняли у архиерея средство вести дело надлежащим порядком. Жаль, что Бантыш-Каменский примешивает чисто полицейское побуждение: архиерей хотел икону перенести, ибо в воротах ни проходу, ни проезду не было по причине приставленной лестницы.

Когда слушание священников не дало возможности производить консисторские исследования и распоряжения, Амвросий взглянул на дело с санитарной точки зрения. «Между тем, – говорит Бантыш-Каменский, – язва так усилилась в граде, что по 900 с лишком в день умирало; и как по предписанию докторскому запрещено было прикосновение и тесные между народом всякие сборища, то и не мог обойтись преосвященный, чтоб о способах к прекращению у Варварских ворот народного сборища не посоветоваться с г. Еропкиным, который один только в городе и был начальник. Страх, дабы не обратить на себя простолоудинов, произвел у них таковое по сему делу решение; чтоб оставить до времени перенесение иконы; а дабы собираемые у Варварских ворот деньги чрез фабричных не могли быть расхищены, то приложить к ящикам консисторскую печать; для безопаснейшего же исполнения сего дела обещал г. Еропкин прислать от себя несколько солдат». По свидетельству Еропкина, Амвросий приезжал к нему 14 сентября и говорил, что намерен деньги у Боголюбской запечатать в том рассуждении, что явление образа вымышлено от священников, которые за молебны начали приобретать великую прибыль. Здесь неясность. Явление ложное, говорит Амвросий, оно выдуманно священниками из корыстных побуждений. Надобно прекратить запрещенное законом явление; если же это опасно, то как из ложности явления следует, что к денежным ящикам надобно приложить консисторские печати? Бантыш-Каменский дает такое объяснение: решились ящики запечатать из страха, чтоб деньги не были расхищены фабричными; но оказывается, что при ящиках находился военный караул. Как бы то ни было, это несчастное распоряжение насчет денег было причиною бунта.

По донесению фельдмаршала Солтыкова, основанному на рапорте обер-полицеймейстера Бахметева, 15 сентября, в четверг, в 8 часов пополудни раздался городской набатный бой и при рогаточных караулах на улицах бой трещоток. Обер-полицеймейстер послал узнать, что такое, и получил донесение, что у Варварских ворот великое множество черни производит шум и драку. Бахметев в сопровождении троих драгунов и двоих гусар поехал сам и нашел, что от Ильинских до Варварских ворот по обе стороны стены стоит множество народа, тысяч до десяти, и большая часть вооружена дубьем. На вопрос, зачем сбежался народ, обер-полицеймейстеру отвечали, что народ сбежался по набатному бою, а набат произошел оттого, что шестеро солдат с архиерейским подьячим пришли для вынута из ящиков денег, подаваемых богомольцами на боголюбскую икону богородицы. Около ящиков стоял караул от московского гарнизона; эти караульные объявили, что не позволят распоряжаться ящиками без

позволения своего командира (плац-майора); от этого сначала произошел шум, а потом драка: злодеи побиты, которые хотели образ ободрать и казну, принадлежащую богородице, покрасть, а народ собрался стоять за мать пресвятую богородицу до последнего издыхания. Видя, что с своим конвоем из пяти человек он не в состоянии ничего сделать, Бахметев поехал к Еропкину, который жил в своем доме на Стоженке. В Воскресенских воротах он встретил толпу тысяч до трех, бегущую с дубьем по Тверской, Моховой и из Охотного ряда под предводительством мужика с бородою, в синем китайчатом балахоне, который постоянно кричал что есть мочи: «Ребята, поспешайте постоять за мать пресвятую богородицу и не допустите ограбить Божию мать!» Бахметев успел остановить толпу, человек двадцать или больше из нее стали на сторону обер-полицеймейстера и сделались совершенно ему послушными, так что с их помощью «синий балахон» был схвачен и посажен в будку; на Моховой схватили также другого горлана с помощью господских людей. Приехавши к Еропкину, Бахметев услышал от него: «Делайте все то, что предусмотрите к лучшему; а я вам ни команды, ни способов дать не могу», Бахметев поехал назад, заехал в будку, где посадил «синий балахон», но вместо него нашел в будке только изувеченных людей, приставленных караулить «балахон». Еще прежде, отправляясь к Еропкину, Бахметев послал полицейского майора к народу с требованием, чтоб отдали под полицейский караул архиерейского подьячего и команду, пришедших к образу за деньгами, потому что такие злодеи должны быть наказаны публично, а что прибиты народом – этого мало. Теперь майор явился к Бахметеву и донес, что народ не только согласен, но и сам просит об этом; только караульные московского гарнизона, стоящие у Варварских ворот, говорят, что сделать этого не смеют без своего командира, т.е. плац-майора. Бахметев послал донести об этом Еропкину, тот приказал как можно скорее сыскать плац-майора или губернатора Юшкова; но, в то время как происходили эти пересылки и рассылки, разнеслись слухи, что толпа черни в Кремле, грабят в Чудове монастыре архиерейский дом, ищут убить самого хозяина.

Как скоро начались перекоры между караульными московского гарнизона и архиерейским подьячим относительно денег, в толпе, вмешавшейся в споры, уже послышались выходки против Амвросия. «Архиерей, – кричали, – ни один раз должного почтения божией матери с служением по своему чину не сделал; а как сведал, что можно взять 1000 рублей, которые доброхотные датели, некоторые почти из последнего имения своего, сложили, то уже взять деньги безо всяких замедлительств себе готов; он безбожник, надлежит предать его смерти перед этим самым образом!» Возбужденная этими криками толпа двинулась в Кремль. Амвросию, как видно, дали знать об этих выходках и угрозах, и он уехал из Чудова в Донской монастырь. Толпа, ища его в Чудове монастыре, что могла, пограбила, остальное переломала, перебила, исковеркала; большой винный погреб, снимаемый в Чудове монастыре купцом Птицыным, был разграблен, и началось пьянство. Но на другой день, 16 числа, вспомнили, зачем пришли в Кремль, в Чудов; кто-то дал знать, что архиерей в Донском монастыре; и толпа в 300 человек двинулась туда. Амвросий, узнав о разграблении Чудова монастыря, велел находившемуся при нем племяннику Николаю Бантыш-Каменскому написать об этом Еропкину и просить билета для свободного выезда из города. Вместо билета Еропкин прислал офицера конной гвардии, который объявил, чтоб

преосвященный переоделся и поскорее выезжал из Донского монастыря, что он, присланный, будет дожидаться его в конце сада кн. Трубецкого и оттуда велит проводить на село Хорошево в Воскресенский монастырь. Пока сыскали платье, пока Амвросий переодевался, пока заложили кибитку, услышали шум, крики и пальбу у монастыря. Амвросий вышел, чтоб садиться в кибитку, но в это время народ стал уже ломать монастырские ворота со всех сторон; все бывшие с Амвросием разбежались; тогда он пошел прямо в большую церковь, где служили обедню, приобщился и хотел было спрятаться на хорах сзади иконостаса; но толпа, ворвавшаяся в церковь, открыла это убежище; несчастного вытащили из церкви, из монастыря, и перед задними воротами умертвили самым варварским образом: били в восемь кольев целые два часа, так что, по словам очевидца, «ни виду, ни подобия не осталось».

Между тем Еропкин весь этот день, пятницу 16 числа, собирал у себя на Стоженке кусочками команду. Главную военную силу, которою располагало московское начальство, составлял Великолуцкий полк; но во всем этом полку числилось только 350 человек, а из них 300 человек расположены были в 30 верстах от Москвы для безопасности от чумы и только 50 человек находилось в Москве. К ним Еропкин присоединил гвардейские команды, присланные из Петербурга, и таким образом составился отряд из 130 человек; но при этом маленьком отряде было две пушки, которые обеспечивали успех против толпы, вооруженной дубьем и камнями. В половине шестого часа пополудни Еропкин со своею командою двинулся в Кремль, на улице захватил священника с крестом и заставил идти с собою. При входе в Кремль чрез Боровицкие ворота отряд был встречен дубьем и кирпичами; Еропкин послал увещевать мятежников обер-коменданта царевича грузинского, но увещатель был встречен также камнями. Той же участи подвергся бригадир Мамонов, который по доброй воле явился в Чудов монастырь со своими людьми и начал уговаривать мятежников: ему разбили голову и лицо. Видя, что увещание не помогает, Еропкин велел стрелять в толпу из пушек и ружей; не менее ста человек пало от этой стрельбы, 249 человек взяты под караул, остальные разбежались. Но Еропкин, раненный в двух местах шестом и камнем, истомленный, в лихорадочном припадке, принужден был лечь в постель и не принимал участия в дальнейших распоряжениях.

На другой день, в субботу 17 сентября, на рассвете толпы начали ломиться в Кремль, в Спасские ворота, в которых стоял губернатор Юшков. Мятежники требовали, чтоб им отдали всех товарищей, захваченных войском накануне; чтоб бани были распечатаны, карантин уничтожен, лекарей к их должности не употребляли. Накануне, 16 числа, Еропкин уведомил Солтыкова о бунте, и в 9 часов утра 17 числа фельдмаршал был уже в Москве; одновременно с ним по его распоряжению накануне вступал в Москву и Великолуцкий полк, т.е. 300 человек солдат. Солтыков поручил начальство над полком обер-полицеймейстеру Бахметеву и велел ему вести солдат на Красную площадь, чтоб прекратить бунт. Бахметев, выстроив полк на площади, сказал окружающим толпам: «Советую вам расходиться по домам, в противном случае все побиты будете». Чрез полминуты площадь опустела, и этим бунт кончился.

Главная причина печальных событий 15 и 16 сентября была очевидна: ничтожность военных сил, хотя, с другой стороны, естественно представляется

вопрос: почему Еропкин с вечера 15 числа не начал собирать войско, не употребил на это всю ночь и не явился в Кремль на рассвете 16 числа, тогда событие в Донском монастыре было бы предупреждено? Как бы то ни было, старик фельдмаршал имел полное право жаловаться на недостаточность своих средств и опасность положения. «Кажется, все утихло, – писал он 19 сентября, – однако на сие надежду полагать невозможно: народ пьяный, раскольщики, подьячие, холопы господские; сами все разъехались по деревням, людей оставили, кои по их праздной жизни непрестанно в кабаках. Я нашел Чудов монастырь в жалком состоянии: окна все выбиты, пуховики распороты и улица полна пуху, образа расколоты. Бунтовщики грозятся на многих, а паче на лекарей, и хотя на многих злятся и грозят убить, в том числе и меня, и первого Петра Дмитр. Еропкина, но главный пункт – карантин; сего имени народ терпеть не может. В Сенат никто не ездит, только были мы двое. Граф Воронцов пишет, что в его деревне люди заразились, для чего он и поехал в другую, дальше; князь Козловский уволен; Похвиснев болен; Еропкин заболел и лежит в постели. Господа президенты (коллегий), не спросясь никого, так как их члены и прокуроры разъехались по деревням; приказать некому, по кого ни пошлю, отвечают: в деревне. Мне одному, не имея ни одного помощника, делать нечего: военная команда мала, город велик, подлости еще для зла довольно. Между пойманными злодеями множество подьячих почти изо всех коллегий, и их солдаты, старики отставного батальона гвардии, кои содержат караул в Кремле, более всех бунтовали и воровали, чему свидетель архитектор Баженов: он все видел из модельного дома и многие речи слышал. Сейчас получена ведомость, что на Пахре собирается много всякого народа и хочет идти в Москву со всяким оружием, и разбежавшиеся отсель по деревням пьяные грозятся все разорять. Я один в городе и Сенате, помощников нет, команды военной недостает, окружен заразительною болезнью, подвержен ей более других; все ко мне приезжают, принужден пустить, всякому нужда, помочь мне некому. Один обер-полицеймейстер везде бегаёт, всего смотрит, спать время не имеет. Я не в состоянии в. в-ству подробно донести, слышу и вижу все разное; народ такой, с коим, кроме всякой строгости, в порядок привести невозможно». 21 сентября Солтыков писал: «Нельзя быть без начальника, ибо не токмо в Москве, но по уезду несколько тех злодеев, нарядясь в солдатский мундир, ходят по дворцовым и экономическим вотчинам, показывая указы, якобы из губернской канцелярии посланы, и велят попам перед народом читать, старост и выборных принуждают подписываться в том, что как скоро услышат в Москве набат или пушечную стрельбу, то бы все в Москву бежали с дубинами и рогатинами. Я оставил (в Москве) Великолуцкий полк, главный пост на Красной площади с пушками и в нужных местах пикеты; ежели б команды было довольно, особенно конницы для разъездов, то б можно оное зло скорее искоренить. Наставник должен быть из раскольщиков, потому что они всегда противились карантину, да и то примечания достойно, что церковь архиерейская вся разорена и утварь разбита и разметана». Так как главный недостаток был в военной силе, то по предложению президента Главного магистрата Протасова составлена была стража из купцов.

Но в тот же самый день, 21 сентября, когда Солтыков писал: «Нельзя быть без начальника», вышел манифест императрицы об отправлении в Москву гр. Григория Орлова. В манифесте говорилось: «Видя прежалостное состояние нашего города Москвы и что великое число народа мрет от прилипчивой болезни,

мы б сами поспешно туда прибыть за долг звания нашего почли, если б сей наш поход по теперешним военным обстоятельствам самым делом за собою не повлек знатного расстройства и помешательства в важных делах империи нашей. И тако, не могши делить опасности обывателей, сами подняться отселе, заблагорассудили мы туда отправить особу, от нас поверенную, с властью такою, чтоб по усмотрению на месте нужды и надобности мог сделать все те распоряжения к спасению жизни и к достаточному прокормлению жителей. К сему избрали мы, по нашей к нему отменной доверенности и по довольно известной его ревности, усердию и верности к нам и отечеству, нашего генерал-фельдцейхмейстера и генерал-адъютанта гр. Гр. Орлова, дав ему полную мочь поступать во всем так, как общее благо того во всяком случае требовать будет, и отменять ему тамо то из сделанных учреждений, что ему казаться будет или не вместно, или не полезно, и снова установить может всего того, что он найдет поспешительно общему благу; в чем во всем повелеваем не токмо всем и каждому его слушать и вспомогать, но и точно всем начальникам быть под его повелением и ему по сему делу иметь вход в Сенат московских департаментов. Запрещаем всем и каждому сделать препятствие и помешательство как ему, так и тому, что от него повелено будет, ибо он, зная нашу волю, которая в том состоит, чтоб прекратить, колико смертных силы достанет, погибель рода человеческого, имеет в том поступать с полною властью и без препоны».

Орлов по природе своей не мог удовлетвориться тем значением, какое он имел при дворе, не мог удовлетворяться ни административною деятельностью как генерал-фельдцейхмейстер, ни деятельностью как член Совета, его тянуло на место войны, где одерживались блистательные победы, где родной брат его жег турецкий флот. Удалиться надолго, на все время войны не было возможности, но он не переставал мечтать о роли начальника отдельного предприятия, которое быстро могло бы положить конец войне; теперь же, когда Москва и вся Россия потребовала энергического действия для спасения их от страшного бича, Орлов не хотел упустить случая оказать великую услугу, приобрести громкую известность. Накануне отъезда в Москву Орлов говорил английскому посланнику лорду Каткарту, что, по его убеждению, главнейшее несчастье Москвы состоит в паническом страхе, охватившем как высшие, так и низшие слои жителей, откуда проистек беспорядок и недостаток распорядительности. Когда Каткарт стал просить его отложить поездку, говоря, что в Москве найдет не один недостаток распорядительности, но и чуму, то Орлов отвечал: «Все равно, чума или не чума, во всяком случае я завтра выезжаю; я давно уже с нетерпением ждал случая оказать значительную услугу императрице и отечеству; эти случаи редко выпадают на долю частных лиц и никогда не обходятся без риска; надеюсь, что в настоящую минуту я нашел такой случай и никакая опасность не заставит меня от него отказаться».

«Чума или не чума», – говорил Орлов. Действительно, до последнего времени вследствие несогласия медиков остерегались официально говорить о чуме. Доктор Кулеман подал доклад, что осмотр больных в Симоновом монастыре утвердил его в прежнем мнении о несуществовании моровой язвы, ибо и на умерших, и на живых, кроме пятен, не находил никаких знаков моровой язвы, почему признает болезнь горячкою с пятнами злейшего рода.

28 сентября в Московском сенате было первое заседание в присутствии гр. Орлова. Из сенаторов находились Рожнов, Похвиснев, фельдмаршал Солтыков, Еропкин, Всеволожский и вновь назначенный сенатор, знаменитый делец двух предшествовавших царствований Дмитр. Вас. Волков. Орлов объявил именной указ присутствовать ему в Сенате московских департаментов и быть всем и каждому в его послушании; словесно объявил, что велено присутствовать в Сенате и Волкову. Губернатор Юшков донес, что Можайское дворянство согласилось ехать в Москву со своими служителями и значительным числом крестьян. Приказали: ревность приемлется за благо; нужды, однако, теперь в чрезвычайном подвиге не настоят, ибо порядок восстановлен. При том значении, с каким Орлов был прислан, Солтыков, разумеется, не мог оставаться московским главнокомандующим. Екатерина имела слабость не любить знаменитых дел и людей елисаветинского царствования. Куннерсдорфский победитель раздражил ее указанием на опасность приложения санитарных мер к Москве, указанием на необходимость увеличить военные силы в столице, и Солтыкову нельзя было, как Румянцеву, указывать на римлян, которые не спрашивали, сколько неприятеля, но где он: приемы внешней войны разнились от приемов внутренней охраны и наблюдения за порядком на обширных пространствах. Но старик сам себя выдал головою Екатерине, позволив себе уехать в деревню, и хотя быстрое возвращение его и быстрое стянутие войска в Москву, чем и прекращено было волнение, могли бы заглаживать первую неосторожность, но не в глазах Екатерины, которая в письме к Бельке прямо приписывает убиение Амвросия тому, что Солтыкова не было в городе. Но естественно рождается вопрос: как бы Солтыков без войска мог действовать; разве предположить, что он собрал бы небольшой отряд с пушками и двинулся в Кремль гораздо скорее, чем прославленный Еропкин? Екатерина употребляет в письме к Бельке любопытное выражение: «Москва не город, а целый мир». Но о чем же постоянно толковал Солтыков, как не об этом, жалуясь на недостаток войска? В письме к Бибикову Екатерина Дала полную свободу своему нерасположению к Солтыкову: «Слабость фельдмаршала Солтыкова превзошла понятие, ибо он не устыдился просить увольнения тогда, когда он своею персоною нужнее там был и, не ожидая дозволения, выехал, чаять можно, забавляться со псами. Меж тем ханжи выдумали народ лечить чудесами образа под Варварскими воротами. Тут толпы черни молящейся пуще заразились, и во время того богомолья по 900 человек на день мерло. Архиерей с генерал-поручиком Еропкиным положили, чтоб исподволь умалить течение народное к сему месту, и для того архиерей 15 сентября к вечеру послал своих людей опечатать сбор у сего образа. Тут сделалась драка, и обыкновенная полиция стала коротка, мать наша Москва велика. Главы нету в городе, унимать некому, обер-полицеймейстер стал короток, а отчасти и оплошал. Я, видя, колико нужно туда послать особу с полною властью, по усильной просьбе г. генерала-фельдцейхмейстера г. Орлова его туда послала. Там до его приезда все по образцу гр. Солтыкова (?), получа *terreur panique*, от язвы по норам расползлись, но теперь паки возвратились по местам... Позабыто в письме сказать, что старый хрыч фельдмаршал уволен». В указе об отставке фельдмаршала говорилось, что императрица, «снисходя на прошение, уволить его соизволила от всех дел, *похваляя его предкам ее в-ства учиненную знатную службу*».

30 сентября Орлов объявил в Сенате, где теперь настает нужда: 1) имеющихся в здешнем городе мастеровых и ремесленных людей в необходимом случае пропитанием снабдить; 2) доставить в Москву уксусу в таком количестве, которым бы жителей без всякого недостатка про довольствовать было можно. Потом вывозчикам мертвых тел к 6 копейкам на день прибавили еще 2 копейки. 12 октября Орлов предложил в Сенате: известно ему учинилось, что некоторые находятся столь злостные люди, что, невзирая на бедственное состояние, в котором жители Москвы теперь состоят, забыв страх божий, дерзают входить в вымершие дома и грабить оставшиеся после несчастных пожитки, и для того объявить каждому и всем, ежели таковые безбожники и враги рода человеческого открыты будут в сем преступлении, то без пощады казнены будут смертию у того самого места, где сие преступление учинено будет, дабы смертию одного злодея отворотить смертоносный от зараженных вещей вред и гибель многих невинных, ибо в крайних зла обстоятельствах и меры к уврачеванию крайние принимаются. Через четыре дня после этого решения Полицеймейстерская канцелярия подала рапорт: ведомства Конюшенной канцелярии крестьянин Тимофей Матвеев, беглые солдаты Главного комиссариата Акутин, Денисов, лейб-гвардии неслужащий солдатский сын Еремин, собравшись партией в числе 9 человек, пограбили три выморочных дома. Канцелярия на основании указа 12 октября приговорила повесить преступников, но Сенат на том основании, что преступление было совершено до публикации указа, приговорил виновных ко кнуту и определению в погребатели чумных. В то же время Орлов предложил, что умерших чумно провожают неосторожно, садятся в одни роспуски с телами, и потому объявить, что замеченные в такой неосторожности мужчины будут взяты в погребатели, а женщины – в лазарет для ухаживания за больными.

Для детей-сирот, остающихся после умерших от чумы, был учрежден приют под ведомством вице-президента Мануфактур-коллегии Сукина. Но оказалось, что больше 100 детей поместить в этом доме нельзя, тогда как каждый почти день привозили сирот. Сенат приказал Сукину занять дом француза Лиона, который отстраивался для пикника на деньги составившегося для этого общества; Сенат объяснял свое распоряжение тем, что пропитание сирот устанавливается для общества и по освобождении дома от сирот он возвратится для пикника. Мы видели, что Орлов уже распорядился покупкою в казну ремесленных произведений, чтоб дать пропитание работникам. 25 октября он сделал Сенату новое предложение: находится в городе немалое число таких людей, которые, не имея никакого ремесла, питались прежде самыми черными или грубыми работами, а по настоящим обстоятельствам лишились и их; чтобы доставить и этим людям благозаслуженное пропитание и истребить праздность, всяких зол виновницу, для этого надобно: 1) окружающий Москву Камер-коллежский вал увеличить, углубляя его ров, и к этой работе призываются все охочие люди из московских жителей; 2) платеж за работу будет производиться по денный – мужчине по 15, а женщине по 10 копеек на день; 3) кто придет со своим инструментом, тому прибавляется по 3 копейки на день; 4) главный надзор за этою работою будет иметь генерал-поручик сенатор Алекс. Петр. Мельгунов.

Между тем исследовалось дело о бунтовщиках, захваченных в Кремле. Следствие было поручено особой комиссии из духовных и светских лиц под председательством прокурора синодальной канцелярии Рожнова. 4 октября Рожнов

представил Сенату, что из взятых под караул мятежников Степан Иванов, от роду 16 лет, показал на бывшего своего хозяина-купца, который ему прежде мятежа за неделю или больше приказывал: если в городе забьют в набат, то он бы с дрекольем бежал в то место, в чем и хозяин признался. Рожнов спрашивал у Сената, не угодно ли будет мальчика освободить как малолетнего и показавшего правду. Сенат согласился.

В приведенном письме к Бибикову от 20 октября Екатерина уже писала: «Следствие теперь идет, из коего ясно открылось, что ни главы, ни хвоста нету, а дело вовсе случайное». Этот взгляд на случайность события, разумеется, стал руководящим в Москве, когда 1 ноября Сенат стал слушать доклад следственной комиссии, в докладе говорилось: «Из подсудимых не только те, кои в ответах своих показывали о повестках, чинимых им от полицейских служителей в самое время бывшего происшествия, дабы бежали в Кремль; а другие упоминали о том, что слышали прежде за несколько дней, что будут повестки или если услышат набатный колокол или пушечный выстрел, тогда б бежали в Кремль, но, от кого сие слышали, не показали. Увещения не подействовали, и больше не открылось, как только приходя в уныние крестились, а один малолетний обливался слезами. Следствие открыло убийц Амвросия, то были дворовый человек Раевского Василий Андреев, московский второй гильдии купец Иван Дмитриев, города Каширы, Пушкарской слободы, пахотный крестьянин Федот Парфенов; убийцы были введены в Сенат, причем Дмитриев от прежних своих показаний отрекся, сказал, что сделал их из страха. Главных зачинщиков по следствию не отыскалось. В заседании 4 ноября, когда кто-то из сенаторов предложил, что о подсудимых, о которых обстоятельного следствия не произведено, надобно доследовать, то Орлов сказал: „Хотя по самой справедливости и должно стараться в изыскании истины доходить до самого источника, от чего преступление начало свое получило, дабы виноватые по существу их преступления наказаны были по точности их вин, но как при всем том по случаю нынешних несчастных в Москве приключений, от коих род человеческий подвергается гибели, нет ни времени, ни способов достигнуть до сего, а при всем том теперь нужда настает, чтоб преступники, кои обличены или признались, как наискорее по винам своим были наказаны, хотя некоторые того и избегнут, но как всегда лучше виновного облегчить от наказания, нежели наказать невинного, то не соблаговолит ли собрание сей суд производить и виновных осуждать единственно уже по имеющимся ныне в деле окрестностям (обстоятельствам) и доказательствам“. Так как Сенат на основании полномочий, данных Орлову, соглашался всегда с его предложениями, то согласился и тут.

На другой же день, 5 ноября, Сенат собрался для постановления приговоров над подсудимыми. Первый начал говорить сенатор Волков: «Читанные сему собранию показания и признания взятых под стражу узников содержат в себе такие деяния, из которых всякое бесчеловечно, законопреступно и, следовательно, жестокого наказания достойно, но сие наказание божескими и гражданскими законами уже предопределено и не остается более, как токмо произнести и исполнить законами определенное. Но когда обращаем мы свой взор на наружные окрестности толико вдруг учинившихся злодеяний и в их наружностях хотим найти прямой того источник, то видим ясно, что каждое из сих преступлений становится несравненно величайшим и жесточайшего наказания требующим,

видим, что первопрестольный град, самая середина оногo, воззрелище священных мест и монарших чертогов, вместо того чтоб и самые буйственные сердца приводить в чувство и благоговение, были местом сего богомерзкого позорища, видим не разбойника и убийцу, по совершении своего злодеяния тотчас укрывающегося и в самом остервенении своем трепещущего от одного имени правосудия, но великое множество народа, на спасательные ему законы восстать дерзающего и, что злее, преступлениями своими, святотатством и священноубийством торжествующее. Видим свет в недоумении, каким образом народ, набожным всегда и государю. своему, и законам повиновением на толикую степень могущества и славы вознесенный и повсюду победоносный, мгновенно мог забыться и грозные неприятелям руки обратить на самоубийство. Видим отечество, требующее от законов неистовым своим сынам наказания. Видим церковь, пастырскою кровию обогренную и отмщения вопиющую. Со ужасом смотря на сии наружные окрестности, не меньшее предлежит нам соболезнование, когда разбираемый прямой толикого зла источник не потому, чтоб оный рыгал всегда подобным ядом или чтоб таковых же бедствий паки ожидать надлежало, но единственно по размышлению, коль пагубны роду человеческому вообще слепота, суеверие и корыстолюбием частных и малых людей воспламененная ревность не к творцу и св. вере, но к обряду или месту, с явным почти истинной веры и богослужения забвением прилепленная, и коль насильственно, но неизбежно самому нежному и человеколюбивому сердцу употреблять строгость, когда под кроткою державою единая взаимная любовь друг ко другу видима быть имела б. Здесь видим солдата Бякова и фабричного Илью Афанасьева, каждого отвергнувшего свой крест, т.е. свое звание, предавшихся лицемерству и сребролюбию, сделавшихся собирателями стяжания божией матери, никогда благих наших не требующей, но только добрых наших ближнему делу взыскующей; видим сих самозванцев по мере приобретаемого стяжания обративших большее на себя внимание. Видим некоторых из духовенства, имени сего и своего, впрочем, весьма почитаемого сана недостойных, презирающих слепоту людскую с мерзкою пред всевидящим радостью, богослужение в торжище обративших и руки к приятию гнусной мзды простирающих. Видим, но с большим еще соболезнованием некоторых из начальников, кои, вместо того чтоб предписанный законами порядок тотчас восстановить, слабостью своею подтвердили сие неустройство и столько оному возраста допустили, что едва покойный преосвященный хотел токмо сие собранное мирское стяжание предохранить от неизбежного расхищения Бяковых и Афанасьевых, то собственное сих людей корыстолюбие обратило законный поступок в грабеж и святотатство и было единственным подвигом всех из того следовавших зол. Имея такое о судимом нами происшествии и его окрестностях понятие, заключение из того проистекает само собою, а именно надлежит сделать удовлетворение законам с твердостью и потом утешить и утешиться, и потому: 1) избличенных и повинившихся в убийстве преосвященного Амвросия казнить смертью не токмо как убийц, но как злейших из всех мятежников; 2) все приличившиеся участниками того убийства, монастырского грабежа, осквернения священных мест, поругания св. икон, разбития карантинных домов и больниц как безумным паче стремлением в сие заведены, нежели в самом деле толь богомерзкое имели намерение, то наказать их на теле и сослать в каторжную

работу; 3) солдата Бякова и фабричного Афанасьева как вредных обществу лицемеров, наказав на теле, послать в Соловецкий монастырь в заточение; 4) прочих пойманных, но в убийстве и грабеже не изобличенных, виновных в том, что к толпе злодеев приставали, наказав плетью, определить в казенные работы; 5) остающихся освободить без наказания; хотя, несмотря на их непризнание и неимение в злодеянии доказательств, самое забранье их под стражу утверждает по крайней мере столько, что они подвели на себя подозрение, но для таковых и одно сидение под стражею довольно уже есть наказанием. Но напротив того, удовлетворяя правосудию, надлежит удовлетворить и благодеянию законов. Г. генерал-поручик, сенатор и кавалер Петр Дмитр. Еропкин был един и первый, который верностию своею к ее и. в-ству, любовью к отечеству и мужеством, сана его достойным, унял сие стремительное буйство и восстановил первую тишину. Благородная его душа не требует за подвиг свой воздаяния, но наше признание тем не меньше ему принадлежит, так сделаем начало, чтоб признание добродетели было самым лучшим за добродетель воздаянием. Сим образом исполним мы наш долг, исполним ожидание отечества и света. Омоем кровию виновных нанесенное на неповинный российский народ пятно! Но, зная чувствительное и человеколюбивое сердце ее и. в-ства и ведая, колико оно сострадательно несчастию самых горших преступников, срастворим кровь их нашими слезами и, отдав сей долг человечеству, утешимся наконец, что сие самое случившееся зло послужит к разгнанию слепоты, к расширению познания и просвещения и придаст новое всем и каждому поощрение с толикою ж ревностию трудиться о воспитании и благонравии, с каким твердым духом и премудрым предусмотрением августейшая наша монархия неутомленные о том труды подъемлет».

Безусловно, с Волковым согласился сенатор Мельгунов, но Орлов предложил, не согласится ли собрание вместо смертной казни наказывать на теле по указу 754 года, а двоих по жребию повесить. Собрание приняло это мнение относительно убийц архиепископа Амвросия, но постановило казнить смертью еще одного из мятежников и грабителей по жребию. Этим желали выставить всю важность преступления, совершенного бунтовщиками, независимо от убийства архиепископа.

Заботы о малолетних, оставшихся после умерших от чумы родителей, кончились тем, что Опекунский совет согласился принимать их в Воспитательный дом, вполне сохранившийся от заразы благодаря строгому оцеплению. Последнее предложение Орлова, сделанное им в Сенате 7 ноября, состояло в том, чтоб для доставления пропитания и жителям окрестных селений прокопать каналы из окружающих Москву болот и протоков в реку Неглинную для увеличения воды в этой реке; также исправлять Тульскую, Калужскую, Коломенскую и другие большие дороги. 17 ноября в Сенате уже слушался указ об отозвании гр. Орлова и назначении московским главнокомандующим возвратившегося из Варшавы князя Мих. Никол. Волконского. Тут же объявлено Еропкину, что ему пожалован Андреевский орден и 20000 рублей денег. Он вышел в отставку.

В Москве считали до 12538 домов; из них в 6000 домах были больные чумою, а в 3000 все жители перемерли. С апреля 1771 до конца февраля 1772 в больницах и карантинах на казенный счет содержалось 12565 человек. До нас дошло донесение Орлова о Москве во время чумы; в нем, между прочим, говорится:

«Весьма б полезно было, если б большие фабриканты добровольно согласились перенести фабрики в уездные города, ибо Москва отнюдь не способна для фабрик. Попов надобно стараться завести в Москве получше, а чтоб иметь их лучше, то надобно им содержание дать побольше, а чтоб дать содержание побольше, то приходы сделать побольше; а ныне много их умерло; и для того. переговора с архиереями, чтоб малые приходы сообщить с другими и покуда церкви еще не опустели, то б служить в церквах, ежели они в дальнем расстоянии, священникам по очереди. Этот род людей много зла в Москве причиняет. Также московские военные гвардейские команды, отставные гарнизонные; они до того развратны, что способу поправить их не будет, разве перевести их совсем, ибо их повиновение и дисциплина слово в слово, как чума. Я видел пример, где постояли на карауле великолуцкие солдаты с ними вместе, то и их узнать было невозможно; они все почти имеют свои дворы, все торгуют, никто за ними не смотрит, перероднились с фабричными и с прочими жителями Москвы. Какой это народ обитателей здешних! Как посмотришь во внутренность их жизни, образ мыслей, так волосы дыбом становятся, и удивительно, что еще более чего в Москве и сквернее не делается».

Мысль о выводе больших фабрик из Москвы встречается здесь не в первый раз. Еще 31 августа генерал-прокурор предлагал Сенату в Петербурге, что так как умножение фабрик в Москве с давнего времени признано вредным и уже думали было о выводе их в другие города, то теперь по причине оказавшейся в Москве прилипчивой болезни этого требует самая необходимость и безопасность как города, так и всего государства, тем более что зараза и начало свое получила на фабриках. Приказали: послать указ в Мануфактур-коллегию, что Сенат находит нужным вывести некоторые фабрики из Москвы в другие города, а именно: все суконные, полотняные, сургучные, ценинные, булавоочные, пуговочные, проволочные и латунную, инструментальные, красильные, каразейные, купоросные, замшевые, сафьянные и все кожевенные, красочные, а назначить им место в других городах, где кто пожелает; хотя же и оставляются шелковые, картные, мишурные, плащенного и волоченного золота и серебра, сусального листового золота и серебра, инструментальные (?), галунная, столярная, веерная, зеркальная, ситцевая и полуситцевая, труб заливных, беленья воску, латунные (?), но с тем, что привилегии их, которыми они уволены от постою, будут уничтожены. Но Сенат, видимо, поспешил этим делом, не обдумав препятствий к его исполнению и употребив, к несчастью, довольно употребительный детский способ: от известного учреждения при известных условиях произошла невыгода – долой это учреждение! Прежде всего в Москве существовали казенные фабрики, необходимые для армии и флота; и так уже нанесен был большой ущерб казне остановкою их во время чумы, теперь нужно было спешить приведением их в действие, но для этого не было людей, а Адмиралтейство предложило, нельзя ли взять людей с других фабрик и восполнить таким образом число недостающих рабочих на его парусной фабрике. Сенатор Волков подал мнение, что требование Адмиралтейства противно закону и правосудию; пусть Адмиралтейская коллегия даст парусные образцы, по которым без большой передачи потребное число полотен сделано будет на частных фабриках. Сенат сначала согласился, но потом генерал-прокурор представил, что дело слишком важно для казенного интереса и потому нельзя ли наперед потребовать известия, сколько именно людей и какого

мастерства Адмиралтейству нужно для пополнения его московской фабрики, дабы, смотря по этому, хотя некоторым числом рабочих по необходимости можно было снабдить фабрику; и Сенат принял предложение генерал-прокурора.

Только в июле 1773 года Мануфактур-коллегия отвечала Сенату, что к выводу фабрик из Москвы приступить нельзя. Сенат должен был признать представление Мануфактур-коллегии основательным, но все же хотел настоять на прежнем своем мнении о необходимости вывести из Москвы некоторые фабрики, о которых, впрочем, в прежнем мнении не было ни слова. Приказали: так как между фабриками есть такие, которые наносят городу вред дурным запахом, как-то: сальные, мыльные и т.п., которые непременно должно из города вывести, только об них здесь по заочности точного определения сделать нельзя, и для того коллежское представление отослать к главнокомандующему кн. Волконскому на общее его с президентом Мануфактур-коллегии рассмотрение, чтоб они вывели те фабрики, которые жителям города вред наносят, причем Мануфактур-коллегии предписать, чтоб она впредь без представления в Сенат не давала позволения на устройство фабрик.

Дело о переводе фабрик замолкло; но вследствие чумы приведена была в исполнение повсеместно очень важная мера: запрещено хоронить внутри городов при церквях и отведены за городом места для кладбищ. В конце 1771 года Синод разослал об этом повсюду указы.

Мы видели, что в Москве Опекунский совет взялся приютить оставшихся после умерших чумою детей. В июле 1772 года Бецкий объявил Сенату изустное повеление императрицы принимать в Московский воспитательный дом малолетних детей, шатающихся без всякого призрения; Бецкий писал в своем представлении: «Как все таковые дети, кои во время заразительной болезни Московским воспитательным домом призрены и избавлены от смерти, так и впредь всякого звания сирот, которые, не имея пропитания, остаются без всякого присмотра, должно почитать погибшими, и потому они имеют право быть причисленными к детям, содержащимся в Воспитательном доме на основании его генерального плана. Сенат решил подать императрице доклад: 1) устные указы принимать велено только от сенаторов, генерал-прокурора, президентов первых трех коллегий и от дежурных генерал-адъютантов; но Бецкий не имел ни одного из этих званий; 2) новый указ отменяет прежние относительно шатающихся малолетних, а в Воспитательный дом идут одни подкидыши и зазорно рожденные младенцы. Может произойти такое злоупотребление, что помещичьи люди и солдаты, матросы и другие служивые люди, желая избавить детей своих – первые от помещиков, а последние от службы, станут приводить их в Воспитательный дом; да могут быть приведены и такие дети, которые зайдут далеко от дому по ребячеству, а родители их вовсе не хотят отдавать их в Воспитательный дом и будут плакать, что лишились своих детей, помещики лишатся крестьян, а государство – служивых людей. Генерал-прокурор испугался дурного впечатления, какое этот доклад мог произвести на императрицу, и чрез несколько дней предложил, не соизволит ли Сенат отменить свое определение и принять рапорт Бецкого только к известию, потому что Бецкий никакой от Сената резолюции не требует, а извещает только, что он о том от себя писал в Воспитательный дом. Но Сенат, что случалось редко, остался при своем прежнем мнении.

Новый главнокомандующий в Москве начал по обыкновению дело тем, что удалил человека, пользовавшегося полным доверием прежнего главнокомандующего. Кн. Волконский писал императрице в начале 1772 года: «Обер-полицеймейстер Бахметев нашелся неисправлен по своей должности и в чинении неосновательных рапортов, того ради исполнительная комиссия третьего дня с ведома моего в наказание от команды ему отказала. Сия строгость нужна как при нынешних обстоятельствах, так и для переду, чтоб всякий, не ослабевая по положенной на него должности и по данным повелениям, с точностью исправлял». Обвинение, было совершенно голословное, но кто мог заступиться за Бахметева в Петербурге? От 4 февраля 1772 года Волконский доносил: «Чрез целый месяц ни умершего, ни заболевшего не было, а сего 2 числа в доме майора Маркова одна женщина оною (чумою) занемогла; тотчас вся предосторожность взята: больная в госпиталь отвезена; люди, которые с ней сообщение имели, отведены в карантин; пожитки ее сожжены; избу, в которой она жила, велено разломать, а дом весь запереть до выдержания карантина». Но потом найдено, что женщина была больна простою горячкою. 14 ноября 1772 года последовал именной указ об открытии московских присутственных мест с 1 декабря. 25 ноября в Петербурге и Москве служили благодарственный молебен за прекращение моровой язвы.

Орлов с торжеством возвратился в Петербург из своего московского гражданского похода, а между тем его положение не переставало возбуждать неудовольствие в разных гвардейских кружках. Еще в самом начале войны капитан кавалергардов Панов говорил о состоянии народном: во всех местах чувствуют неудовольствие, война начата со вредом, выведены из государства деньги и переведены в чужие государства миллионов с 8. Екатерина умна, да упряма, на что наладит, то и делает, и, кому вверится, тому и верит. Мнения дворян презрены, вино отдано откупщикам, и они одни богатеют, и у многих бедных дворян дома разоряют обысками. А ныне и совсем отнимают деревни; как дадут крестьянам вольность, кто станет жить? Мужики всех перебьют, и так ныне бьют до смерти и режут, и таких только посылают в ссылку и дают вольность, Панин с Орловым неладно живут. Товарищ его, Степанов, которому Панов все это рассказывал, спросил его: «Каков его высочество и принимает ли графов?» Панов, похваляя его высочество, сказал: «Ему Никита Ив. преподает обо всем великое познание; а чтоб Орловых принимать хорошо, то не натурально: они ведь и батюшку его ухаживали; дай-ка ему поправиться, так отольются волку коровьи слезы. Мщения и ныне ожидать должно, потому что Панина партия превеликая и все что ни лучшенькие». В это время много толковали о наблюдениях по поводу прохождения Венеры, и один из гвардейских офицеров, Афанасьев, говорил: «Вот как Венера-то пройдет, так что-нибудь бог и сделает: она ведь уже даром не проходит». Премьер-майор Жилин говорил, сколь надменны нынешние гг. Орловы и прочие случайные люди против прежних, причем хвалил Алекс. Григ. Разумовского и Ив. Ив. Шувалова, сколь хорошо людей принимали. Недовольные не находили *фундатора* для составления заговора и не знали, как приступить к делу без согласия великого князя-наследника. Озеров говорил: «Народного отягощения отвратить иным ничем не можно» и доброго дожидаться нечего, как только тем, что возвести надобно на престол его высочество, да та моя беда, что не могу до него дойти». Жилин, приезжая к Озерову, жаловался: «Вот в законе

новом написали вольность крестьянам и холопам, а чрез то сделали в черном народе замешательство, и многие крестьяне не стали слушать, и тем дворянство оскорблено; да и кому законы сочинять? Единственно стремятся дворянство угнетать и чтоб оно как-нибудь упало; вот заведена война, рекрутские всегда наборы; за правлениями никакого смотрения нет; дано штатским жалованье большое только в разорение народное. Долго ли это будет? Надобно ее с престола свергнуть, а цесаревич уже в летах». Озеров спросил его: «Разве ты что от больших господ слышал? Кто ж бы такой, не Панин ли?» Жилин отвечал: «Нет, что ему верить! Тут надобен такой человек, чтоб его любили и доверенность ему делали. Есть граф Кирилла Григорьич, которого народ любит и делает доверенность, а его довести можно, и уверяю, что он за отечество вступиться не откажется. Да и еще есть люди: Воейков, министр очень хороший, Румянцев». – «Ведь их здесь нет», – возразил Озеров. «Долго ли им быть здесь, – отвечал Жилин, – коли делать, так делать поскорее в Летнем дворце, а в Зимнем дворце много закоулков, так нельзя захватить, кого надобно». Панина полагали сменить и на его место посадить Воейкова. Когда одного офицера арестовали за то, что он в ротном строю бил сержанта, то Озеров говорил, что гвардия приходит в упадок: в прежние времена гвардейских офицеров без именного указа не арестовывали, а ныне майор такую волю взял оттого, что офицеры между собою не согласны и все друг над другом шпыняют. Когда мимо его квартиры шла рота, то Озеров, сидя под окном, кричал солдатам: «Что, ребята, с мученья!»

Фундатора недовольные не находили; дело ограничивалось одними разговорами, разговоры были переданы, и для суда над Озеровым с собеседниками назначена была комиссия из гр. Ник. Панина, генерал-полицеймейстера Чичерина, Елагина и генерал-прокурора кн. Вяземского, которые приговорили виновных к смерти, но Екатерина дала такую собственноручную резолюцию: «Как сам бог сих изменников отдал в мои руки, то не мне их судить, но уж оставляю я остальную их жизнь им на раскаяние, и учинить с ними следующее: Жилина и Озерова, лиша всех чинов, дворянства и звания, сослать вечно в Нерчинск в заводскую работу, но вместе их не содержать; Степанова да Панова, лиша чинов и дворянства, сослать в Камчатку на житье, где им питаться своими трудами».

Степанов и Панов отправлялись в Камчатку вместе с Другими преступниками, известным Батуриным, который по звездам ждал появления бывшего императора, и потом барона Морица Аладаре де-Бенев (как он сам подписывался), родом венгерца, принужденного бежать из отчества за самоуправство с братьями и служившего в польской конфедерации. В 1768 году он был взят в плен русскими и отпущен на честное слово, что не будет служить против наших войск. Беневский не сдержал слова и в 1769 году был вторично захвачен в плен и отправлен в Казань вместе с пленным шведом Винбломом, служившим также в конфедерации. Они оба из Казани бежали через Москву в Петербург в надежде уехать морем за границу, но были задержаны и в ноябре 1769 года сосланы на житье в Камчатку, где должны были кормиться своими трудами. В июле 1770 года они были отправлены из Охотска в камчатский Большерецкий острог, где было не более 35 домов, гарнизон состоял из 70 козаков и находился в управлении капитана Григория Нилова, нерадивого и пьяного. Там же был камер-лакей правительницы Анны Турчанинов, который в 1742 году составлял

заговор против императрицы Елисаветы; также Семен Гурьев, сосланный в 1762 году, Хрушев и лекарь Мейдер. Ссылные успели склонить на свою сторону Чулочникова, прикащика купца Холодилова с сотнею работников, штурмана Чурина, штурманского ученика Бочарова, священнического сына Устюжникова (которого Беневский обучал вместе с сыном капитана Нилова), козака Рюмина, нескольких матросов и камчадалов. Простым людям они внушали, что Беневский и привезенные с ним арестанты страдают за в. кн. Павла Петровича. Беневский показывал зеленый бархатный конверт будто бы за печатью в. князя с письмом к императору римскому о желании вступить в брак с его дочерью. Весною 1771 года ссылные произвели восстание, ночью убили Нилова, овладели казною, двумя пушками и всеми военными припасами, захватили Большерецк и привели жителей к присяге императору Павлу. 30 апреля шайка отправилась вниз до гавани Чекавинской, тут ограбила магазин с провиантом, захватила казенный галиот св. Петра, приготовила его к походу, водрузила на нем знамя императора и назвалась «Собранною компаниею для имени его и. величества Павла Петровича», составила объявление Сенату, что Павел Петрович незаконно лишен престола, что польская разорительная война ведется единственно для пользы Понятовского, что промыслы вином и солью отданы на откуп немногим, что от монастырей отобраны деревни на воспитание незаконнорожденных, тогда как законные дети остаются без призрения, что у созванных для сочинения законов депутатов отнята возможность рассуждать стеснительным наказом, что дани налагаются на народ необычайные и требуется оброк с увечных и малых равно с здоровыми, что за неправосудие штрафуются судьи только деньгами, тогда как за правильный суд, если только что-либо возьмут с тяжущихся, исключаются из рода человеческого, что добыванием золота и серебра пользуются одни царские любимцы, народ коснеет в невежестве и страждет, и никто за истинные заслуги не награждается. Желая пособить советом тридцати трем промышленникам, несправедливо осужденным работать без платы своему компанейщику Холодилову, они тем навлекли на себя негодование капитана Нилова, который велел взять их под караул, и сие то заставило их вместе с угнетенными объявить себя в службе законного государя, что они и привели в действие, арестовав Нилова (которого от страха и пьянства разбил паралич) и на его место избрав Беневского.

Беневский с товарищами вышли в море; они придерживались берегов и направили путь вдоль Курильских островов. 7 июля приблизились они к берегам Японии, но японцы не пускали их ни на берег, ни в море; тогда Беневский пушечным выстрелом открыл себе дорогу в море. 7 августа достигли острова Формозы, где потеряли троих товарищей, убитых жителями, между прочим Панова; Беневский отплатил истреблением лодки с островитянами и сожжением жилищ в окрестностях бухты. На берегах Китая плователи были приняты дружелюбно. 12 сентября прибыли в португальскую колонию Макао. Здесь Беневский, говоря по-латыни, один только умел объясняться с губернатором, жил у него в доме, продал ему галиот как свою собственность, объявил, что его отечество – Венгрия, куда и должен возвратиться, всем русским велел называться венгерцами, запретил им молиться пред образами, рассорился с Винблудом и Степановым, оклеветал всех русских в намерении произвести бунт и завладеть городом. Вся шайка была взята под стражу, рассажена по тюрьмам и таким

образом принуждена была смириться, кроме Степанова, который объявил, что скорее останется в тюрьме, нежели даст подписку в покорности Беневскому и в подданстве римскому императору. 15 человек русских пало жертвою климата Макао, в том числе Турчанинов. Для отвоза в Европу остальных Беневский нанял два французских фрегата и отправился на них в январе 1772 года. Во время этого переезда умер Батурин. Наконец путешественники достигли берегов Франции, высадились в Порт-Луи. Беневский уехал в Париж с проектом завоевания острова Формозы: но вместо Формозы французское правительство указало ему Мадагаскар. Между тем русские пришли пешком из Порт-Луи в Париж и обратились к русскому резиденту Хотинскому с просьбою исходатайствовать им прощение у государыни. Препровождая к генерал-прокурору письмо Хотинского, Екатерина писала (2 октября): «Им от меня прощение обещано, которое им и дать надлежит, ибо довольно за свои грехи наказаны были; видно, что русак любит свою Русь, и надежда их на меня и милосердие мое не может сердцу моему не быть чувствительна». Все возвратились в Россию и были распределены в сибирских городах на свободное житье.

Когда сподвижники Беневского просили позволить им возвратиться в Россию, в Петербурге шло следствие по поводу слухов, распространявшихся в гвардии. Солдат Исаков рассказывал солдату Жихареву слышанное им прошлого года в лагере от многих солдат Преображенского полка, что великого князя хотят извести; что в их девятой роте хотели обобрать патроны и во дворец более пяти патронов носить не велят; не будет ли, говорили солдаты, в Петров день перемены и не будет ли его высочество в лагерь для принятия престола? А если нет, так не будет ли гр. Орлов, и вино уже у него приготовлено, чтоб в Петров день поить солдат? Жихарев пересказал об этом солдату Карпову, Карпов – капралу Оловеникову, Оловеников – брату своему подпоручику Селехову, которому прямо предложил возвести на престол великого князя Павла Петровича, к чему склонять солдат, во-первых, тем, что их смертно бьют без вины, потом, что великого князя извести хотят, наконец, что Орлов хочет быть императором. То же самое уже внушал Оловеников капралам Подгорнову и Чуфаровскому. Оба последние и Селехов согласились действовать. Стали подговаривать других, рассуждать, как вывести великого князя из Царского Села, что сделать с Екатериною: постричь ее или оставить в покое. Оловеников и Селехов думали, что если Павел Петрович не согласится принять престол, то убить его вместе с матерью, а в народе сказать, будто Павла умертвила Екатерина, не любя его, и погибла в отмщение; в цари после этого выбрать, кого солдаты захотят; причем Оловеников мечтал о короне и уже ссорился с товарищами за будущее царство. Оловеников говорил, чтоб быть ему царем, Подгорнову – фельдцейхмейстером, брату его – генерал-прокурором, Карпову – генерал-адъютантом. На это Подгорнов говорил: «Когда тебе можно царем быть, так и я буду»; потом толковали, что надобно выбрать в цари герольдмейстера кн. Щербатова, потому что он человек очень честный, умный и добрый.

27 мая пришли к Оловеникову Исаков и Карпов и говорили: «Не изволишь ли выйти на народное место, гренадер Филиппов хотел выйти еще с гренадерами, так вы сами с ними поговорите». Оловеников пошел в назначенное место, куда пришли гренадеры Филиппов, Мурзин и Михайло Иванов, с которыми Оловеников пошел за конногвардейские конюшни, пришел на берег Новы, и тут

Иванов стал ему говорить: «Да что же мы пустое калякаем, надобно дело говорить, зачем пришли». Оловеников сказал на это: «Мне Исаков сказывал, что он слышал во дворце, будто гвардию всю хотят сделать армейскими полками, а на место гвардии хотят ввести гренадерские полки; так чего же дожидаться? А если это допустим, то тогда драться уже будет трудно; надобно думать, что Орлов за тем, верно, и поехал (в Фокшаны), чтоб сделать себя молдавским князем или и императором». На это гренадеры сказали: «Это, верно, сбудется, а может быть, ему этого сделать и не удастся и мы его высочество поскорее императором сделаем». – «Каким же образом нам дело то начать? – спросил Иванов. – Мы не видим прямой дороги!» Оловеников отвечал: «Это правда, что мы прямой-то дороги не видим, но вот Филиппов сказывал, что ему знаком Борятинский, и он обещался к нему сходить и разведать о мысли его высочества». Иванов прибавил: «И мне Борятинский знаком, так и я к нему схожу. Если его высочество согласится, то мы можем собрать человек 300, которым как скажем, то все согласятся, пойдут с нами, и мы можем послать одну половину захватить дороги, а другую половину к его высочеству». – «Это пустяки, – сказал Оловеников, – прежде времени загадывать нечего». Но Карпов продолжал загадывать: «Ну ежели его высочество на это согласится, так что тогда делать с государынею?» – «Другого делать нечего, как оставить ее в покое». Карпов заметил: «Не лучше ль ее отвезти в монастырь?», но Оловеников возразил: «Этого делать никак нельзя, состоит это во власти его высочества. А ну как, братцы, его высочество из Царского Села нельзя будет взять?» Карпов предложил средство: «А вот как можно будет взять-то: как его высочество поедет гулять, а нас будет там человек 50 или 100, то и можно его будет оттуда увезть сюда в полк; а как его сюда привезут, поставит у Средней руки также человек 150, чтоб из Петербурга никто не выезжал». Оловеников одобрил меру, и все гренадеры сказали, что надобно сходить к кн. Борятинскому. Действительно, Михайло Иванов, Шмелев и Алексей Филиппов отправились к камергеру кн. Борятинскому, только с другою целью – они объявили князю: «Вот у нас в полку мушкатер Исаков приходил и говорил, чтоб великого князя возвести на престол, а мы теперь об этом в. с-ству объявляем, извольте об этом где донести». Борятинский отвечал им: «Подите, подите вы на место, бог с вами, я теперь это слышу».

Началось следствие. Оловеников описал собственноручно разговор свой с Селеховым насчет судьбы великого князя, императрицы и выбора нового императора: если великий князь принять престол не согласится, то сперва его, потом государыню лишит жизни, а в народе сказать, будто великого князя лишила жизни государыня, не любя его, в отмщение и ее убили, а в цари выбрать, кого солдаты захотят; этот умысел был открыт Подгорнову, Чуфаровскому, Карпову и Жихареву. Селехов спросил Оловеникова: «Да кого ж бы возвести-то?» Оловеников отвечал: «Как кого? Из наших сообщников того, кто больше в этом деле трудится». Селехов захохотал и сказал: «Да я думаю, тебя». – «А что ж, хотя б и меня», – сказал Оловеников. Селехов : «И, и, дурак! Да твоей ли роже царем-то быть, посмотрит-ка ты на себя, каков ты! Ты ж и говорить не умеешь да и ничего не смыслишь; так как тебе царством-то этакому дураку править? Ведь хотя гвардия-то вся и согласится, так еще есть две армии, так тогда и после что с нами сделают?» Оловяников : «Ну уж как гвардия-то здесь присягнет, армия так и станет думать, что уж так и остальное». По показанию Карпова, Оловяников

говорил о кн. Щербатове: «Он такой каналья гордый; к тому же воспитан в пышности, в роскоши; так как его возвести? Он никакой солдатской и мужичьей нужды не знает, так и будет думать, что все для него созданы». По показанию Иванова, Исаков говорил: «Государыню в монастырь, хотя она ничего дурного не делает, а все это делает Орлов, все по-своему ворочает; теперь поехал в армию уговорить солдат, чтоб они ему там присягнули, а как присягнут и он будет царь, то приведет сюда петербургский полк, а нас, всю гвардию, отсюда выведут».

Во время этого дела, 2 июня, Екатерина писала генерал-прокурору кн. Вяземскому: «Я нахожу, сия шайка такого роду, что, конечно, надлежит всех в ней имеющих вывести в наружу, дабы гвардию, колико возможно, на сей раз вычистить и корень зла истребить, сохраняя всегда умеренность и человеколюбие; но дабы вам облегчить труд возиться и исповедовать толикое число людей, то придаю вам для исследования сего дела Преображенского майора Маслова и обер-прокурора Всеволодского». Вслед за тем Екатерина писала Вяземскому: «Скажите Чичерину (генерал-полицеймейстеру), что если по городу слышно будет, что многие берутся и взяты солдаты под караул, то чтоб он выдумал бы бредню и ее б пропустил, чтоб настоящую закрыть, или же и то сказать можно, что заврались». Императрицу поразила молодость людей, толковавших о политическом перевороте, и она писала Вяземскому: «Я прочла все сии бумаги и удивляюсь, что такие молодые ребятки впали в такие беспутные дела: Селехов старший – и тому 22 года, а прочих, кроме розгами, ничем сечь не должно, одному 17, а другому 18 лет». Приговор состоялся такой: Оловеникова бить кнутом и сослать навеки в Нерчинск в тяжкую работу. Селехова гонять два раза шпицрутенном и написать в солдаты в дальний сибирский гарнизон; капралов Подгорнова и Чуфаровского как малолетних высечь розгами келейно и послать в сибирские полки солдатами; других же бить плетьюми и сослать в Нерчинск навеки.

Но в то время как мелкие люди, осмелившиеся обратить свое внимание на великана Орлова, гибли в пустынных сибирских пространствах, фаворит возвращался в Петербург с новым геройским значением: не героя только победителя и завоевателя, но героя – восстановителя спокойствия в обширнейшей столице и чрез это в целом государстве. Правда, и Орлов, как впоследствии Суворов, Петр Панин, был предупрежден событиями, но в минуту освобождения от опасности мало об этом думали, и официальная история, поставившая на первый план Орлова, сохраняла свое значение до последних времен. В выгодах Екатерины в обстоятельствах времени было превознести славу фаворита до небес: вот что за люди, которых она дала России! Выбита была медаль, воздвигнуты триумфальные ворота. На одной стороне медали был портрет Орлова, на другой изображен Курций, бросающийся в пропасть: надпись гласила: «Такового сына Россия имеет». Это Орлов заметил Екатерине: «Прикажи переменить надпись, обидную для других сынов отечества». Явилась другая надпись: «И Россия таких сынов имеет».

Понятно, что Екатерина должна была всеми средствами поддерживать Орлова, ибо уже по одному инстинкту самохранения судьба их была тесно связана друг с другом; первые удары, имевшие дать Павлу самостоятельное царствование, должны были посыпаться на Орлова. Орлов был лучший человек, который мог спасти государство, и было счастливое время, когда Екатерина была в этом

убеждена и со всею страстностию готова была поддерживать сие во всяком. Но теперь это время прошло: Екатерина имела время изучить Орлова, а главное – имела время охладеть к нему. Она находилась в самом затруднительном и тяжелом положении: страсти, сознания, что Орлов может все сделать, уже не было более, и в этом страшно было признаться, страшно в отношении к сердцу, страшно и в отношении к политическим обстоятельствам, ибо Орлов был теперь более, чем когда-либо, необходим для прекращения всех интриг в пользу самостоятельности Павла. Екатерина уже начала разбирать в письмах с приятелями разные стороны характера Орлова, и это был уже печальный шаг, показывавший, что она не находится с этим человеком в таких отношениях, когда характер и способности не разбираются. Для чего делала она этот разбор? По-видимому, для восхваления Орлова, но преимущественно для собственного оправдания, и здесь лежало уже начало разлуки. Она видела, что Орлов – человек с необыкновенною отвагою – не отличался ни обширным умом, ни просвещением; она думала, что он восполнит последнее трудом, и ошиблась. Он не мог помогать ей удержать то, что помог приобрести. Главное, что можно было выставить к чести Орлова, – это благонамеренность, патриотизм; но он не мог быть ни правителем, ни решителем важных вопросов государственных, он мог быть только во главе партии, и то поддерживаемый, подталкиваемый другими. В письме к приятельнице своей Бельке Екатерина разложила черты характера Орлова по поводу отправления его на Букурештский конгресс. «Граф Орлов, – писала она, – который без преувеличения первый красавец своего времени, должен действительно казаться ангелом перед этими гнусными турецкими бородачами; его свита блестящая и отборная; и мой посланник любит великолепие и блеск. Но держу пари, что его особа сокрушает всех вокруг: этот посланник удивительный человек, природа так роскошно наделила его со сторон ума, сердца, души, что у этого человека нет ничего приобретенного – все натура, и все хорошо; но госпожа натура также избаловала его, потому что прилежание труднее для него всего на свете, и до тридцати лет ничто не могло его к нему принудить. Несмотря на то, удивительно, сколько он знает; его естественная прозорливость так далека, что, слыша о предмете в первый раз, он схватывает его крепкие и слабые стороны и оставляет далеко позади себя человека, который начал об нем с ним говорить».

Похвала, страшно преувеличенная, вызванная понижением первой стороны, где показывалось, что с Орловым ничего сделать было нельзя. Но не это было главным: Орловым начали тяготиться как человеком; отношений 1768 года не было более, только посторонние препятствия мешали разрыву с человеком, который с своей стороны давал поводы к этому разрыву. По-видимому, легкая задача для людей, которые хотели отстранить Орлова в политических видах, но Орлов был могущество, с которым предстояла долгая борьба.

Орлов давно тяготился бездействием; лавры Румянцева и родного брата терзали его, поездка в Москву только раздражила его, и он хотел принять участие в новом подвиге. Это было опасно для его врагов, но, с другой стороны, они понимали, как легко будет удалить от него Екатерину во время этого отсутствия, ибо хорошо видели основу дела в том, что он уже наскучил.

С необыкновенным блеском, с блестящею свитою отправился Орлов в Букурешт и сейчас же должен был столкнуться с первым военным авторитетом времени – Румянцевым, что так выгодно было для врагов его. Мы видели, что в

Совете Орлов постоянно был за решительные меры, которые бы поскорее окончили войну, вследствие чего образовалось представление, что Румянцев медлен и что есть человек, который бы одним ударом решил дело, – мнение, разумеется, оскорбительное для Румянцева; и здесь уже вражда между Румянцевым и Алексеем Орловым, чесменским победителем; перекоры и нерасположение начались уж давно, и Орлов постоянно упрекал Румянцева в недеятельности. Отсюда тесная связь между Паниным и Румянцевым по одинаким отношениям к Орлову, причем связующими людьми, как видно, были Волконский и Потемкин. Волконский, удалившийся от Румянцева, как мы видели, является опять при нем, в самых нежных к нему отношениях. Волконского мы знаем, Потемкина встречали мельком. Его характер много рассматривали. Это был человек даровитый, но почти ни одно дарование его не могло быть применено к надлежащей цели по страшной жадности и честолюбию, питаемым неверностью положения. С малолетства первую его мечтою было игранье первой роли. Небогатый смоленский дворянин, он попал в Московский университет, но скоро бросил школьную науку, которая не обещала ему быстрого производства. Сначала интерес религиозный, в это время особенно в Москве имевший силу, занимал Потемкина: он не прочь был быть пастырем церкви и действовать тут на первом плане, почему занимался церковными вопросами, сближался с архиереями, которые могли ждать многого от даровитого молодого человека для своего дела. Но русскому дворянину тогда был один выход – военное поприще. Потемкина видим в гвардии, участвующим в деле 28 июня, но, к несчастью, во второстепенной роли: первую занял Орлов; но почему ж занял ее не он, Потемкин? Он сильнее Орлова, даровитее. Но если не удалось в первый раз, легко может удасться во второй. Терпение и интрига все преодолеют, особенно при виде некрепких способностей Орлова. Екатерина была польщена внимательностью другого атлета дружины 28 июня; его надобно было приобрести. Орловы, разумеется, морщились, но она умела сохранять мир между своими друзьями. Гораздо сильнее, как мы видели, были столкновения у Орлова с Паниными, первенствующими министрами государственными, особенно при образовании Императорского совета: здесь во мнениях раскрылись различия, и Орлов не всегда наблюдал должную осторожность, указывая, что русская политика не должна быть строго прусскою. Теперь страсти разгорелись в Орлове: он долго жил подле женщины, стерег ее – для чего? Большинство не знало, что же это за богатырь, о котором так кричали, который спас отечество. В Москве Орлов выказал себя правителем, теперь представлялся ему случай явиться дипломатом, но этот случай должен был повести и к военному начальству. Он ехал, с тем чтобы взять войско у нерешительного Румянцева и двинуться за Дунай и прямо на Константинополь. Следовательно, Румянцеву грозила большая опасность, и он тем охотнее соединялся с Паниными. А между тем в Петербурге не дремали: нужно было заменить персону Орлова и этим нанести решительный удар; и эта персона явилась в виде добрейшего, красивейшего, но пустейшего офицера Васильчикова. Все удивились, но больше всех должна была удивиться Екатерина, когда, одумавшись, обзрела свое новое окружение. Васильчиков вместо Орлова и Панин на первом плане! Она никогда не любила Панина после 28 июня; она иногда сближалась с ним, иногда удалялась, и самое тесное сближение вызвано было польским делом, во время которого Екатерина уверовала в какие-то

необыкновенные политические способности своего министра. С ухудшением польского дела ухудшались и отношения между Паниным и императрицею; но самый сильный удар был нанесен, когда граф Панин Петр высказал слишком резко свое неудовольствие по случаю взятия Бендер, вышел в отставку, не переставал бранить распоряжения Екатерины, а Никита также сердился и хотел непременно выйти в отставку, если б не удержал его приятель его датский министр Струсберг...

Дополнение

Обзор дипломатических сношений русского двора от Кучук-Кайнарджийского мира по 1780 год

1775

Чрезвычайным и полномочным послом в Константинополь был отправлен князь Никол. Вас. Репнин. В инструкции ему говорилось: «Окончив толь славно и толь счастливо войну тягостную, положили мы отныне впредь непоколебимым правилом государственной нашей политики упреждать и отвращать по крайней возможности все поводы и причины к повреждению мира и доброго согласия со всеми окрестными державами, особливо с Портою Оттоманскою, как тою из них, коея интересы восстановленным ныне миром более других развязаны с российскими во всяком между собою соперничестве, следовательно же, и поставлены тем самым в положение, взаимно и непосредственно на обе стороны нужное, полезное и драгоценное. Мы поручаем вам именно и точно изъяснять при всяком случае министерству турецкому сие наше политическое правило, а из оногo предпочтительную нашу склонность не только пребывать с Портою в лучшем согласии и соседстве, но и показывать ей по обстоятельствам всевозможные угодности в запечатление той искренности и того доброжелательства, с коими прекратили мы невольную войну и с коими хотим впредь пользоваться равно с нею богатыми плодами блаженного мира ко взаимной и ощутительной пользе обоюдных подданных, доколе она, Порта, будет сама сообразовать поступки свои мирным постановлением. Мы имеем причину думать, что она по сию пору научилась уже познавать истинную цену прежних своих мнимых друзей; пускай же теперь начнет испытывать на деле наши к ней мнения. Время, да и короткое, может ее затем лучше всего удостоверить, что Россия отнюдь и ни в чем не желает ущерба ее интересам, ее знатности и ее владениям. К вящему отвлечению внимания и сумнительств Порты от дел татарских может ныне более всего служить обращение оных, с другой стороны, на самовластное захвачение австрийским двором знатных кусков, возвращенных ей миром в полной целости княжеств Молдавского и Волошского. Тут отворите дверь проницанию и искусству вашим вселять бодрость и твердость в унылый дух сераля, не компрометируя, однако ж, себя пред венским двором, дабы нам инако не придти с оным в явную остуду без нужды и без пользы. Вы не оставите потому размерять отзывов ваших при Порте Оттоманской по мере обретаемых в ней

больше или меньше выгодных склонностей, внушая пристойными каналами или же и непосредственно кстати и ко времени, что Порты имела случай испытать со вредом своим цену австрийской дружбы и тех великолепных обетов, кои сей двор продал ей при начале нашей войны за весьма дорогую цену; что все удивляются безмолвному терпению ее в толь чувствительной обиде, каково есть самовластное овладение земель ее посреди мира и под маскою теснейшей дружбы; что, правда, империя Оттоманская гораздо поистощилась в минувшую войну и потому, может быть, опасаясь вящего себе изнурения в сущем уже истощении, убегает оказать справедливое свое восчувствование, дабы тем самым не быть втянутою в новую войну, и что сие ее описание едва ли может почитаемо быть справедливым, когда, с одной стороны, взять в рассуждение коренные ее силы, требующие только обновления бодрости в духе правителей, а с другой – критическую позицию венского двора между нами и союзником нашим королем прусским, обуздывающую его со всех почти сторон в самой внутренности его владений; что происходящая от оного основательная недоверка может в пользу Порты заменять действительную цесарцам диверсию, и, как их содержат на все стороны в тревоге и готовых силах на всякий нечаянный случай, так взаимно туркам облегчат их действия, или же и одни иногда достаточными быть могущие наружные оказательства, что напоследок Порты Оттоманская, примирившись единожды с нами на таких началах, кои мы сами прочнейшими и полезнейшими определили на будущие времена, может уже от империи нашей быть и оставаться навсегда в совершенной беспечности и безопасности, ибо теперь интересы ее во многих частях стали таковыми, что мы оным охотно способствовать хотим и будем». Репнин должен был противиться, чтоб другие державы, особенно Франция, не получили свободы мореплавания по Черному морю. Наконец, предписывалось: «О точном везде наблюдении, дабы единовверные наши нигде утесняемы не были по причине их исповедания, и чтоб вы во всяком случае ходатайствовали за оное и за православные церкви при Порте вследствие мирных артикулов 8, 14, 16 и 17-го, требуя скорого поправления в происходящих беспорядках, также и строжайшего, где надобно, подтверждения, чтоб впредь подобных обид нигде последовать не могло. Равным образом не оставите по 16-му артикулу дозволять протекцию и заступление ваше будущим при Порте поверенным обоим государей, молдавского и волошского, в их справедливых нуждах и просьбах».

С дороги близ Рушука Репнин уведомлял о получении из Константинополя донесений от Петерсона: два раза уже рейс-эфенди говорил ему о необходимости установить в Крыму наследственных ханов, которые не были бы подвержены низвержению. Екатерина написала: «Ни мы, ни турки права не имеем мешаться в татарские дела, ибо они (крымцы) суть независимы». Но по приезде в Константинополь Репнин должен был уведомить императрицу (25 октября) о неприятном положении там русских дел именно по отношению к татарам. «Здесь дела, – писал он, – неприятное положение берут и, как сказать, в критическом состоянии находятся». Рейс-эфенди говорил русскому переводчику Тамаре: «Порты знает, что не имеет никакого права требовать изменения статей мирного договора, но просит избавить и от гибели: чернь и духовенство, взволнованные татарами, требуют, чтоб Россия отступилась от независимости татар, которой этот народ не хочет, возвратили Порте Кинбурн и позволили ей оставить в своем владении Тамань. Репнин велел отвечать, что у Порты есть свой посол в России,

если хотят получить верный отказ на свои предложения, а что он, Репнин, и слышать не хочет ничего противного договору. Посол узнал, что турки намерены послать нарочного в Петербург, говоря, что посол их – дурак. Репнин так заканчивал свое донесение: „В таковом, как здешнее правление, ничего верного нет, понеже и сам государь не всегда верен в своем месте, почему, хотя и льщусь я, что до разрыва дело не дойдет, ко всему, однако ж, надлежит быть готовым. Татарские дела нас без важных хлопот николи не оставят, если не найден будет способ хана Девлет-Гирея и главных их чрез него выиграть, а у них деньги, я думаю, все могут сделать“. В ответном рескрипте императрицы говорилось: «Мы ожидаем высылки из Константинополя татарской депутации, служащей единственно к развращению турецкой черни, а тем самым и приводящей правительство в напрасные хлопоты и заботу; так равномерно непосредственного испражнения от войск крепости Таманской. Отнюдь не можем вмещать (понять), чтоб министерство Порты предпочло уступить несправедливым жалобам ветреных татар и нескладным жалобам некоторой части своей черни, нежели соблюсти достоинство свое пред светом, добрую веру пред нами и святость клятвы пред богом. *Между убеждений, которые много раз и пред сим уже повторены, можно поместить и сие уважение, кстати, что ежели правительству на все требовать согласия от черни и по ее прихотям переменивать государственные постановления, то ничего не будет ни священного, ни надежного* , а чрез то самое и погрузить себя паки в бездну неизвестностей, из которых выведено оно одною нашею умеренностию, что мы посреди войны предвидели уже, что татарское дело в новом его бытии не скоро придет в прямой его образ по дикости и легкомыслию татар; но, невзирая на сие, лучше хотели понести до времени некоторое от них беспокойство, следуя тут нашему собственному человеколюбию, нежели инако будущему с Портою Оттоманскою миру положить основанием совершенное их огнем и мечом истребление, которое всемерно состояло во власти нашей, по собственному тогда признанию всех вообще татар, от которого и ныне ни они, ниже сама Порта справедливо отрещись не могут; что, таким образом, и не уважаем мы настоящим сопротивлением татар собственному их благоденствию, довольствуясь тут соглашением и обязательствами Порты Оттоманской, определяющими оное на первый случай и предоставляя им образумиться от времени и испытания, когда они действительно уже вкусят неизвестные еще им плоды собственной независимости и между тем перебродят в своем квасе, только бы Порта не подавала им причины к соблазну уважением нынешних их жалоб, а особливо вывела из Тамани войска свои, остающиеся там под тщетным предлогом и именованьем гостей, которые, однако ж, употребляются от татар во все их внутренние раздоры да и сами себя считают не гостями, а владыками тамошних мест; что напоследок противу этого надобно действовать войском при согласии крымского хана, а иначе достигнуть этого нельзя; когда же начнется речь о войске, то выставляют препятствием мирный договор с Портою».

Когда послано было к хану Девлет-Гирею за пояснением кубанских событий, то хан отвечал прямо, что крымские и ногайские орды согласно отправили к Порте Оттоманской челобитчиков с прошением, чтоб им по закону магометанскому вольными не быть; но, не дожидаясь решения Порты, Шагин-Гирей с несколькими войсками приехал к Копылу и там непристойными

внушениями между народом хотел сделать коварную помеху общему намерению, что мусульманской чести непристойно. Кроме того, Шагин-Гирей первый напал ночью на несогласных с ним султанов, князей и мурз, которые принуждены были, спасая себя, отражать его нападения; Шагин-Гирей потерпел неудачу и возвратился. Между тем русский агент в Крыму капитан Мавроени в донесениях своих подтверждал то, что писал Шагин-Гирей о замыслах и обязательствах Девлет-Гирея. Мавроени доносил, что в прежнее время крымские ханы получали от турецкого султана жалованья не менее 80000 рублей; а теперь послам, отправленным в Константинополь, велено там сказать, что крымцы не только эти суммы получать не желают, но и от себя, сколько угодно, будут султану платить. Девлет-Гирей пригласил Мавроени к себе, принял очень ласково, пригласил сесть и начал говорить о Веселицком с сожалением, как его обидел, обесчестил бывший хан Сагиб-Гирей. Тут пришел бывший Нурадин-султан, и хан обратился к нему со словами: «Бога вы не боялись, что, получая подарки от этого доброго и почтенного старика Веселицкого, нанесли ему такое бесчестие». Нурадин отвечал: «Мы ему ничего не сделали, только послали посмотреть турецких военных кораблей». – «Таких военных кораблей он много видал, – сказал Мавроени, – но не так жаль того, что Веселицкого отправили под караулом смотреть турецких кораблей, как того, что при этом убито больше ста человек его свиты». – «Я бы этого никогда не сделал, – сказал хан, – а если бы и взял под караул, то по окончании дела отпустил бы честным образом. Это Сагиб-Гирей сделал по глупости; находящийся в Константинополе русский полковник (Петерсон) писал ко мне, требует пяти или шести человек русских солдат, которых будто бы мои татары украли; но их украл сам Шагин-Гирей и продал черкесам; он всем нашим обществом проклят; он будет наносить вред и России, и Турции, и Крыму, и потому надобно его взять или в Крым, или в Россию».

В конце июля дела Шагин-Гирея на Кубани пошли хорошо, и он писал Щербинину: «Сего июля 23 дня вступил я в крепость Копылы. Едичкульская орда вся и келичинское поколение мне подчинились, вследствие чего, каковы клятвенные уверения на присяжных листах утверждены печатями, дали мне, с оных препровождаю копии, прося вознесть оные к сведению ее и. в-ства с изъяснением моей наичувствительнейшей благодарности, которую по смерть мою продолжать не премину. Есть надежда в самом ближайшем времени и все мои дела с помощью божьей к желаемому концу довести; но только прошу вас, моего приятеля, не оставлять своим старанием и ходатайством о доставлении мне высококомарших пособий и впредь таковых, каковыми я до сего из особенного великодушия и милосердия ее в-ства имел счастье снабдеваем быть». В письме к Бринку Шагин-Гирей прямо указывал, какие ему нужны пособия: «Очень было бы хорошо при Едичкульской орде определить русскую команду; а силы команды определить нельзя, то снабдить хотя денежным вспоможением». Находившийся при Шагин-Гирее переводчик Константинов писал Щербинину: «Нет надежды укрепить этот край одною властью калги-султана над здешними ордами, ибо власть его без подкрепления с нашей стороны очень слаба. Теперь самое удобное время к возведению Шагин-Гирея в ханы, ибо, с одной стороны, в Крыму замешательство, с другой – обласканные нашими деньгами здешние народы еще не простудили горячих обещаний султану, которые по прошествии некоторого времени могут подвергнуться перемене; итак, надобно ковать железо пока горячо.

Для достижения цели надобно употребить еще столько же денег, сколько издержано, и двинуть войска без нарушения, впрочем, договора, а подумает сама Порты, да если хочет и вразумить татарам, что в случае новой за них между обеими империями войны они, татары, будут первою необходимою и, может быть, и единою жертвою оной, что тогда, испытав мы ныне тщетность попечения нашего о их целости и благосостоянии, не возможем уже при всей нашей претительности к строгим и жестоким мерам возбранить истинному и существительному интересу империи нашей отяготить над татарами всю свирепость оружия и разрушив самое их бытие, дабы оное впредь не могло паки претвориться в источник раздора между Россиею и Портою Оттоманскою».

Преданный России калга-султан Шагин-Гирей не уживался с татарами, и когда Щербинин увещевал его, чтоб старался приобрести популярность у своего народа и представлял в пример хана Девлет-Гирея, который ласковостью достиг ханства, то Шагин-Гирей отвечал: «Девлет-Гирей приобрел ханское достоинство клятвенным обещанием уничтожить татарскую независимость». Когда брат мой Сагиб-Гирей письменно спросил крымцев, за какую вину отрешили они его от ханства, спросил в таких выражениях: «К лишению чина и удалению из отечества брата моего калги-султана (Шагин-Гирея) объявили вы ту причину, будто он держится русской стороны, имея к ней сильную привязанность, но против меня что вы можете сказать?» – то крымцы отвечали ему: «Мы не имеем к вам никакого опасения, подозрения и сомнения, но предпочли мы вам Девлет-Гирея единственно потому, что он клятвенно обещал уничтожить тяжкую для нас независимость, ибо по причине поступков наших против России вольность должна быть причиною нашей гибели и разорения». Калга-султан дал знать, что крымцы, потеряв надежду, чтобы Порты удержала их в своем подданстве, обратились тайным образом к янычарскому обществу с внушением, что если Порты оставит их под покровительством России, державы христианской, то они принуждены будут покинуть магометанский закон; янычары отвечали, чтоб крымцы прислали к ним об этом явное прошение, обещаясь помочь им, и крымцы послали прошение.

Этого калгу, Шагин-Гирея, в Петербурге хотели утвердить на Кубани, среди ногайских или едисанских татар, и Щербинин получил повеление «удержать калгу-султана как в хорошем его расположении к интересам высочайшего двора, так и в знатности, кредите и почтении между ногайскими ордами, дабы его иметь на всякий случай готовым и надежным орудием к преграде» совокупным проискам Порты Оттоманской и хана крымского. Но совокупные происки предупредили. Назначенный от Девлет-Гирея на Кубань сераскиром Тохтамыш-Гирей-султан соединился в октябре с султанами, вышедшими из Темрюка, попал на часть Едичкульской орды, преданную Шахин-Гирею, перебил и ограбил сопротивлявшихся; спаслось только 18 мурз, которые прибежали к Шагин-Гирею с укорами, что он обнадежил их русскою помощью, а между тем выдал на разоренье. Шагин-Гирей, видя, что находившийся при нем русский эскадрон не в состоянии защитить его, уговорил его отойти, а сам отдался в плен татарам, когда султаны и мурзы по настоянию русских присягнули, что ему никакого вреда не будет. Русский отряд при своем уходе встретил большие препятствия: при переправе через реку бежавшие еще при Петре Великом донские казаки-некрасовцы дали ему лодки, но вытребовали сто рублей; а татары

потребовали, чтоб он дал им подписку, что не видал от них никаких враждебных действий, иначе велят сейчас же разграбить и разбить; подписку принуждены были дать.

Бригадир Бринк, стоявший при устье Еи, отправился к Калге узнать от него самого о положении дел. Калга объявил, что для утверждения вольности крымских татар необходимо издание манифестов с русской и турецкой стороны с ясным заявлением, что старания об уничтожении этой вольности не будут приятны ни той, ни другой державе: тогда татары и успокоятся на этом как на решении судьбы. «Так как твердое соблюдение постановленного, – говорил калга, – будет непосредственно зависеть от крымских ханов, то судите: если душа не может терпеть какой вещи, то может ли вместить в себя эту вещь тело? Если же чего душа желает страстно, может ли вопреки ее склонности тело этого не принять? Каждый властитель есть душа своей области. По этой причине я и заявлял много раз, что, пока крымский хан не будет внутренне склонен к независимости, до тех пор ненадежна прочность трактата и спокойное поведение татарского народа. Об этом повторял я много раз и князю Василию Михайловичу Долгорукову, и Евдокиму Анисьевичу Щербинину, когда по высочайшей воле я уезжал из Полтавы в здешний край. Решено было действовать здешнею стороною, но для этого необходимо овладеть Таманом, что и было бы мною сделано, если бы, во-первых, не было тут войска турецкого, а во-вторых, если б исполнена была просьба Едичкульской орды о защите ее войском. Если есть намерение успокоить ногаев и утвердить между ними вольность, то под предлогом перевода войска через здешние места от Азова для усиления керченского гарнизона».

В Польше Штакельберг представлял о необходимости окончить сейм, предоставив дело об определении границ Постоянному совету. Панин отвечал ему, что это и его собственная мысль и что императрица поручает ему, Штакельбергу привести ее в исполнение. «Вы употребите вашу обычную деятельность, – писал Панин 8 января, – приготовить умы к этому и особенно согласить своих товарищей. Я говорил об этом с князем Лобковичем и графом Сольмсом, и они будут настаивать на исполнении нашего намерения при своих дворах». В конце января Штакельберг писал: «Слишком много причин бояться, что польские дела, затягиваясь, кончатся полным разрушением этого государства, так что не будет никаких средств помешать этому событию. Я успел вывести иностранные войска из королевства, я буду неутомимо препятствовать, чтоб они не вошли опять; но мне нельзя будет предотвратить это несчастье, если интерес каких-нибудь магнатов, которые среди смуты надеются осуществить свои честолюбивые планы, возьмет верх над интересом государственным. Бенуа мне сказал, что его король принял твердое решение ввести свои войска в Польшу, если поляки не кончат к 1 марта. Я счел своею обязанностью предуведомить их об этом, указать им на опасность; они должны уже пенять сами на себя, если хотят низвергнуться в пропасть. Я сделал для себя постоянным принципом соединять счастье и спокойствие Польши с интересами России, они неразрывны; и думаю, что сердце и человеколюбие ее и. в. будут этим удовлетворены. Перемены, произведенные в форме правительства, сделаны согласно этому принципу, настоящему положению Польши и соединенному плану троих дворов. Но здесь существует значительная партия; будучи недовольна тем, что делается, она хочет все перевернуть вверх дном и восстановить прежнюю анархию. Она питается мечтами и обнимает

малейший фантом. Если неистощимые интриги, которыми она осаждает все дворы, могущие иметь влияние на судьбу Польши, получают малейший успех, это государство должно погибнуть. Я ездил к королю, чтоб уговориться насчет окончания дел, я нашел у него Браницкого; и мы вместе с королем стали его убеждать, какими опасностями грозит проволочка. Наконец, нам показалось, что он убедился и обещал искренне нам содействовать».

В начале февраля, уведомляя о возобновлении конференций с делегацией, Штакельберг опять жаловался на медленность, выставляя ей две причины: «Несогласие, господствующее между вельможами польскими, которые собираются на конференции у короля для рассуждения о делах собственно польских, не интересующих соседние государства. Вторая причина, переставшая быть тайной для поляков, состоит в решительном нежелании моих обеих товарищей, особенно Бенуа, окончить дела. Легко понять влияние этого на химерические умы поляков. Я притворяюсь, что не замечаю расположения моих товарищей и продолжаю двигать дела, пока их летаргия не превратилась в оппозицию. В тайных внушениях нет недостатка. Вероятно, оба двора надеются, что продолжение дел будет для них источником благоприятных событий. Трудность моей роли между польскими фантазиями и политикой обеих товарищей не избежит от вашего внимания. Существенный интерес ее величества, состоящий в сохранении здешней страны, предписывает мне величайшую осторожность. Мне предстоит одно из двух: или лавировать, преодолевая трудности переговорами, способными согласить общие и частные интересы с моею целью, или круто повернуть дело, чтоб были введены иностранные войска; я предпочитаю первое, хотя оно требует много времени, ибо второе повлечет к величайшим затруднениям, увеличивая претензии двух дворов, раз их войска вступят в страну. Ваше сиятельство, употребите весь свой кредит при обоих дворах; чтоб убедить их в необходимости кончить дело, а не отравлять их с целью поделить остальную Польшу».

От 14 февраля Штакельберг уведомил, что начали рассуждать о диссидентском деле. Обнаружились прежний фанатизм, прежние волнения, «Нунций, все духовенство, все монахи постоянно осаждают членов делегации, внушая им ревность самую слепую. Ревницкий явно проповедует согласие, а под рукою поддерживает все внушения нунция. Наконец, когда положили начать дело, Ревницкий сказал, что, несмотря на согласие, царствующее между тремя дворами, его двор, будучи католическим, не может покинуть своей религии; не одобряя ничего, что может повести к притеснениям диссидентов и греков-неуниатов, он, Ревницкий, предложит свои добрые услуги для поддержания прав господствующей религии. Так как под этими словами разумеется вообще исключение диссидентов из законодательства, то легко представить впечатление, произведенное этими словами на фанатиков, у которых большинство. Когда Ревницкий кончил, я стал уговаривать делегацию обратить внимание на слова австрийского министра насчет удаления его двора от поддерживания фанатизма и религиозного преследования. Эти чудовища часто окровавливали Польшу и в последнее время дали предлог к бунту и войне междоусобной, так что соседние дворы должны были войти в соглашение о восстановлении спокойствия. Я кончил словами, что всегда с удовольствием приму добрые услуги Ревницкого в переговорах, относительно которых, мне кажется, делегация руководится ложным принципом: кажется, она

думает, что дело надобно начинать сначала, тогда как мы должны отправляться от оснований, которым служит договор 1768 года. Бенуа почти слово в слово повторил мою речь, прибавив, что его государь старался и всегда будет стараться о поддержании прав диссидентов. Ревницкий не сказал больше ни слова, а назначили епископов и несколько сенаторов и шляхты для конференций в моем доме; Ревницкий объявил, что не будет присутствовать при этих конференциях, хотя прежде обещал добрые услуги. Я постарался пригласить Бенуа».

16 февраля окончилось *страшное* диссидентское дело, по выражению Штакельберга. Поведение Ревницкого заставило Штакельберга и Бенуа потребовать от него положительного объяснения, имеет ли он от своего двора приказание разорвать соглашение между тремя дворами из-за диссидентского дела. Прижатый таким образом к стене, Ревницкий стал выражаться яснее пред поляками, и те стали умереннее. Диссиденты и греки-неуниаты сохранили право участвовать в законодательстве только в определенном числе. Подтверждены были права православной и диссидентской шляхты на все должности военные, административные и судебные, а чрез это для них осталась отворенною дверь ко вступлению в Постоянный совет. Поведение Ревницкого так рассердило Екатерину, что когда австрийский двор стал просить позволения закупать лошадей на юге России, то она написала: «Отказано, все лошади померли». Но оставалось еще дело о торговом договоре между Польшею и Пруссиею. «Кажется, – писал Штакельберг, – что прусский король или вовсе не хочет заключать торгового договора или низвести Польшу на степень прусской колонии». Штакельберг должен был, по его выражению, принять на себя в этом деле роль польского уполномоченного, уговаривая Бенуа быть снисходительным. Но уговоры не помогали. Положение Штакельберга было затруднено тем, что русская армия возвращалась после турецкой войны чрез польские владения, отчего поднялся страшный крик на сейме, жалобы на разорение, требование, чтоб армия была немедленно выведена.

Дело о торговом договоре с Пруссиею не двигалось. Бенуа требовал, чтоб все прусские мануфактурные произведения входили в Польшу беспошлинно, а польские, входя в Пруссию, оплачивались. Наконец Штакельбергу удалось уговорить Бенуа согласиться на взаимность относительно пошлин. 1 апреля посол известил Панина о спокойном окончании двухгодичного сейма, который, как иногда казалось, должен был кончиться разрушением Польши. Дело определения границ осталось на решении Постоянного совета, согласно желанию Панина и Штакельберга. Трескучая речь гетмана Браницкого против раздела и против намерения Пруссии и Австрии увеличить свои владения вопреки договору о разделе не произвела ожидаемого им впечатления; поляки не отозвались на его предложение идти с оружием в руках защищать свои границы.

В январе Фридрих II писал Сольмсу: «Кажется, гр. Панин подозревает меня в добром расположении к венскому двору; но многого недостает, чтоб я почувствовал к нему нежность. Я знаю его дух, его образ мыслей, я испытал от него много зла. Его последний договор с Портою и другие его деяния должны внушить мне отвращение от двора, который не полагает границ своему двоедушию и который так легко делается банкротом в добросовестности, если это банкротство благоприятствует его интересам. Я не одобрял его новых приобретений, я согласился на них только для избежания неблагоприятных дрызг

и чтоб не дать повода к ссоре между тремя дворами. Но я очень хорошо видел, что Австрия берет вдвое против своей доли как землею, так и людьми; ее недавний захват в Молдавии и Валахии исполняет меру ее ненасытности, и приращение силы, которой она этим достигает, вовсе не шуточное. Несмотря на все это, европейские отношения и война, которую Россия только что кончила, заставляют меня думать, что теперь не время противиться Австрии. Между тем поведение Австрии требует величайшего внимания и заслуживает серьезных размышлений относительно будущего. Надобно подумать, как бы поставить оплот жадности австрийского дома, который, если дать ему волю, перейдет всякие границы. Я буду очень рад узнать мысли графа Панина на этот счет. Я думаю, что, когда придет время положить должные границы его честолюбию и усилению, надобно будет начать дело переговорами, чтоб приготовить материал и не поступить опрометчиво в проведении нужных мер. Положение австрийского дома может сделаться очень критическим. Предложение посредничества в деле Молдавии и Валахии, сделанное Франциею Порте, кажется, очень способно поссорить Австрию с этою державою. У ней также недоразумение с Англиею, так что безо всякого чуда венский двор может очутиться одиноким, подверженным ненависти целой Европы. Между тем очень верно, что он не уступит ни пяди земли, захваченной в Польше, что мой пример перенесения границы назад не произвел на него никакого действия, вследствие чего я опять продвинул ее вперед, чтоб не усиливать еще более Австрии. В таком положении находятся дела теперь. Я вполне согласен с графом Паниным, что так как переговоры с делегациею и депутатами нескончаемы, то пусть каждый остается при том, что имеет в ожидании более благоприятного времени, когда можно будет получить ратификацию Польской республики, а между тем оканчивать успокоение этой страны независимо от дела установления границ. Мне кажется, что мое внушение об опасности, угрожающей польскому королю в случае выхода русских войск из Польши, не произвело надлежащего впечатления на графа Панина, хотя оно заслуживает внимания; ибо верно, что польская нация согласна в одном – в общей и сильной ненависти к этому государю».

В мае месяце Фридрих II был встревожен депешою, полученною из Варшавы от Бенуа: «Гетман Браницкий отправляется в Москву. Так как он внушает полякам, что у него особенные связи при русском дворе, могущие произвести со временем полную перемену системы в отношениях трех держав, соседних Польше, то легко заключить, с каким намерением граф Браницкий предпринимает это путешествие. Его план состоит в том, чтоб разъединить три двора, для чего он не оставит употребить всякого рода ложные донесения, посредством которых он надеется уверить петербургский двор, что все сделанное на последнем сейме никуда не годится и надобно установить другую правительственную форму. Он особенно хвастался тем, что генерал Потемкин вполне ему сочувствует и потому он знает гораздо больше, чем русский министр в Варшаве, который ходит ощупью. Он придает огромную важность учтивостям, которые ему будут оказаны в Москве. Поляки уже наострили уши и ждут с нетерпением последствий этой новой поездки. Какой-то Монтрезор, которого Браницкий отправил в Москву и на которого здешние невежды смотрят как на поверенного в делах при русском дворе, недавно написал Браницкому, что в России рахваливают его поведение в

делегации и особенно восхищаются его прекрасною речью, произнесенною в конце сейма».

При русском дворе и без Браницкого знали, какое влияние произведено в Польше тем, что Фридрих II велел присягать себе на верность жителям тех польских местностей, которые не следовали ему по договору. Панин, несмотря на все свое доброжелательство к Пруссии, должен был выразить Сольмсу неодобрение своего двора такому поступку. Фридрих писал по этому случаю своему послу: «Вам было бы легко оправдать мой поступок, напомнив этому министру, что основанием нашего раздельного договора было соблюдение совершенного равенства между долями соразделяющих государств. Когда Россия нашла противным смыслу договора, чтоб Австрия распространила свои границы за Сбруч, а я за Нетце, я сейчас же перенес мои пограничные столпы со спорного места из уважения к представлениям России, моей доброй и искренней союзницы; я сделал это в надежде, что Австрия окажет такое же уважение к русским представлениям и по моему примеру удержится от распространения своих границ. Но так как эта надежда не исполнилась, Австрия продолжает удерживать свой захват, то я счел себя вправе опять подвинуть вперед свои пограничные столпы и потребовать присяги от жителей. Ни один справедливый человек не может требовать, чтоб я один принес требуемую жертву, и Россия может желать одного: когда Австрия сократит свои границы, чтоб и я сделал то же самое. Если моя добрая союзница склонит к этому венский двор, то не встретит с моей стороны ни малейшего препятствия!»

А в Вене шел другой разговор. Кауниц говорил кн. Голицыну: «Польская республика дурно соблюдает свои интересы, выставляя столько препятствий для определения границ, ибо, чем более тянет она это дело, тем более король прусский пользуется им для распространения своих границ». – «Если б Австрия, – возразил Голицын, – пожертвовала округом, о котором сначала шел весь спор, то она отняла бы у короля предлог переступить с своей стороны границы, предписанные договором». – «Все это так, – отвечал Кауниц, – но так как мы взяли то, что нам принадлежит, то противно было бы достоинству моего двора отступить со вредом для него, чтоб только воспрепятствовать захвату короля. И теперь нельзя моему двору подвергнуть себя такому посмешищу». Голицын заметил на это, что венский двор требует здесь посредничества России, но положение последней будет крайне затруднительно при решении такого дела, где ни одна сторона не хочет уступить, не обращая никакого внимания на обиду польского народа, обиду явную относительно захвата прусского короля и довольно правдоподобную относительно австрийских занятий. При всем желании уладить дело Россия не может тут ничего сделать. Кауниц отвечал, что его двор держится договора, где прямо сказано, что в случае спора относительно разграничения дворы взаимно принимают на себя посредничество.

Из Парижа кн. Борятинский писал: «По многим отзывам и ответам здешнего министерства, равно как и по распоряжении внутренних дел, наверно почти полагают, что здешний двор желает надолго остаться в покое, если можно ни в какие посторонние дела не вмешиваться; король и граф Морепе все внимание обратили к поправлению внутренних дел, которые в немалом расстройстве, особенно финансы. От графа Верженя по тихости его нрава и по малому его при дворе кредиту никаких широких замыслов ожидать нельзя». Когда Борятинский

по поводу знаменитого разрыва Англии со своими североамериканскими колониями начал говорить с Верженом, что в публике толкуют о войне Испании и Франции против Англии, то Вержен отвечал: «Осмеливаюсь утверждать, что Испания ни прямо, ни косвенно не станет покровительствовать английским колониям, ибо этим подала бы повод своим и чужим колониям оказывать такое же упорство и непослушание метрополиям; а мы с своей стороны очень далеки от того, чтоб тревожить Англию. Что касается меня лично, то главнейшее мое старание всегда будет о сохранении мира и тишины; да и король смотрит на дело таким же образом. Хотя Англия и делает вид, что ссору свою с колониями считает делом маловажным, а в действительности очень этим озабочена, ибо, сколько нам известно, торговля с Америкой приносит ей более двух миллионов фунтов». А между тем в публике шел слух, что будет война с Англиею.

Стахийев из Стокгольма в начале года доносил, что король наедине жаловался на скупость французского двора и выражал свое неудовольствие против графа Верженя. «Мне уж начинают наскучивать опекунские поучения этого министра нашему посланнику графу Крейцу», – говорил Густав. Разнесся слух, что хотят созвать чрезвычайный сейм вследствие убожества казны; а между тем от знатных лиц слышались жалобы, что король нимало не заботится о порядочном производстве государственных дел, заботится только об удовлетворении своих и своей фамилии прихотей и забав, не обращая внимания, что они наконец становятся несносными для государства; пренебрегает представлениями, которые ему делаются против его роскошной жизни, все более и более слушается советов молодых людей, а пожилых убеждает; а из провинций приходили жалобы на несносную тягость податей, на строгость, с какою они собираются. На маскараде сенатор граф Ферзен говорил датскому посланнику: «Прежний французский посланник граф Вержень, как дельный человек, не мог быть приятен нашему двору. Гораздо ласковее обращаются с настоящим посланником графом Дюсоном, потому что он искусен в задавании пиров и в других пустяках, а дельными представлениями беспокоить не любит, а нам то и надобно. Его величество гораздо охотнее бывает в маскараде, чем в Сенате, ибо в Сенате ему беспрестанно жалуются на скудость государственной казны, а в маскараде он видит удалых и беззаботных юношей с ласковыми женщинами, которые скорее представляют здешнее государство богатым, чем изнуренным». Печать, не смея говорить явно, расхваливала короля Карла XI именно за те качества, которых не было у Густава III.

Стахийев переведен был в Константинополь; на его место приехал Симолин из Копенгагена в конце мая и писал Панину: «Так как большинство живет по деревням, то я видел только не многих из наших старых друзей, или колпаков; я обошелся с ними как можно радушнее, хотя мы не можем извлечь из них никакой пользы для наших видов и интересов в этой стране». Король ездил в Финляндию и был очень недоволен этою поездкою, потому что императрица писала ему перед тем, что не может с ним видаться по причине поездки в Москву. Приехавши в Финляндию, Густав отправил в Москву графа Левенгаупта с известием о своем прибытии в соседство России. Чтоб заплатить учтивостью за учтивость, Екатерина отправила в Стокгольм графа Андрея Шувалова поздравить короля с возвращением из путешествия. Король долго не принимал Шувалова, наконец принял. «Во время аудиенции, – писал Шувалов, – король был задумчив,

несколько смущен и холоден. Я его нашел одного сидящего почти на столе посреди кабинета. После моей речи и его ответа вдруг его величество соизволил переменить осанку и голос и с некоторою ласкою близ получаса изволил разговаривать о посторонних совсем материях: о французских писателях, о новой философии, о просвещении века нашего и о прочем подающем способы блистать острою. Но притом мне показалось, что король когда и обращал иногда разговор на Россию, то с крайнею осторожностью выбирал речи, которые бы не могли подать повода к малейшей похвале России в рассуждении славных ее побед, заключенного знаменитого мира или прошедших по тому случаю торжеств, также и о их императорских высочествах (великом князе Павле Петровиче и супруге его) ни единого слова не спросил и не молвил. Теперь уведомить не безнужно почитаю, что король и его друзья в рассуждении России всю свою надежду полагают на французские интриги в том мнении, что они могут свести российский и шведский дворы или по крайней мере уменьшить справедливое раздражение нашего двора, которое тем для них страшнее, что оно скрыто и в границах наружной благопристойности обращается». 14 августа Шувалов писал: «Ледяной прием, испытанный мною по приезде сюда, не изменился до сей минуты, когда я получил отпускную аудиенцию у короля. Верю, что Левенгаупт уговорил короля таким образом обойтись со мною, ибо известно, что король не отказывает ни в чем своим фаворитам. Но не менее верно, что французский посланник – самая не министерская голова, какая только есть в распоряжении версальского кабинета, – сильно заподозрил мой приезд. Он испугался, что я прислан сделать королю некоторые внушения и чтоб король также через меня не сделал каких-нибудь секретных предложений русскому двору. Первый страх был основан на общем здесь мнении, что, наверное, под моим церемониальным поручением скрывается что-нибудь более существенное. Второй страх был основан на знании характера королевского, колеблющегося, чрезвычайно легкомысленного и жадного к новому, характера, который смущает и волнует постоянно всех шведов, лакеев версальского двора и распространяет луч радости и надежды в душе их противников. Это объясняется смущенным, задумчивым и беспокойным видом французского посланника в первые дни моего приезда. Кроме того, две вещи подтверждают меня в этом мнении: первое – незадолго до моего приезда была размолвка между королем и посланником, который обнаружил недоверие к королю относительно России; второе, что меня считают здесь человеком, ненавидящим Францию за ее политику. По этим причинам мы с Симолиным заключили, что французский посланник для спокойствия и удовлетворения своего двора потребовал, чтоб со мною обошлись более чем равнодушно, особенно, чтобы привести в отчаяние шведов, друзей России, показать им, что король держится твердо с помощью Франции и не имеет нужды заискивать у России».

По словам Шувалова, с Симолиным обращались так же холодно, как и с ним. Одинаковое невнимание испытывал и прусский посланник граф Ностиц, тогда как особенною любезностью пользовался австрийский посланник молодой граф Кауниц, сын знаменитого канцлера. Французский посланник не пропускал случая внушать Симолину, как прусский король опасен для спокойствия своих соседей; как Россия и Франция должны быть в тесном союзе для сдержания честолюбия и хищничества этого государя; но француз не мог удержаться, увлекся, пересолил:

стал утверждать, что Фридрих II был единственным виновником последней турецкой войны, польских смут и всех затруднений, испытанных императрицею.

Панин в разговоре с Нолькеном, шведским посланником при русском дворе, обнаружил неудовольствие насчет ледяного приема Шувалова в Швеции. Нолькен, разумеется, дал знать об этом королю; как же тот объяснил дело перед своими? За обедом он начал говорить: «Граф Шувалов очень недоволен своим пребыванием здесь, и я вовсе этому не удивляюсь. Человека, слишком великолепного и думающего о себе, что он умнее всех на свете, императрица прислала ко мне. человеку, простому во всем. Вы видели, что на прощальной аудиенции, которую я ему давал, я был одет в простом мундире, а он расшит с головы до ног и покрыт бриллиантами. Императрица думала нас здесь ослепить остроумием и великолепием Шувалова». Передавая Панину эти слова Густава, Симолин прибавил: «Правда, что его величество на последней аудиенции надел самый истасканный и грязный мундир, какой только можно было отыскать в гардеробе, чтоб показать придворным контраст относительно графа Шувалова».

Симолину дано было позволение удалиться из Стокгольма, если холодность к нему двора будет продолжаться. 30 октября он дал знать, что когда он был на аудиенции у герцогини Зюдерманландской, супруги королевского брата, то дежурный кавалер не встретил и не проводил его, как того требовал обычай, строго соблюдавшийся и в королевском дворце. Симолин писал по этому случаю к Панину, что такое неуважение дает ему полное право воспользоваться позволением императрицы и уехать из Швеции, и Екатерина написала на его письме: «Скажите же ему, что он может уехать». Симолин писал также, что шведский двор занимается выдумками на его счет. Так, выдуманно, что существует клуб недовольных, где он председателем; что он только притворяется больным для избежания позора, а между тем проводит ночи в этом клубе; дирекция театров сделала ему неприятность относительно абонементов.

Донесения свои из Лондона Мусин-Пушкин начал словами: «Положение американских дел почти дошло уже до созревшей кризисы». Это положение дел отнимало окончательно у Англии возможность вмешиваться в восточные дела против русских интересов и заставляло искать русской помощи в предположении, что естественные враги Англии – Испания и Франция должны будут вмешаться в американскую борьбу. Поэтому, когда Порта потребовала посредничества английского короля относительно смягчения Кучук-Кайнарджийских условий, то получила отказ; летом Мусин-Пушкин был отозван и уехал, сдавши дела советнику посольства Лизакевичу. В Москве, где так пышно торжествовали Кучук-Кайнарджийский мир, радуясь так давно и страстно желанному успокоению, Екатерина получила письмо короля Георга III от 1 сентября: «Я принимаю помощь, которую ваш министр предложил кавалеру Гуннингу, принимаю отряд русского войска, который может сделаться для меня необходимым вследствие бунта моих подданных в американских колониях». Екатерина отвечала (23 сентября): «Громадные военные приготовления Испании привлекали взоры всей Европы; все думали, что они будут направлены против владений в. в-ства, против британского народа, который сам думал также и беспокоился. В это время при таком положении политических дел министр в. в-ства при моем дворе желал иметь подтверждение моих чувств, всегда громко объявляемых за вас и за ваш народ. Я немедленно велела объявить ему чрез мое министерство, что в.

величество может рассчитывать на мое доброе расположение, на мою готовность быть вам полезною и оказать вам действительные услуги независимо от предварительных между нами обязательств. Опасения относительно Испании исчезли, и в. в-ство уведомляет меня своим письмом и чрез своего министра, что вы объяснили и определили результат этих моих уверений в двадцатитысячный отряд моего войска, который должен быть будущею весною перевезен в Канаду. Я не могу от вас скрыть, что такое вспоможение с таким назначением не только изменяет сущность моих предложений, но переходит границы моей возможности служить вам. Я только что начала наслаждаться миром, и в. величество знаете, как моя империя нуждается в спокойствии. Вам также известно, в каком положении армия, хотя и победоносная, выходит из войны, долгой и упорной, ведшейся в климате убийственном. Признаюсь прежде всего, что весенний срок очень короток для восстановления моей армии. Я не говорю о неудобствах, которые встретят такой значительный отряд в другом полушарии, оставаясь под властью, ему почти неизвестною, и почти лишенный всяких сообщений с своим правительством. Для собственного удостоверения в мире, который мне стоил таких усилий, я не могу так скоро лишиться себя такой значительной части войска; и в. в-ство знаете, что столкновения с Швециею только временно заснули и польские дела еще окончательно не установлены. Не могу не подумать и о том, согласно ли с нашим достоинством, с достоинством двух монархий и двоих народов, соединять свои силы для того только, чтоб утушить бунт, не подкрепляемый никакою иностранною державою. Быть может, также я должна выставить на вид, что ни одна из держав, имеющих владения в Новом Мире, не будет смотреть равнодушно на эту перевозку столь значительного иностранного войска. Тогда как теперь они не принимают никакого участия в ссоре английских колоний с метрополиею, они вмешаются в дело, увидя, что имеющий важное значение и новый для Америки народ призван принять в нем участие. Отсюда очень вероятно европейская война вместо мира, в котором Англия удостоверена с этой стороны».

А между тем Лизакевич доносил от 20 октября, что все английские газеты наполнены известиями о посылке русского войска в Америку, что не только англичане, но и многие ино странные министры в том уверены.

1776

Полтора года прошло с заключения Кучук-Кайнарджийского мира, и в начале 1776 года в Петербурге еще не были убеждены, что война с Портою не начнется опять в самом непродолжительном времени. В марте Панин выражался так: «Ясно, чрезвычайное упорство Турции заставит нас отказаться от какого-нибудь из мирных условий, особенно от независимости татар, самого тяжкого для них условия. Мы пойдем хладнокровно, шаг за шагом, с большою осторожностью, чтоб разъяснить это положение Порте и применить потом наши средства. Мы не предполагаем, чтоб они уже решились на самые крайние меры, и мы по возможности будем стараться не доводить их до этого». Тогда же императрица писала Панину: «Скажите Стахиеву и то, что неизвестно, ищет ли Порта вправду

нарушить с нами мир чрез подобные затруднения в выполнении трактата, или только что министерство их желает корысти: то обещание процентов с сумм платимых (денег) будет способ нам узнать прямое их намерение и по тому брать меры. Прибавьте еще, что весьма нужно скорее о сем иметь известие». До приезда Стахиева в Константинополь Репнин писал Панину от 21 января: «Не могу довольно изъяснить, с каким прискорбием вижу себя в том положении, что нет от меня отправления, в котором бы не доносил я какой новой неприятности. Нынешняя, т.е. отказ Порты платить должные по трактату нам деньги, и с теми изъяснениями, которые рейс-эфенди при сем случае моему переводчику сделал, кажется, ясно доказывает их решимость Тамани и татарских дел не оставлять, тоже денег нам должных не платить да по возможности и прочие предписания трактата по частям уничтожать, нарушая таким образом свои обязательства под коварными предложениями и не начиная сами войны, но отваживаясь и готовясь ко всем могущим быть следствиям. Вижу я притом почти несомненно, что рейс-эфенди и драгоман Порты совершенно преданы австрийцам и французам и что с ними о всех наших делах советуют». Репнин доносил, что турки усиливают флот. Впрочем, перед самым отъездом Репнина Порта объявила ему, что решилась продолжать платеж денег.

12 февраля приехал в Константинополь Стахиев и в апреле дал знать, что, «кажется, турецкое министерство не намерено отступить от своих беспутных и невежливых требований относительно татар». Несмотря на обещание, данное Репнину и повторенное Стахиеву, до конца мая заплачено было только 200000 левков, а когда со стороны русского посольства было замечено, что в таких ничтожных уплатах высказывается пренебрежение, то рейс-эфенди велел отвечать, что невеликая будет беда, если уплата перейдет за срок – дело обыкновенное в долговых платежах. Донося об этом, Стахиев писал, что турки ободряются слухами о несогласиях России с шведами и Польшею, что шведы сильно вооружаются, а в Польше готовится новая конфедерация и в Константинополь скоро приедет польский министр. Но Стахиев писал, что все это легко в пыль превратится, если императрица немедленно пришлет решительный отказ в отмене условия о татарской независимости, ибо состояние Порты таково, что она не может воевать и против Рагузинской республики. Новой войны можно было не опасаться, но надобно было ускорить платеж денег за старую; и Стахиев обратился к двум знатным и сильным каналам, обещая каждому до шести процентов с получаемой каждый раз суммы, каналы согласились, обещая употребить всевозможное старание не только установить порядочный платеж денег, но и обуздать замашки рейс-эфенди, причем утверждали, что Порта не в состоянии думать ни о каких новых военных предприятиях. Вслед за тем в Константинополе с удивлением узнали о низвержении рейс-эфенди; каналы дали знать Стахиеву, что новый рейс-эфенди их приехал и что уплата денег не замедлится: деньги сыщутся у низверженного рейс эфенди. «Бурбонским министрам, – писал Стахиев, – теперь только одна надежда на переводчика Порты, которого мои каналы также готовы сменить, да не знают надежного человека на его место». Каналы эти были: султанский фаворит Ахмет-эфенди и Мурат-молла, «знатный, сильный и проворнейший в корпусе улемов человек».

На все приведенные донесения Стахиев получил от 25 июня такой рескрипт: «Можно, кажется, без ошибки сделать заключение, что Порта начинает уже

позабывать претерпенные ею во время войны поражения и бедствия; что коварные происки и подстрекания завистников мира и дружбы наших с нею стали отчасти производить вредное свое действие; что министерство турецкое, движимое оными, невежеством духовенства своего и воплем константинопольской черни, зашло по татарскому делу далее, нежели оно сперва само помышляло; что, таким образом затрудняясь, оно в поведении своем относительно нашего двора, не знает уже теперь, как и выбраться из лабиринта положения своего, собственною неосмотрительностию состроенного, и для того мечется в разные стороны, ища себе от обстоятельств пособия; что сею своею неосторожною политикою довело оно себя теперь до той крайности, что нашлось принужденным подать татарам явное ободрение в их колебленности чрез формальное к Девлет-Гирей-хану отправление султанской инвеституры да и поощрять их беспрестанно уже от себя к вящему против нас возмущению; что, ошибившись тут в приличных способах, не находит турецкое министерство никакого более средства остановиться на пути, а посему и дозволило себе напоследок, мчась стремлением духовного фанатизма и сняв с татар узду, попустить им совершенно в их буйстве и смотреть, что из того выйдет для распоряжения своей политики, не размыслив наперед, что сей-то путь есть самый скользкий и опасный к вовлечению Порты в новую войну. Долг стражи вверенной нам от промысла божия империи требует от нас употребить заблаговременно и, доколе еще врачеванию время остается, вопреки сим усмотрениям и замашкам Порты Оттоманской все от нас зависящие пособия, как физические, так и моральные. Физическими называем мы собранные в наших в Крыму и Кубани прилегших границах не беззнатные военные силы». Моральным средством были «дружеские, но серьезные объяснения», которые Стахиев должен был иметь с рейс-эфенди. «Мы охотно желаем, — говорилось в рескрипте, — показать Порте в желаниях ее все те угодности и снисхождения, кои могут согласоваться с достоинством двора нашего, с прочностью мира и с интересами империи, коль скоро изымет она из среды положенные ею самою в татарском деле разные заносы и претыкания нашей доброй воле. Инако всячески не допустим мы принудить себя худыми поступками Порты до того, чтоб отступить от прав, приобретенных нами толикою кровию и толикими победами, утвержденных священнейшими договорами вечного мира и принятых нами в существе их за коренное основание самой политической системы нашей».

Вслед за тем от 5 июля отправлен был Стахиеву другой рескрипт: «Для учинения на деле начала и опыта непосредственной торговли в Италию и турецкие области приняли мы за нужно отправить туда. несколько судов с товарами, из коих четыре пошли уже в путь свой из Кронштадта, а два приказано от нас снарядить и нагрузить в Ливорне из оставшихся там судов от нашего флота. Не скроем мы от вас, что все сии суда суть в существе своем военные наши фрегаты что они нагружены товарами на казенный счет, дабы тем открыть купцам нашим глаза к собственной их пользе и подать к подражанию выгодный пример, и что все экипажи их состоят из людей военной нашей морской службы. В числе сих фрегатов пять снаряжены в виде прямо купеческих судов, а шестой оставлен один в настоящей своей военной форме для прикрытия оных на походе от африканских морских разбойников. По прибытии судов в Константинополь приказано командирам оных отдать отправленные товары находящимся там комиссионерам и корреспондентам нашего придворного банкира барона

Фридрихса, а по сдаче оных и по приеме в обратный путь грузов своих ожидать от вас приказа о возвратном в отечество плавании. Вследствие чего мы вам повелеваем отправить их назад чрез Константинопольский пролив прямо в Керченскую гавань. Если для прохода Константинопольским проливом надобно будет специальное позволение Порты, в таком случае, основывая домогательство ваше на точных постановлениях мирного трактата, предполагаем мы полезнее будет потребовать оного одним разом, дабы инако частыми повторениями не навесить у недоверчивых турков напрасного подозрения к нашим видам. А за важную уже услугу от вас сочтем мы, когда предуспеете вы и прикрывающему военному фрегату исходатайствовать от Порты свободу пройти Константинопольским каналом в Черное море под равным предлогом конвоирования пришедших с ним торговых судов. Для одержания ее согласия можете вы, между прочим, представить турецкому министерству, что такая угодность будет, конечно, принята нами за отменный знак дружбы и доброго желанья Порты утвердить оную узлом взаимных снисхождений, что с нашей стороны мы никогда не откажемся равным образом уважать и исполнять требования Порты, поколику только оные с основаниями мирного трактата согласовать могут, и что напоследок одно военное судно в Черном море весьма недостаточно беспокоивать, и в такое время, когда она собственные свои морские силы имеет там в толь исправном положении и многочисленности. Если, несмотря на сии дружелюбные представления, Порта не дозволит прохода в Черное море военному фрегату под тем предлогом, что в трактате выговорена свобода одному торговому плаванию, в таком случае имеете вы командующему оным офицеру приказать, чтоб он возвратился сюда тем путем, которым пришел».

Решительные объяснения Стахиева с рейс-эфенди по поводу татарских дел привели Порту, по словам русского министра, «в отчаяние предупеть в своих прихотливых требованиях, а ее министерство – в крайнее недоумение по причине внутренних государственных замешательств и досконального истощения государственной казны, что, по признанию всей публики, кончиться должно бунтом и низвержением министерства, а может быть, и самого государя. Мои известные два канала, – писал Стахиев, – постоянно продолжают уверять, что Порта не в состоянии ни с кем ссориться». Что касается пропуска русских кораблей, то рейс-эфенди, прочтя об этом мемориал Стахиева, сказал, что если бы пропуск кораблей зависел от него одного, то он скорее допустил бы себя изрубить в куски, чем пропустить корабли. «Такой неподатливый и грубый вызов» заставил Стахиева обратиться к своим каналам, послать к ним по десятку пар соболей, причем отправил десяток соболей и к рейс-эфенди «для смягчения его свирепого фанатизма»; переводчику Порты отосланы были золотые с бриллиантами часы; другим нужным людям подарено по лисьей шубе; всего истрачено было на подарки 4200 рублей. Но подарки не помогли: купцы английские, голландские, французские, венецианские распространили слух, что идут вовсе не торговые, а военные суда, что и дало туркам основание противиться пропуску их в Черное море. Тогда Стахиев начал советовать своему правительству употребить сильные меры, чтоб Порта не смела более проволакивать время в исполнении мирного договора, сделать вид, что с русской стороны готовы вооруженною рукою заставить исполнить договор и для этого дать приказание ему, Стахиеву, отплыть на ожидаемых русских кораблях в отечество. Сильная мера была принята: русское

войско двинулось к Перекопи, и 23 октября Екатерина писала Панину: «Не лучше ли декларацию о занятии Перекопской линии учинить в самых кратких терминах, не вызывая Порту к негоциации, дабы от сего единого предложения она не возмечталась больше надежды, чем ей преподаем. Кому больше, как не вам, известно, что доказательства и снисхождения турков отнюдь не убеждают. Полезнее всегда было, когда говорили с ними сильным тоном. В рассуждении сего мне кажется обойтись можно, вновь не повторяя обстоятельств, сто крат уже переговоренных и нимало не подействовавших в желаемую пользу, и, сказав о поступках (турецких) против трактата, указать одного фельдмаршала гр. Румянцева-Задунайского к сношению с ними о выполнении артикулов оною по татарским делам». В конце ноября Стахийев писал, что оставляет министерский архив и деньги под охраною английского посланника и своего приятеля английского купца Аббота, опасаясь не столько лишения свободы, сколько народного возмущения, ибо никак не мог думать, чтоб Турция решилась возобновить войну с Россиею при своем страшном внутреннем расстройстве и войне с Персиею. 3 декабря Стахийев имел с рейс-эфенди конференцию, прошедшую во взаимных пререканиях по поводу русской декларации, составленной так, как желала императрица в приведенной нами записке к Панину. Стахийев указывал на пребывание турецкого войска в Тамани; турки отвечали, что там не больше сорока человек турок, которые уже хотели уйти, потому что Порта не дает им ни денег, ни провианта, но татары принудили их остаться. Стахийев спросил, давала ли им Порта приказание уходить оттуда; отвечали, что после заключения мира дано им это приказание, которое и до сих пор остается в силе, но татары их не отпускают; впрочем, это обстоятельство в Тамани не может никаким образом сравниться с занятием Перекопи, на которое нельзя смотреть иначе как на разрыв мира; Порта готова уступить все, кроме татарской независимости, за которую будет стоять до тех пор, пока останется хотя один турок. Стахийев указывал, что кроме Тамани турецкие войска находятся в самом Крыму, что часть очаковского гарнизона уже перешла туда. Турки отвечали, что ничего об этом не знают, что находящиеся в Крыму турки могут быть купцы или беглые. Стахийев говорил, что Россия имеет право занять Перекоп, потому что турки занимают Тамань. Ему отвечали, что сравнения тут быть не может: в Тамани всего 40 человек турок, а Россия посылает фельдмаршала с войском; что невозможность для Порты признать независимость татар состоит в том, что татары сами не хотят этой независимости и требуют в силу закона помощи от Порты, говоря, что они со всех сторон заперты и когда-нибудь сделаются невольниками. Стахийев, разумеется, возражал, что о независимости татар нельзя спорить, потому что она утверждена договорами; но турки отвечали, что они согласились на независимость Крыма, думая, что татары, ее желают; но потом татары объявили, что вовсе ее не желают, что в 1772 году общество татарское, т.е. подлый народ, приняло независимость для собственного спасения, а из старшин, кроме семнадцати человек, никто ее не хотел. Наконец рейс-эфенди объявил, что Порта готова исполнить все, только бы Россия согласилась уступить все касающееся закона (т.е. относительно татарской независимости); а если пошлются войска на Перекоп, то и Порта принуждена будет послать свои в Крым, и тогда будет очень трудно уклониться от войны, ибо татары и начнут сопротивлением занятию Перекопи. «Когда так, – сказал Стахийев, – то один жребий решит будущие

происшествия». Этим и кончилась конференция. Стахийев остался при своем мнении, что, несмотря на угрозы, турки войны не начнут, и в последний день 1776 года дал знать своему двору о свержении визиря и что новый стоит за мир.

В начале года Штакельберг был вызван на короткое время в Петербург и при отъезде оттуда в конце февраля получил инструкцию: действовать в полном согласии с министрами австрийским и прусским; на сеймиках стараться, чтоб в послы были избраны люди доброжелательные. Сейм оставите действовать на свободе до тех пор, пока, получив на свою сторону перевес, вы не сочтете себя в состоянии давать направление сейму или не увидите нужды заставить его переменить характер. Но если движения злонамеренных возбудят в вас опасения относительно установленной конституции или ратификации договоров по разделу, то вы имеете право превратить сейм в конфедерацию, если только будете уверены, что большинство на вашей стороне; но так как конфедерации представляют хотя законное, однако конвульсивное движение и подают повод к реконфедерациям, то прибегать к ним можно только в крайнем случае. Что касается ратификации договоров по разделу, то относительно русских новых границ не было никаких затруднений между нами и республикою. Относительно австрийских границ дело улажено; относительно прусских мы употребляем еще представление, опираясь на пример венского двора, потому что прусский король постоянно говорил, что будет сообразоваться с поведением Австрии. Вы с своей стороны должны уговаривать прусского министра в Варшаве, представлять ему затруднения, даже опасности, если дело не будет кончено до сейма. Штакельберг рассказал в Петербурге, что с учреждением Постоянного совета возникли столкновения между этою новою властью и старыми министерством и другими, которые не желали подчиняться Совету. Страсти разыгрались, старые личные вражды усилили волнения; стали бояться, что на будущем сейме обнаружится движение против правительства; враждебные последнему люди начали разглашать, что русский двор намерен уничтожить Постоянный совет и все, что было им самим сделано в Польше. На этот счет Штакельберг получил инструкцию: по возвращении в Варшаву прежде всего прекратить эти слухи.

По возвращении в Варшаву Штакельберг нашел дела в очень неудовлетворительном виде. Противная партия начала снимать маску: она имела в виду не более не менее как уничтожить на предстоящем сейме и договоры и правительство. Не ограничивались словами, но готовились всеми средствами поддерживать на сеймиках выборы своих; князь Адам Чарторыйский велел двинуться своему полку в Брестское воеводство для действия на выборах. «Очевидно, – писал Штакельберг, – что все эти меры основываются на секретных заграничных сношениях. Сношения с Портою, которые и сам замечал и о которых мне сообщено бароном Ревецким, продолжаются; нет сомнения, что эти безумцы входят в обязательства с турками; они никак не могут переварить правления, которое целый год блюдет за порядком, спокойствием и исполнением законов под систематическим и кротким влиянием России, которой успехи уничтожают мало-помалу эту аристократическую тиранию, источник всех зол для Польши. Слова „свобода и религия“ служат предлогом, а настоящее побуждение есть вражда к людям, которые служили императрице и своему отечеству». При этом донесении Штакельберг переслал письмо к королю от гетмана польского коронного Ржевусского (от 28 марта). «Государь, – писал Ржевусский, – уступая

области республики иностранным державам, брат продал брата в рабство и исполнил меру жестокости, ставши убийцей того, кого должен был защищать. К умножению несчастья жители областей, оставшихся за Польшою, приведены в смущение множеством новых законов, частью непонятных, частью противоречивых и почти всегда вредных; явилась какая-то новая правительственная форма. Постоянный совет, власть вместе и совещательная, и исполнительная, и законодательная, и судебная, непонятная для нации, а как скоро будет понята, то явится нестерпимою». Ржевусский, известный Гацкий, члены Барской конфедерации, приверженцы Браницкого в церквах пред алтарями давали торжественные клятвы противодействовать всем русским планам. Для возбуждения бедной шляхты они распространяли между нею подложные турецкие манифесты; а Браницкий и Потоцкий для ободрения оппозиции писали в Варшаву, что от русского министерства получено ими положительное уверение, что Штакельбергу запрещен всякий сильный поступок и что скоро все переменится в Польше и Штакельберг будет сменен.

Но Штакельберга не сменяли; а он требовал у своего правительства умножения русского войска во время сеймиков для уравновешения насилий противной партии. Кроме войска нужны были деньги; и в Петербурге было назначено 50000 рублей; прусский король согласился дать столько же. Среди приготовлений к бурным сеймикам внимание Штакельберга было отвлечено новым любопытным явлением. Граф Артуа, второй брат французского короля Людовика XVI, вздумал сделаться королем польским, и в Варшаву явился французский эmissар, который сделал Станиславу-Августу предложение отказаться добровольно от польского престола и взамен взять Лотарингию, причем обещалось выхлопотать согласие на это русской императрицы. Эmissар открылся Штакельбергу, но тот отвечал, что проект невозможен; что же касается Станислава-Августа, то он не дал ясного ответа. Получивши об этом донесение посла, Екатерина написала Панину: «Что касается до сумасбродных замыслов графа ДАртуа, то Штакельбергу дайте знать, что наши дела всегда будут от нас и защищаемы».

Рушились одни безрассудные замыслы, на их место являлись другие. Саксонский резидент сообщал Штакельбергу, что к нему приезжал гетман Браницкий с просьбою, чтоб саксонский двор дал ему 10000 дукатов для великого предприятия, задуманного им с друзьями, вследствие которого курфирст саксонский может получить польский престол. В Литве происходило совещание между князем Адамом Чарторыйским, литовским гетманом Огинским и Браницким; и последний на одном пиру хвастался, что устроит сицилийскую вечерню для всех русских в Польше, хвастал своими сношениями с турками и татарами. Донося об этом своему двору, Штакельберг требовал увеличения русского войска, присутствия его на сеймиках, но получил от Панина ответ, что употребление военной силы вредно, доказывал непрочность устанавливаемого порядка; когда же наконец русские войска могут выйти из Польши, предоставив ее самой себе? Штакельберг возражал. «Что же мне прикажете делать? – писал он Панину. – Я должен иметь большинство – это основание всему. Наши враги посылают на сеймики деньги и сабли, чтоб перерезать наших друзей. Мне надобно же защищаться. Прежде мы совершенно по-пустому направляли пушки против церквей, а теперь вовсе не кстати обнаруживать трусость и слабость в

решительную минуту, когда дело идет о постепенном удалении нашего вооруженного содействия и утверждения здешнего правительства. Средины нет: или правительство, или иностранные войска; следовательно, надобно заставить уважать это правительство. Ради бога, граф, пришлите денег, иначе с чем прикажете дела делать? Вы сами были в Швеции, вы это знаете».

Штакельберг достал инструкции, данные гетманом Браницким своим приверженцам на сеймиках: кроме намерения уничтожить все сделанное на последнем сейме Браницкий хотел установить в Польше наследственное правление. По мнению Штакельберга, кандидатом на престол назначался князь Адам Чарторыйский. В июле на сеймике в Цеханове произошло кровавое столкновение: пред начатием сеймика между избирателями выделились две враждебные партии; русский офицер построил свою команду между обеими, чтоб не допустить их до драки; обе партии выбрали своих послов. Дело казалось конченным, и русский офицер собирался уже выступить из Цеханова, как посол, избранный королевскою, следовательно, и русскою стороною, Краевский прислал ему сказать, что градский писарь не хочет вносить в книгу его имени как законно избранного посла или депутата на сейм, хочет внести только имена избранных противною стороною. Офицер, взявши команду, отправился к писарю, но так как тот находился в монастыре, куда нельзя было войти с вооруженным отрядом, то офицер, оставя за стенами монастыря 25 человек гренадер, с одним унтер-офицером и шестью гренадерами, имевшими одни тесаки, вошел в монастырь и, оставя унтер-офицера с гренадерами в сенях, сам вошел в комнату, где был писарь. Но не успел он выговорить ему первых слов, как услышал в сенях чрезвычайный шум и, выйдя туда, увидал, что набежало туда множество поляков с обнаженными саблями и рубят его гренадер. Офицер стал было уговаривать их, но из толпы выбежал стольник Зелинский, бывший маршал Барской конфедерации, с разъяренным видом и обнаженною саблею бросился на офицера и ранил его по левому уху; тогда офицер также обнажил шпагу и с своими гренадерами начал пробиваться к калитке, причем получил еще две раны в голову, унтер-офицер и гренадеры были также все переранены. Поляки принялись уже стрелять из ружей и пистолетов; услышав стрельбу, 25 гренадер, оставленных за монастырем, бросились к его воротам и, найдя их запертыми, перелезли через забор и стали защищать своих. Следствием было то, что на месте побоища осталось 36 польских трупов. Сам Зелинский был опасно ранен и признался, что поступал по гетманскому приказанию. «Мы должны смотреть на это событие как на образчик сицилийской вечерни, – писал Штакельберг. – Были сеймики, с которых наши офицеры, явившиеся без команд для прочтения декларации императрицы, были позорно прогнаны партиек) гетманскою, и, где не могли воспрепятствовать чтению декларации, там прежде читали письмо Браницкого, обращенное ко всем сеймикам. Сам Браницкий в присутствии большого числа шляхты читал письмо из Петербурга, в котором его уверяли именем императрицы, что Штакельбергу запрещено употреблять силу. После этого он разослал всюду своей партии приказания презирать русские войска, освобождать отечество от ига России и спасать религию и свободу польскую. Религия служит побуждением ко всем ужасам, какие постигли в Украине несчастное неунятское духовенство, которое наконец я принужден защищать русским войском, ибо приказания Постоянного совета не были уважены. Браницкий запрещает всем признавать Совет.

Высокомерие этого человека, его связи с партией Чарторыйских, вооруженная шляхта и переряженные солдаты, которых он употреблял, насилия, им себе позволяемые, значительные денежные суммы, которые он тратит, а с моей стороны кротость, умеренность и недостаток денег для перевешивания подкупов, употребленных противною стороною, – все это произвело то, что неутомимые заботы королевские и мои не могли доставить нам ни малейшей уверенности, что у нас большинство сеймовых депутатов. Можете рассчитывать, что мы проиграем дело, и тогда придется прибегнуть к общей конфедерации вроде Радомской».

Предписание Панина не употреблять открытой силы с русской стороны повело, по мнению Штакельберга, к следующим явлениям: в Гнезне Липский нанес удар саблею судье, который должен был председательствовать на выборах, прогнал благонамеренных и, поставивши солдат при церковных дверях, заставил провозгласить послом себя и своих приверженцев. В Ломже с позором прогнали русского офицера, который явился с декларациею императрицы. В Люблине граф Игнатий Потоцкий, распустивши по провинциям самые дурные слухи о русском дворе и его влиянии в Польше и возбудивши в шляхте ненависть к русским, ввел войско в город. Так как отряд русского войска находился близко, Потоцкий послал письмо к командующему офицеру с вопросом: есть ли у него приказ арестовать его, Потоцкого? Офицер отвел свой отряд от города. Тогда Потоцкий, видя, что взял верх, отправился в церковь доминиканцев и заставил выбрать в послы себя и еще пятерых из своей партии. Нашим, в числе которых находился другой Потоцкий, Викентий, не оставалось ничего более, как удалиться в другую церковь, чтоб выбрать своих. Такие двойные выборы и во многих других местах оставались для благонамеренных единственным средством для избежания сабельных ударов от партизанов Браницкого, следовательно, судьба будущего сейма зависела от предварительного рассмотрения законности выборов. На сеймике в Слониме 600 поляков напало на русский отряд, но тот, получивши запрещение стрелять, сдержал их штыками, причем трое из нападающих лишились жизни. Двор перехватил письмо Браницкого к упомянутому генералу Липскому в Гнезно: гетман требовал, чтоб Липский приезжал с самыми отважными из своих телохранителей для исполнения их планов. Это заставило Штакельберга потребовать от генерала Ширкова, стоявшего на Волыни, чтоб тот прислал ему гусарский полк. Штакельберг не сомневался, что гетманы затевают что-нибудь против короля. Так как Станислав-Август действовал теперь в полном согласии с послом, то Штакельберг ходатайствовал у своего двора об улучшении финансового положения короля. Станислав-Август просил, чтоб императрица поручилась за него пред Бреславским банком. По этому поводу Екатерина писала Панину: «Радуюсь, видя, что денежный кредит российской императрицы до того простирается, что другим государям без ее гарантии не верят. Но как в денежных делах, кои до кредита касаются, я самый голландский купец, то требую прежде, нежели гарантия будет дана, чтоб точно означены были те местности и их доходы, из которых платеж производиться имеет, и чтоб освидетельствованы были их верные таковые доходы; сверх того, чтоб республика наперед обязалась, что во всяком случае (ибо король умереть может) те доходы иначе употреблены не будут, как на тот платеж. Впрочем, буде в сем деле есть препятствия, кои я не усматриваю, то прошу гр. Ник. Ив. Панина мне оные открыть».

Министры австрийский и прусский соглашались с Штакельбергом относительно замыслов Браницкого, опасных как для короля, так и для интересов трех союзных дворов. Трое министров решили, что прежде открытия сейма особые дела составят конфедерацию. Штакельберг был успокоен этим решением, равно как и окончанием дела об определении границ с Пруссией. Фридрих II кое-что уступил, но когда поляки стали утверждать, что уступка слишком ничтожна, то Бенуа объявил им, что если до начала сейма республика не примет ультиматума его государя, то переговоры между Пруссией и Польшей будут прерваны и первая удержит все земли, занятые ею. Ультиматум был принят. Понятно, что Штакельберг, имея пред глазами примеры такой сильной политики, тяготился мягкими мерами своего двора и требовал большей энергии. 12 августа образовалась конфедерация. В этот день в Совете первый сенатор епископ куявский открыл заседание речью, в которой представил критическое положение государства. Он объявил, что единственное средство против волнений, интриг, несогласий и ненавистей представляет общая конфедерация, которая одна может отстранить столкновение стольких интересов, долженствующее повести к разрыву сейма, а этот разрыв поведет к окончательному разрушению Польши. Когда епископ кончил, король объявил, что принимает его мнение, и предложил созвать сенаторов и сеймовых посланцев, находившихся во дворце брата его епископа плоцкого для образования конфедерации. Совет согласился; король сел на трон под балдахин; и тотчас зала наполнилась 120 сенаторами и посланцами русской партии, которые все объявили свое согласие на конфедерацию. Немедленно выбрали маршалов конфедерации: генерала Макроновского – для Польши и графа Огинского – для Литвы по предложению королевскому. Штакельберг отзывался о Макроновском как человеке самом популярном и в то же время сознававшем необходимость русского влияния. Гетманы явились для принесения присяги по поводу конфедерации, причем Браницкий сделал смешную сцену. Сначала он не хотел стать пред королем на колена, но потом стал. Ему читают формулу присяги: «Обещаюсь Станиславу-Августу королю...» Он говорит только: «Королю». Ему повторяют: «Станиславу-Августу...» Он говорит: «Августу». Ему говорят в третий раз: «Станиславу-Августу», а он жалким голосом произносит: «Станиславу-Августу королю». Далее ему говорят: «Я приступаю к генеральной конфедерации», он отвечает: «Нет, я не приступаю». Ему говорят: «Конфедерация вам это приказывает». – «Ах, господи! – восклицает гетман, – ну хорошо, я приступаю» и т.д. Под страхом конфедерации сейм спокойно кончил все дела к полному удовольствию трех союзных дворов.

В апреле 1776 года Сольмс передал Панину «Взгляд принца Генриха на улажение дела о прусских границах с Польшей». В бумаге говорилось: «Король желает дать всевозможные доказательства своей дружбы к ее и. в-ству, и так как она желает прекращения споров о границах, то он решился в этом случае оказать существенные знаки своей искренности и желанья угодить императрице. Он предупредил бы уже все ее желанья на этот счет, если б не должен был держаться в некоторого рода равновесии с венским двором, к чему обязывает его положение и государственный интерес. Кроме того, он убежден, что упреки, сделанные венским двором полякам, заключают в себе хитрость. У венского двора в Польше вся французская партия, да еще старая саксонская партия, тогда как у короля одна только поддержка в Польше, поддержка, которую дает ему императрица.

Австрийцы уступают 50 квадратных миль; на этом основании и король хотел бы уступить от 30 до 40 квадратных миль». От 3 июля Фридрих писал Сольмсу, что дворы венский и версальский стараются отклонить Россию от его интересов и возбудить против нее Порту. «Так как ясно, – писал Фридрих, – что эти дворы желают всего сильнее делать нам неприятности, то из этого истекает новое побуждение для меня и для России держаться постоянно в тесной связи и все более и более скреплять уже существующий союз, чтоб сделать его нерасторжимым». 6 августа Фридрих писал: «Я теперь более, чем когда-либо, имею право надеяться, что могу уладиться с поляками насчет моих границ. Я делаю им значительные пожертвования, но не перестану повторять, что делаю это исключительно из уважения к русской императрице, и ничто другое не могло бы меня к этому побудить. Но при этом случае я не скрою, что сильно желал бы, чтоб императрица в вознаграждение продлила до 1790 года наш союзный оборонительный договор, который оканчивается в 1780 году. Ввиду моих преклонных лет я не могу рассчитывать на продолжительность моей карьеры, и было бы, конечно, для меня величайшим утешением и самым богатым наследством для моего племянника продолжение русского союза до 1790 года».

В самом начале года кн. Борятинский писал Панину: «Здесь почти все как в публике, так и в дипломатическом корпусе предполагают, что спокойствие Европы неминуемо где-нибудь будет нарушено, судя по настоящим союзам и по делаемым разными государствами приготовлениям. Газетные слухи о вооружении нашего флота и об отправлении матросов к Архангельску обращают внимание всех и толкуют, что разрыв начнется в наших краях. По поводу поездки принца Генриха в Россию говорят, что, быть может, прусский король, видя неукротимое волнение и замешательство в Польше и ненависть народную к королю Станиславу-Августу, имеет в виду наследство польской короны для какого-нибудь принца своего дома, и для обеспечения успеха принцу Генриху поручено склонить к тому ее и. в-ство. Толки эти возникли вследствие известия, что принц брауншвейгский учится польскому языку».

Понятно, что известия о морских вооружениях России всего более должны были тревожить Швецию. В Стокгольме уверяли, что весною непременно Россия объявит войну Швеции, для чего строится великое число галер и военных кораблей. Симолин с своей стороны внушал, что русский двор желает одного – сохранения спокойствия на севере и доброго соседства с Швецией; что из построения галер и военных кораблей ничего заключать нельзя, ибо известно, что старый русский галерный флот истреблен пожаром несколько лет тому назад, а корабли, возвратившиеся после шести кампаний из Архипелага, никуда не годятся и надобно заменить их новыми. В самом начале года Симолин доносил своему двору, что идут большие толки о путешествии короля в Петербург. Граф Борк, шведский посланник в Вене, сильно настаивает на это, утверждая, что это путешествие положит конец холодности и подозрительности, существующим между двумя дворами, что императрица не откажет королю в согласии на новую конституцию, если король лично будет ее просить об этом. Французский посланник отговаривает от путешествия. По поводу этих известий Панин писал Симолину: «Если от вас будут выведывать относительно того, как наш двор смотрит на это путешествие, то говорите, что вами получены частные, но верные известия о намерении императрицы провести почти все будущее лето в разных

путешествиях, которые удалят ее от Петербурга. Вы видите, что дело идет об избежании возможно приличным образом всех внушений со стороны короля относительно этого путешествия».

1777

В половине января Стахиеву был отправлен рескрипт, в котором императрица объявляла, что единовременно с занятием Перекопи она сочла нужным приняться и за непосредственное установление между татарами благонамеренного общества, которое могло бы представлять свету и Порте существование вольной и независимой татарской области. Для достижения этой цели известный калга Шагин-Гирей подвинулся внутрь Кубанской области при отряде русских войск, находящихся под командою бригадира Бринка. Это движение произвело два действия: первое, что калга-султан с радостью принят Едичкульскою ордою и некоторыми другими родами и торжественно объявлен самодержавным и независимым ханом; в этом качестве он признан Россиею и должен скоро вступить в Крым, где много преданных ему людей; для утверждения там своей власти и изгнания по возможности прежнего хана Девлет-Гирея, чем вольность и независимость татар сами собою могли бы установиться и утвердиться по силе и словам мирного договора. Другое следствие движения Шагин-Гирея и Бринка состояло в том, что командующий турецкими войсками в Тамани и Темрюке Орду-агаси отозвался к ним письменно, спрашивая о причине приближения их и объявляя прямо, что он в этих крепостях находится с большим числом военных людей по точным и многократным указам Порты. Это письмо, отправленное к Стахиеву в оригинале, должно было служить уликою турецкому министерству, которое утверждало, что на Таманском полуострове находится только от 30 до 40 человек, которым Порта не дает ни жалованья, ни провианта и которые имеют от нее повеление уходить с полуострова, только татары их не отпускают. Стахийев должен был внушать всем, и особенно корпусу улемов, что Россия среди войны оградила иноверный народ от разорения и истребления, а теперь единовенная с татарами Порта из одного упрямства подвергает их гибели при новой войне, в которой она скорее и вернее потеряет татар, чем успеет отменить утвержденную договором их вольность, Панин в своем письме разъяснял Стахиеву, как он должен говорить сановникам Порты по поводу провозглашения Шагин-Гирея ханом: это событие не должно удивлять Порту, ибо есть не иное что, как подражание собственному ее поведению. Когда мир был заключен и русские войска в надежде на добросовестность Порты выведены были из Крыма, то Девлет-Гирей при помощи турок успел низвергнуть Сагиб-Гирея и, не довольствуясь этим, осмелился отправить на Кубань войско для нападения на ногайские орды, находившиеся под управлением ими самими избранного начальника Шагин-Гирея; это принуждает Россию в выборе Шагин-Гирея ограждать свободу ногайских и крымских татар, которые под его правлением желают пользоваться дарованною им в мирном трактате вольностью.

Известие Стахиева, что Порта понизила тон, заставило Россию согласиться на ее желание договариваться о крымских делах в Константинополе посредством

Стахиева, которому дана была инструкция провести уничтожение в Крыму избирательного правления и установление наследственного от отца к сыну, но с тем чтоб наследственным ханом был Шагин-Гирей, а не Девлет-Гирей, «которого как виновника всему происшедшему злу никак и никогда не будем мы терпеть в Крыму».

25 марта у Стахиева начались конференции с рейс-эфенди, причем русский министр прежде всего потребовал пропуска в Черное море зимовавших в Константинополе русских судов – пяти торговых в силу трактата, а шестого вооруженного в знак дружбы. Но рейс-эфенди отвечал, что это дело надобно отложить до окончания переговоров или по крайней мере до того времени, как будет видно, какой оборот возьмет главное дело, ибо фрегаты и офицеры на них признаны бывшими в последнюю войну в Архипелаге и, кроме того, их появление на Черном море при настоящих смутных обстоятельствах в Крыму увеличит ужас и тревогу как между турками, так и татарами. Тогда Стахиев сказал, что не смеет вступить в переговоры, но принужден будет сперва списаться со своим двором, чрез что еще три месяца будут потеряны. Этот ответ заставил турок принять дело на дальнейшее размышление.

Суда не были пропущены, и 24 июля Стахиев донес, что Порта поставляет избрание нового крымского хана Шагин-Гирея противным как магометанскому закону, так и мирному договору именно потому, что оно произошло в присутствии русских войск, и требует вывода их из Крыма, обещаясь после того судить о законности этого ханского избрания. По письмам Стахиева, только совершенное бессилие и народная неподатливость удерживали Порту от разрыва с Россией да и мирная партия не обещала прочного мира, если Россия не уступит Порте права по крайней мере утверждать избрание крымских ханов. Турецкие вооружения не важны и ограничиваются оборонительными мерами и приготовлениями на случай татарского возмущения против Шагин-Гирея. По сведениям, доставленным Стахиеву, выходило, что Порта ни под каким видом не намерена соглашаться на проход русских судов из Средиземного моря в Черное и считает противным мирному договору плавание по Черному морю военных русских кораблей, а фанариотские греки стараются, чтоб Порта принудила Россию отказаться от всякого покровительства и заступления за волохов и молдаван, также от церковного строения и починок, ибо все это фанариоты считают пагубным для своих доходов и власти.

В конце сентября Порта нарушила условие договора относительно дунайских княжеств, лишив жизни без всякого суда молдавского господаря Гику. Екатерина велела Стахиеву просто и сухо приметить турецкому министерству, что этот поступок она должна почесть «между многими прежними неустойками мирного трактата со стороны Порты новым нарушением его оснований». Кораблей не пропускали, не пропустили даже купеческое судно св. Николая, которое прежде не раз проходило из Средиземного моря в Черное. В конференции, которой требовал Стахиев по этому поводу, рейс-эфенди ему отказал, и когда вследствие этого переводчик Пизани вручил ему протест посланника и требование пропустить фрегаты обратно в Мраморное море, то рейс-эфенди сказал: «Господин посланник ежедневно докучает все об этих судах, и надобно думать, что делает это сам собою; не могу я убедиться, чтоб при русском дворе не было таких благоразумных людей, которые отдадут справедливость Порте в этом пункте. Если бы все дворы

выслушали ее объяснения, то бы каждый из них оправдал ее: об этом посланник может наведаться у французского и прусского поверенных в делах, у посла английского и прочих находящихся здесь министров, и я уверен, что каждый из них оправдает Порту. Порты и так уже очень оплошна и нерадива, что пропускает корабли и в Мраморное море в такое время, когда в границах самого Крымского полуострова и в Тамани находится большое число русских войск и кораблей. Если из-за непропуска этих судов мир должен разорваться, то да будет воля божья! Россия, основываясь на мирном договоре, требует пропуска этих судов, а Порты противится тому по всей справедливости; итак, кроме всевышнего творца, некому разрешить этого спора. В последнюю войну бог пособлял русскому оружию, а теперь, надобно надеяться, Порты возьмет верх». Когда Пизани напомнил о пропуске корабля св. Николай, то рейс-эфенди сказал: «В настоящие рамазанные дни непристойно беспокоить Порту представлением об одном судне, и если по этому поводу мир должен разорваться, то полагаюсь на волю божью, и я уже потерял терпение, и если б от меня зависело, то я бы ни одной вашей лодки в Черное море не пропустил, когда ваше войско в Крыму и почти в здешних границах». Пизани возразил, что нет никакого повода препятствовать проходу корабля св. Николай, когда его не раз пропускали взад и вперед, да и теперь уже выдан фирман о пропуске. «На этом корабле, – отвечал рейс-эфенди, – нагружено значительное число пушек, и был он построен в Париже и в последнюю войну находился в Архипелаге для захватывания призов». – «Никогда он военным судном не бывал, – возразил Пизани, – после заключения мира принадлежал он разным купцам и до сих пор употреблялся для перевозки товаров в Мраморное и Черное моря; что же касается пушек, то ничего не стоит осмотреть, сколько их на нем, и по осмотре ложного доносчика надобно наказать». – «Положим, все так, как вы рассказываете, – сказал рейс-эфенди, – положим, что Порты препятствует проходу этого корабля в противность мирному договору; все же это нарушение договора никак нельзя сравнить с нарушением, сделанным Россией, которая держит свое войско в Крыму и Тамани». – «Держанием этого войска договор не нарушается, – отвечал Пизани, – потому что Порты этому причиною, занявши своим войском Таманский полуостров. Впрочем, от нее же зависит и вызов русского войска оттуда, как скоро она согласится на справедливые требования императорского двора».

По получении этих известий 8 ноября Екатерина подписала Стахиеву рескрипт: «Составя из депешей ваших целую картину, находим мы по разным ее теням, что дела наши с Портою дошли уже весьма близко до степени неприятной их развязки войною. Искренно и усердно желание наше сохранить мир яко верховное блаженство сожития человеческого, но сие желание, составляя по себе одно из первых обязательств государя, звание свое в полной мере исполняющего, не исключает, однако ж, собою и не может исключать другого, царям не меньше свойственного долга блюсти в неприкосновенной целости честь и достоинство венцов их, дабы мир самый был плодом мудрости и важности правления их, а не ценою постороннего небрежения. Чрез все время царствования нашего обыкнув учреждать все наши деяния по сим двум началам, хотим мы и теперь взаимодействовать от оных последние наши чрез вас Порте Оттоманской по упреждении войны чинимые испытания». Стахиев должен был объявить Порте, что все ее жалобы несправедливы, что русское войско не делало никакого насилия

татарам, которые добровольно провозгласили ханом Шагин-Гирея, прибытие русского войска только способствовало благонамеренным татарам освободиться от страха пред Девлет-Гиреем: ни русских войск, ни начальника их князя Прозоровского не было в том месте, где происходили совещания татар. Турецкая жалоба, будто кн. Прозоровский не только угрожал татарским мурзам и чиновникам огнем, мечом и рабством, но и действительно изрубил из них пять или шесть человек невинных на страх другим, есть клевета: «Нельзя, кажется, Порте не знать, что русские генералы не имеют в жизни и смерти такой власти, какую ее начальники и паши так часто употребляют во зло; кроме того, личный характер князя Прозоровского как человека знатной породы, благородно мыслящего и благородно воспитанного весьма удален от того, чтоб оскорблять человечество». Относительно жалобы на отправление в Крым русских таможенных служителей Стахиев должен был отвечать, что некоторые русские купцы действительно получали от хана по договору все пошлинные сборы на откуп за известную цену. Денег на приобретение доброжелателей Стахиев не должен жалеть, лишь бы только жертва не была напрасная. Относительно требования выхода русских войск из Крыма Стахиев должен был говорить, что они выйдут, как скоро Порты исполнит два русских требования: признает ханом Шагин-Гирея и султан пришлет ему свое калифское благословение, которого никак не должно принимать в мысли инвеституры, ибо благословение это чисто духовное и никакого политического значения иметь не может; что без признания Шагин-Гирея никакие дальнейшие переговоры невозможны. При объявлении войны надобно было ожидать, что с Стахиевым будет поступлено так же, как и с Обрезковым в 1768 году; эта мысль приводит Екатерину в сильное раздражение, доказательством которого служит следующая записка ее Панину: «Пришло мне на мысль, не худо бы написать к Стахиеву, чтоб он туркам сказал, будто бы дошло до разрыва, что если они вздумают учинить над нашими подданными в Царьграде или инде у них находящимися какие бы то ни было суровости или жестокости, что у нас положено у них не оставить камня на камне».

До сих пор из Петербурга писалось Стахиеву, чтоб он объявлял Порте о добровольном избрании татарами Шагин-Гирея; на 11 ноября императрица должна была подписать ему рескрипт, что получена из Крыма неприятная ведомость о возмущении всей таманской черни против русских войск. «Мы, – говорилось в рескрипте, – оставляем времени решить, отчего произошел этот бунт: от собственного ли движения татар или от тайных происков Порты; но и в том и другом случае можно, кажется, предполагать с равною вероподобностию, что турки не упустят возгордиться этою выгодою и потому вверенные вам полюбобные переговоры встретят еще большие и, может быть, неодолимые препятствия». В последнем случае Стахиев должен был выехать из Константинополя, забравши с собою как можно более находившихся там русских.

От 28 ноября Стахиев донес, что главный из его доброжелателей Мурат-молла письменно предложил султану, что дела между Россиею и Портою могут кончиться полюбобно, если ему угодно будет признать Шагин-Гирея законным ханом и послать ему грамоту с объявлением, что так как татары в силу договора выбрали его независимым ханом, то султан признает его в этом качестве и, будучи верховным калифом, имеющим всю духовную власть, поручает ему и духовное правление над татарами, причем посылает ему шубу и саблю, и, как

скоро это будет сделано, русское войско должно выступить из Крыма, в чем Стахивев должен письменно обнадежить. Султан согласился, но вслед за тем пришло известие, что один из крымских шейхов, по имени Али-мулла, успел возмутить татар, которые напали на Шагин-Гирея, и тот раненый ушел из Бакчисарая, и не знают, жив ли он или умер, и все бывшие при нем мурзы побиты, причем у русских переранено до 500 человек, а татар побито до 900. Это известие, разумеется, расстроило дело, начатое Мурат-моллою, Порты стала ждать, чем кончатся крымские дела.

От 10 ноября Румянцев получил рескрипт: «Мы надеемся, что нынешний хан очень помнит и признает, что приобретенный им титул самодержавного хана есть сам по себе сущая мечта без нашего пособия и покровительства, что так как он единственно России обязан своим возвышением, то для сохранения своего и для целостности нового татарского владения надобно ему и впредь повиноваться во всем благонамеренному руководству двора нашего, следовательно, соглашать поступки свои с его политическими интересами, а не начинать таких дел, которые могли бы прямо вести его к гибели. Но трудно вам потом будет сломить иногда его заносчивость и поставить его в необходимость руководствоваться во всех своих действиях не собственным воображением, а советами и наставлениями вашими. Поручаем вам истолковать ему, что если, с одной стороны, честь и слава империи нашей требуют поддерживать воздвигнутое нами здание вольного и независимого владения татарского под его управлением в неприкосновенной целостности, то, с другой – интересы империи и сродное нам человеколюбие не позволяют предпочесть сохранение драгоценного мира вынуждению для него, хана, от Порты поздравительной грамоты силою оружия и пролитием невинной крови, когда есть другая, менее трудная дорога к получению от Порты формального признания его ханства, что дорога эта предначертана в мирном договоре чрез охранение в особе султанской прав верховного калифства, и потому ни ему, хану, лично, ни всем татарам вообще не может быть зазорно и предосудительно отправить к Порте на имя султана другие грамоты с признанием его в качестве верховного начальника магометанской религии и калифа и с испрошением себе духовного его благословения; что, наконец, мы, основательница и покровительница нового бытия татарских народов и личного возвышения Шагин-Гирея в ханское достоинство, всячески советуем ему отправить новые грамоты для предупреждения войны и обеспечения счастья татарского владения, которое в мире и тишине прочнее и надежнее может укорениться, особенно если хан станет более заботиться о приобретении любви и доверенности подданных ласкою и правосудием, не оскорбляя их несвойственными, неприятными для них новизнами». В том же рескрипте императрица объявляла свои намерения относительно Крыма в случае войны с Портою: «Мы предписали посланнику Стахивеву внушить оттоманским министрам, что в случае новой войны наш двор, конечно, не оставит соблюсти свой существенный интерес истреблением татар, дабы этим освободить обе империи однажды навсегда от этого вредного гнезда взаимных распрей. В самом деле, если турки не согласятся к концу зимы на новые наши предложения и решатся на войну, то никто не может сделать нам разумный упрек, зачем мы поступили строго с Крымом при малейшем колебании тамошних жителей, зачем предупредили опасность для войск наших очутиться между двумя неприятелями – турками и татарами. Судя по прошлому, нельзя почти ожидать,

чтоб крымские татары нам не изменили, увидя приближение турецких сил, поэтому и надобно предоставить себе свободу поступить с ними впредь как с действительными врагами или как с гнилою частию, которая отсекается врачами для спасения целого тела. А между тем для сохранения на своей стороне образа татарского владения думаем, что нужно принятись отныне с двойным усердием за Кубань и обитающие там ногайские орды и составить из них как можно скорей особенное, благонамеренное общество. С этой целью надобно вселить в них единомыслие и большую преданность к особе и власти Шагин-Гирея; способы для этого: поведение самого хана, руководствуемого вашими советами, и употребление денег, к чему мы вас уполномочиваем безо всякого ограничения. При восстании Крыма можно будет перевести Шагин-Гирея на Кубань не свергнутым, а действительным ханом и удержать там под его начальством значительную часть татар в виде независимой области, следовательно, достигнуть этим способом хотя для одной части границ империи прежней нашей главной цели, состоявшей в удалении непосредственных границ с турецкими владениями. Сверх того, будет еще на Кубани близкое убежище для тех крымцев, которые перейдут туда или по привязанности к Шагин-Гирею, или вследствие опустошения их жилищ. Мы предполагаем дозволить всем жителям Крыма свободу перебираться с имуществом своим на все четыре стороны, ибо для наших интересов довольно одного, чтоб туркам негде было стать твердою ногою».

Панин спрашивал мнения Штакельберга насчет вывода русских войск из Польши, и тот отвечал ему в самом начале года: «Каково бы ни было спокойствие, которым наслаждается республика, необходимо, чтоб новое правительство утвердилось во время пребывания наших войск. Перемены в турецких делах непременно возбудят новые волнения. Особа короля особенно подвергнется опасности. Прирожденный грех страны – это ненависть к королю». Споры по размежеванию новых границ с Пруссиею продолжались, и прусский министр подал Постоянному совету грозную ноту, что если поляки не уступят Пруссии спорного местечка Гуршно с 27 деревнями, то король его отзовет своих комиссаров и не отдаст тех мест воеводства Плоцкого, которые прежде согласился отдать. Штакельберг вздумал было заступиться за Польшу, но прусский резидент отвечал ему, что хотя король, его государь, выше этой мелочи, однако он не уступит, потому что польское правительство в отношении к нему позволило себе неприличный тон. Это неприличие было найдено в ноте Совета, который взывал к справедливости и человеколюбию короля, потому что прусские войска, выходя из польских областей, возвращенных республике, оставили в них одну только почву. Получив от Сольмса извещение, что в Петербурге очень не понравилось это дело, Фридрих писал ему, что все затруднение происходит от неверности польских географических карт. «Но, – продолжал король, – я знаю хорошо, чему должно приписать все затруднения, которые польский король делает делу размежевания: он постоянно ласкает себя надеждою жениться на одной из сестер императора и, получивши этим браком сильную подпору, воображает, что ему нет более нужды щадить меня; пусть венский двор выставляет тесную связь между ним и мною. Эта связь существует только в его хитром и интриганском духе, заставляющем его распространять такой слух. Я никогда ему не доверялся и никогда не доверюсь во всю мою жизнь, никогда я не сообщу ему своих намерений. Впрочем, по настоящему положению Польши я не предприиму никогда ничего, не условившись

первоначально с Россией». Желая успокоить петербургский двор и выставить дело нестоящим внимания, Фридрих писал Сольмсу: «Один швейцарец-католик ел яичницу постом. Вдруг загремел гром, и ему говорят: „Бог готовится наказать тебя за нарушение церковных правил“. Швейцарец бросил яичницу за окно и сказал: „Великий боже! Сколько шуму из-за яичницы!“ В таком же положении и я. Вопрос из-за нескольких деревень не произведет пожара в целой Европе; я от этого не разбогатею, а Польша не обеднеет. Петербургскому двору стоит только приказать своему послу графу Штакельбергу порешить это дело, и все будет кончено». Но русская императрица приняла на себя посредничество, и дело было покончено в Варшаве Штакельбергом: спорная земля была поделена.

В начале августа Штакельберг дал знать Панину, что французский двор вознамерился женить польского короля на принцессе Бурбон, дочери принца Конде. Первое предложение было сделано княгиней Любомирскою, дочерью русского воеводы, и возобновлено одним французом, находившимся в польской службе. Получивши об этом известие, Штакельберг молчал, желая испытать искренность и доверие короля. Станислав-Август выдержал испытание, первый начал говорить послу об этом деле и объявил, что так как у него решено поступать единственно по воле императрицы, то он не вошел нисколько в это дело. В то же время он выразил желание, чтоб невеста, назначаемая ему, вышла за его племянника, и просил Штакельберга разведать мысли императрицы насчет Курляндии, нельзя ли ее отдать князю Понятовскому; Штакельберг заметил, что курляндский престол занят. «Таковы-то виды Франции и наших врагов в этой стране, – писал Штакельберг, – если бы им удалось устроить этот брак, то обнаружались бы соединенные движения венского и версальского дворов для отнятия у России этого влияния в Польше, которого поддержка в этом веке произвела столько кровавых сцен и которым императрица теперь овладела с кротостию, господствующей в ее политике и сердце, вследствие чего Польша сделалась как бы русскою провинцией. Такое положение дел очень неприятно для врагов империи как внутри, так и вне Польши. Прошу сообщить мне в открытом письме решение ее и в-ства насчет королевского предложения, равно как самую сильную причину для отстранения планов насчет племянника. Нигде здесь нам не нужно французов». В Петербурге дано было такое решение, что король обещал Штакельбергу замять это дело. Но кн. Борятинский дал знать Штакельбергу из Парижа, что какой-то Глэр продолжает вести переговоры о браке. Принц Конде был согласен на этот брак, но выражал беспокойство насчет участи имеющих родиться у короля детей, так как польская корона не была наследственна. Глэр отвечал, что если Франция возвратит свою дружбу короне и королю польскому, то и дети королевские могут быть счастливы) ибо Станислав-Август имеет в своем распоряжении от трех до пяти миллионов ливров. Что же касается того, чтоб сделать польскую корону наследственною, то это дело не легкое и, может быть, и совершенно невозможное при настоящих обстоятельствах; но когда прусский король умрет, то надобно думать, что и политическая система на Севере переменится. «Я не предполагаю, – продолжал Глэр, – чтоб и тогда польскую корону можно было сделать наследственною, по крайней мере Франция может действовать тогда с большим успехом. Лишь бы Франция сделала первый шаг для вступления в союз с Польшею, а то довольно видали на свете таких дел, которые с первого раза казались также невозможными, а потом приводились в исполнение».

Переговоры шли посредством дочери госпожи Жоффрэн, потому что знаменитая маменька была больна. Тогда посол имел с Станиславом-Августом горячее объяснение относительно всех политических сообщений в Константинополе и Париже; он ему объявил, что хотя нисколько не сомневается в добросовестности его величества относительно русского двора, однако не может не заметить, что король предается своей прежней страсти к политическому кокетству и ложной снисходительности ко врагам императрицы. Разговор имел следствием отозвание Глэра. Та же участь постигла и польского интернунция в Константинополе Боскампа.

5 апреля Фридрих писал Сольмсу: «С большим удовольствием узнал я, что граф Панин был доволен внушениями, которые я велел сделать Порте для уничтожения зародышей новой войны с Россиею. Но вы должны ему передать, что мои добрые услуги не ограничились одними этими внушениями. Через третьи руки и не возбуждая никакого подозрения, что дело идет от меня, я дал знать версальскому министерству о честолюбивых видах венского двора против Порты по поводу этих новых смут, и дело очень удалось. Французское министерство было раздосадовано этим тем более, что оно смотрит чрезвычайно подозрительно на честолюбивые замыслы императора и питает основательные опасения, что, если венский двор успеет еще захватить несколько оттоманских провинций, Порта слишком ослабевает и не будет способна сделать диверсию в пользу Франции, когда рано или поздно начнется война между нею и Австриею. Это опасение заставило французское правительство отправить наспех в Константинополь барона Тотта для отвращения Порты от нового разрыва с Россиею». В августе Фридрих писал: «Кажется, довольно верно, что кн. Кауниц замышляет сдеулить еще кусок Валахии у Порты и что новая война между Россиею и Турциею является для него самым удобным и верным для этого путем; он пламенно желает этой войны и не пренебрегает ничем для раздувания огня, тлеющего под пеплом. В этих видах он попытался отклонить Францию от намерения поддержать мир между Россиею и Турциею. Если действительно военный пламень возгорится между ними, этот министр не замедлит предложить Турции договор, по которому его двор обещает собрать войско в окрестностях Песта для сдержания России и за это выговорить себе часть Валахии, а быть может, и денежную сумму для этой военной демонстрации. Так как мне кажется, что новая война с Портою вовсе не соответствует истинным интересам России и война эта будет еще менее выгодна для последней, если венский двор один должен воспользоваться ею и наловить рыбы в мутной воде, то я захотел услужить России, выведя окольными путями Францию из заблуждения насчет внушений кн. Кауница. И если Россия сочтет нужным прибавить что-нибудь по этому делу для версальского министерства и верить мне свои идеи, я с величайшим усердием исполню поручение как добрый и верный союзник». По словам Фридриха, Кауниц отвращал французский двор от стараний поддержать мир между Россиею и Портою, внушая, что Франции выгодно занять Россию турецкою войною: этим она воспрепятствует ей принять участие в войне между Франциею и Англиею; это участие будет в пользу последней, ибо Россия обязана договором помогать Англии громадным флотом и двадцатитысячным сухопутным войском. Кауниц делает России мирные заявления, предлагает свои услуги в переговорах с Портою, но все это обман. Рейс-эфенди совершенно предан Австрии, и если бы даже Кауниц довел свое

двоедушие до того, что сделал бы Порте предложения в пользу мира, то это будет сделано только для формы, и рейс-эфенди знает, как извернуться в этом случае. Таким образом, Кауниц останется в стороне и будет готовить стрелы, которые рассчитывает пустить французскими руками.

В ноябре Фридрих писал: «Так как все мои известия, константинопольские, польские и венские, согласны в одном, что Порта почти вполне решилась на войну, то боюсь, чтоб предложения, которые теперь могли бы быть ей сделаны, не опоздали. Они постоянно должны быть сопровождаемы хорошими подарками для подкупа сераля, без которых нельзя себе обещать ни малейшего успеха. Вы можете сказать графу Панину, что я знаю наверное, что Стахийев уже делал употребление из этого смягчающего средства, но я думаю, что он дал своим подаркам не очень хорошее назначение: он роздал их комиссарам Порты, назначенным вести с ними переговоры, но эти люди второстепенные, не имеющие голоса в диване. Позолоченное оружие надобно было употреблять в борьбе с рейс-эфенди и другими членами дивана. Возмущение против великого визиря и капитана-паши могло бы одинаково повести к важным последствиям; во всяком случае надобно было бы постараться произвести такое возмущение, чтоб расстроить план Порты; посредством подкупов дело не будет невозможным. Что касается наших соглашений для сопротивления австрийским видам, то я думаю, что, пока не возгорится война между Россией и Портою, нечего бояться с их стороны; но как скоро война будет объявлена, то Россия не найдет ли нужным, чтоб я сообщил Порте следующее: я знаю наверное, что венский двор очень желает схватить у нее еще кусок Валахии и Молдавии под предлогом старых претензий и, чтоб заставить ее проглотить эту пилюлю, он выставит ей на вид значительный корпус войск, готовый лететь ей на помощь против России, равно как и предполагаемый кредит свой при петербургском дворе, вследствие которого при посредничестве Австрии Порта может заключить выгодный мир с Россией. Я не могу не дать Порте совета не позволить себя убаюкивать этими медоточивыми предложениями двора, который старается только обмануть ее для удовлетворения своего непомерного аппетита к новым завоеваниям. Я могу прибавить к этим внушениям предложение гарантии всех владений, которые останутся за нею при заключении мира, уверяя, что могут обещать такую же гарантию и от России. Другое средство расстроить австрийские планы состоит в том, что, как скоро Австрия сосредоточит войска на границах, Россия и я сделаем общий запрос венскому двору о назначении этого войска».

Панин был очень рад гарантировать вместе с Пруссией владения Порты и просил короля, чтоб тот для предотвращения войны сделал немедленно внушения Порте насчет австрийских замыслов. Фридрих отвечал, что согласен, но если это причинит ему какие-нибудь неприятности, то Россия не должна оставлять его одиноким, но должна немедленно повести дела сообща с ним. В конце ноября Фридрих дал знать, что внушения его в Константинополе не имеют успеха, что России останется прибегнуть к подкупам, истратить на них 100000 червонных и на всякий случай приготовиться к войне.

А кн. Дмитр. Мих. Голицын в самом начале года писал Панину следующее: барон фон-Свитен должен был узнать мнение прусского короля насчет занятия русскими Перекопи. «Я нахожу, что это событие может перемешать карты между Россией и Портою, – отвечал король и продолжал: – В этом случае я не вижу, что

мешает вашему двору воспользоваться такими благоприятными обстоятельствами для распространения своих владений со стороны Турции; бояться нечего от соседа, который еще не имел времени поправиться после недавней войны и который находится в затруднении со стороны Персии». Фон-Свитен без церемонии спросил, как же его прусское величество намерен в таком случае увеличить собственные владения, и Фридрих отвечал, что у него есть также план округления своих владений на счет Данцига, герцогства Мекленбургского и Померании. Голицын оканчивал свое донесение словами: «Такая почти невероятная откровенность вполне заподозрила бы это известие в моих глазах, если б я не мог поручиться за совершенную достоверность источника». В конце мая кн. Голицын сообщил другое любопытное известие, что французский посланник в Вене известный нам Бретейль подал Кауницу мемуар, в котором французское правительство энергически доказывало необходимость для дружественных Турции дворов отвращать последнюю от возобновления войны с Россией, ибо эта война нанесет Порте новые удары и нарушит чрез это равновесие Европы. По мнению Голицына, такое мирное настроение французского двора происходило, с одной стороны, от убеждения, что Турция теперь не в состоянии бороться с Россией, а с другой – из опасения, чтоб венский двор не воспользовался благоприятными обстоятельствами, чтоб поживиться на счет Порты в свою очередь.

Кн. Борятинский из Парижа писал 6 января, что в Версали голландский посол показывал ему выписку из константинопольского письма, где сказано, что там много толкуют о войне с Россией и догадываются, что Порту побуждает к разрыву с Россией венский двор, обещая склонить бурбонские дворы к тому, чтоб русский флот не пропускать более в Архипелаг, за что требует для себя часть Молдавии и Валахии. Весть эта быстро разнеслась по дипломатическому корпусу, и один из членов его передавал свой разговор с графом Верженем, который сказал ему именно такими словами: «Я не могу надивиться и не понимаю, как Порта могла так скоро позабыть свой стыд и несчастье и как она не предвидит, что вовлекает себя в погибель. Если она не намерена была исполнять трактат, то по крайней мере должна была бы тотчас по заключении мира делать приготовления к войне, но она все это время ничего не делала». По мнению кн. Борятинского, Вержен не мог подущать Порту к новой войне, во-первых, потому, что он миролюбив; во-вторых, всем известно, что и последняя война воспоследовала против его желанья и что он предсказал все то, что случилось с турками; в-третьих, политические причины должны отводить от этого Францию: если Порта, как предполагается, опять будет побеждена Россией, то австрийский дом чрез это очень усилится, а это противно интересам Франции. На случай войны в Версале и Париже уже ходили слухи, будто император Иосиф предлагал матери соединиться с Россией против Порты, но Мария-Терезия и Кауниц на это не согласны. Толковали, что, если венский двор соединится с Россией, то в две кампании турки будут побеждены: венский двор возьмет Белград и Валахию и получит свободный ход по Дунаю в Черное море; Россия возьмет Очаков, Бендеры и Крым; прусскому королю за то, что не будет делать препятствий, Россия уступит (?) Курляндию, а венский двор даст часть Силезии.

В марте Борятинский виделся с Морепа, с которым был хорошо знаком, и просил его сказать искренне, по дружбе, известно ли ему, в каких расположениях

находится теперь Порты. Морепла отвечал: «Я думаю, что турки сделают дурачество и опять начнут с вами войну; но я скажу вам по совести, что Франция не приводит Порты к войне; мы не думаем, чтобы истребление Порты было для нас полезно, ибо мы предполагаем, что в настоящем состоянии Порты ей с вами воевать невыгодно; будьте в том уверены, что мы не стараемся удалиться от вас и думаем, что в сближении была бы обоюдная польза, особенно в отношении к торговле». В апреле надежный человек уведомил Борятинского, что в королевском совете недавно читан был мемориал такого содержания: критическое положение Порты таково, что как бы ни стали действовать Россия и Австрия, согласно или нет, новая война может только приготовить падение Турции в Европе. Если венский двор внушит или России, или Порте твердо держаться своих требований, то он достигнет цели своего честолюбия: имея свободные руки, действовать смотря по обстоятельствам; он воспользуется истощением Турции для получения от нее известных провинций или в случае отказа завоюет их. Польша предана Франции и стала бы действовать непременно согласно с ее видами; но это государство истощено внутреннею анархией и не может свободно располагать своими силами. Морские державы Англия и Голландия имеют наравне с Францией сильные побуждения препятствовать падению Оттоманской империи в Европе, но теперь не время входить с ними в сношения по этому предмету. Франция имеет обязательство с Австриею по версальскому договору, но было бы странно обращать внимание на эти обязательства ввиду такого важного для Франции интереса, как сохранение Турции в Европе. По моему мнению, надобно войти в прямые сношения с венским двором, объявить ему, что король желает сохранения мира между Россиею и Турциею и сохранения целости последней. Борятинский узнал, что мемориал подан был Верженем, ибо из Константинополя получено донесение, что австрийский интернунций старается привести Порты к разрыву с Россиею, внушая, что его двор объявит себя в пользу Порты, почему и собрано большое войско в Венгрии. Потом Борятинскому сообщили новые подробности мемориала Верженя; в нем говорилось, что, какие бы приобретения ни сделал венский двор в войне с Портою, они не могут идти в сравнение с выгодами, какие может получить Россия, ибо, страны, которыми она овладеет, обитаемы большею частью греками (т.е. православными) и по единоверию, естественно, будут ей преданы. Борятинского известили также, что к французскому поверенному в делах при Порте отправлен курьер с приказанием стараться удерживать Турцию от войны; Англии и Голландии предложено, чтоб и они с своей стороны старались о том же, ибо это нужно и для их левантской торговли.

Управлявший посольскими делами в Стокгольме (в отсутствие Симолина) Рикман дал знать в феврале, что весною король поедет в Финляндию и оттуда в Петербург. Сенатор граф Белке спрашивал Рикмана, проведет ли императрица лето в Петербурге. Узнав об этом, Екатерина написала собственноручно вице-консулу Остерману: «Напишите Рикману, что я проведу весну и лето в Смоленске». Несмотря на то что Рикман распустил везде слухи о смоленском путешествии императрицы, сказал об этом и самому королю, который был очень смущен таким неприятным известием, 12 мая Рикман снова донес, что поездка короля в Петербург — дело решенное; когда королю напоминали о поездке Екатерины в Смоленск, то он отвечал, что это слух ложный, потому что шведский

посланник при петербургском дворе ничего об этом не пишет, да и Рикман сказал ему, что знает о поездке только из частных писем. Рикману передали и причину, заставлявшую Густава ехать в Петербург: недовольный Франциею, он хотел заручиться другими средствами; и 19 мая Рикман писал к Панину, что управляющий иностранными делами сенатор граф Шефер объявил ему официально, что шведский посланник в Петербурге барон Нолкен уведомил о намерении императрицы оставаться все лето в Петербурге и что король, не предвидя никаких затруднений в удовлетворении неугасаемой жажды видетсья и познакомиться лично с ее и. в-ством, решился ехать в Петербург в начале будущего июня, остановится он в доме шведского посланника и будет соблюдать строжайшее инкогнито. Рикман поблагодарил графа Шефера за такую дружескую откровенность и уверил его, что королевское посещение будет приятно и драгоценно ее и. в-ству. Возвратившийся в конце мая Симолин доносил, что насчет королевского путешествия в Петербург мнения различны, но все согласны относительно охлаждения между Швециею и Франциею, которая отказывается возобновить субсидный договор и оплачивать издержки, которые угодно делать шведскому королю. Густав прямо говорил, что он хочет лично переговорить с императрицею и надеется дойти до соглашения с нею, чтоб заручиться ее дружбою и утвердить спокойствие на Севере. Шляпы и колпаки желают одинаково, чтоб намерения королевские не удались в Петербурге; они боятся, что удача поездки даст ему дух перейти границы и осуществить свой план полного захвата власти, причем народу не будет пощады в налогах для удовлетворения пустых издержек королевских.

От 21 июля Симолин писал, что заявление Густава III об успехе своего путешествия в Россию не позволяет шведам ни малейшего сомнения, что он уладил дело с императрицею и взаимное доверие между обоими дворами восстановлено навсегда. В самый день возвращения вечером король сказал сенатору графу Сверину, что ему удалось войти в полное соглашение с императрицею, что они будут поддерживать друг друга, что бы ни случилось. Сенатору графу Гепкену король, между прочим, сказал, как ему стыдно, что прежде имел об императрице и петербургском дворе совершенно другое представление, чем теперь, когда познакомился с ними на месте, что он чрезвычайно доволен своим путешествием и что он будет оказывать императрице все зависящие от него услуги. Другой особе он сказал: «Теперь у меня есть кой-какой кредит в Петербурге». Сенатор барон Спарре сказал Симолину: «Вы сделали короля совершенно русским; мы его избаловали, и мы вам его отошлем назад». Вице-канцлер сообщил Симолину все разговоры, которые имел Густав с Екатериною. Императрица, писал Остерман, уверила его, как всегда было ей желательно благосостояние его дома, как она теперь довольна, что увидалась с государем, столь близким ей по крови; императрица прибавила, что она не менее его желает мира и тесной дружбы между обоими народами. Король, повторяя те же уверения и желая коснуться шведской революции 1772 года, сказал, что, каковы бы ни были добрые намерения государя или государства, бывают такие обстоятельства и случаи, когда они видят себя принужденными решаться на поступки, могущие не быть приятными; но он уверяет ее в-ство, что он не имел никогда дурного намерения против нее и ее империи и желал, напротив, поддерживать не только доброе согласие между обоими государствами, но еще

укрепить связь между ними и что у него нет никакого обязательства, которое бы воспрепятствовало этому единению. Императрица отвечала, что не скроет, как она была озадачена событием, на которое он указывает; она желает, чтоб его в-ство был им удовлетворен, чтоб его подданные были счастливы и довольны. Что же касается до нее, то пятнадцатилетнее правление показало, как она любит мир и спокойствие, но в то же время обнаружилось не менее ясно, что она умеет защищаться, когда на нее нападут; относительно же более тесной связи между Россией и Швецией, то, по ее мнению, об этом должны вести переговоры министры. «Хотя король, – писал Остерман, – несколько раз возвращался к этому предмету, однако он не получил от императрицы никакого дальнейшего изъяснения, из чего вы можете заключить, что нет ничего решенного относительно тесного союза; еще менее король может думать, что получил какое-нибудь одобрение произведенной им перемене. Поэтому вам будет легко рассеять на этот счет опасения благонамеренных и уничтожить все слухи, причиненные путешествием короля. Вы имеете право сказать вашим друзьям, что ее и. в-ство так постоянна в своих принципах и так умеет различать взаимные комплименты государей от интересов государства, что не позволит себя обмануть насчет справедливости и значения своих обязательств, исполнения которых она будет постоянно желать».

Но Симолин писал, что, как слова императрицы ни были неопределенны, король объясняет их решительно в свою пользу. Он с своими приверженцами только и толкует о приеме, какой был ему сделан, об изъявлениях дружбы, внимания, доверия, о подарках, которые оценивают в 370000 рублей; выставляются также торжественные обещания императрицы, что она не желает ничего более, как быть в мире и тесной дружбе с своим двоюродным братом, и, если бы обнаружились внутренние волнения в Швеции, она, конечно, в них не вмешается; дают знать, что король приобрел личное влияние на императрицу и на многих других самых значительных людей. Заключают из этого, что цель путешествия вполне достигнута, что Швеция может быть спокойна, ей бояться нечего, если только она сама не начнет войны, что переговоры о более тесном союзе будут происходить между министрами с большим успехом, как только король признает для себя выгодным начать их.

В конце сентября, когда возвратился в Стокгольм влиятельный сенатор барон Функ, Симолин объявил ему о неизменности взгляда императрицы на шведские дела, на который посещение королем Петербурга не произвело ни малейшего влияния. Симолин просил Функа сказать ему, как по его мнению, можно было поправить сделанное на сейме 1772 года и возвратить народу его прежнюю вольность, отнятую самым оскорбительным насилием. Симолин хотел бы узнать от него мнения и расположения колпаков и шляп относительно этого предмета, какие меры они думают приготовить и принять для облегчения успеха предприятия и какие средства русский двор и его союзники должны употребить для содействия общему стремлению шведского народа. Функ обещал подумать об этом и посоветоваться с друзьями, а тут сказал, что для успеха предприятия необходимо, чтоб приняли в нем участие не одни колпаки, но и шляпы; что неудовольствие народа и желание перемены в настоящей конституции всеобщее, но что шведский народ отличается непоследовательностью, легкомыслием и робостью, легко увлекается и легко падает духом. Но, промедливши полтора

месяца, Функ отказался входить в объяснение по этому предмету; а сенатор Ферзен решительно объявил датскому посланнику, что конституция 1720 года никуда не годилась, что во время ее господства все решалось по корыстным побуждениям или по капризу отдельных лиц, почему переворот, произведенный в 1772 году, и не встретил сопротивления в народе, что если говорить о деспотизме, то все равно, терпим ли мы от деспотизма одного человека, или от деспотизма нескольких лиц, или от деспотизма толпы, что все же деспотизм одного человека предпочтительнее деспотизма многих, что в целом шведском народе нет никого, кто бы собственно желал возвратиться к конституции 1720 года и стал бы этому содействовать. Но один из видных благонамеренных, майор Пайкуль, уверял, что народное неудовольствие очень велико и увеличивается со дня на день и что его деревенские друзья по-прежнему готовы содействовать перевороту при первом благоприятном случае, но необходимо привлечь на свою сторону Ферзена и шляпы; если Ферзен выразил отвращение от конституции 1720 года и хвалил английскую конституцию, то его легко удовлетворить в этом отношении, приблизив новую форму правления к английской конституции. Но Пайкуль затруднялся тем, что после отказа Функа некого выбрать вождем в партии колпаков.

1778

В начале года (н. с.) Фридрих II говорил кн. Долгорукому, что смерть курфюрста баварского может иметь чрезвычайно важные последствия. «Я, – говорил король, – желаю, чтоб все уладилось мирно, но дела еще страшно запутаны, это настоящий хаос, и нельзя определить, что отсюда выйдет. Курфюрст-палатин в своей прокламации говорит о договоре с покойным курфюрстом 1774 года, но содержание этого договора никому не известно. Франция не может сильно вмешиваться во все это, потому что у нее, несомненно, будет война с Англиею; я убежден, что существует договор между версальским двором и Америкею. Саксония потребовала моей помощи для приобретения того, что вдовствующая курфюрстина уступила своему сыну, и я отвечал, что она может положиться на меня, только бы не спешила. Верно, что венский двор старается возбудить новую войну между Россиею и Портою».

В депеше к Сольмсу от 4 января король писал о страшных вооружениях Порты и настоятельно советовал России поскорее собрать на Украине со стороны Бендер силы, достаточные для отражения турок. «Смерть баварского курфюрста, – продолжал король, – особенно затруднит венский двор и, пожалуй, остановит его виды на увеличение своих владений со стороны Венгрии (т.е. на счет Турции), виды, которые до сих пор совершенно поглощали его внимание. Вы знаете, как всегда баварское наследство возбуждало его аппетит и какие проекты он составлял для его получения. Таким образом, теперь он очень затруднен, какое из двух приобретений предпочесть. Этот двор распространит слишком далеко свои завоевания, если другие не построят против них достаточно крепких плотин. Даже Франция, его союзница, не будет знать, какую взять сторону, и я знаю, что она не будет смотреть благосклонно, если Австрия захватит много из баварского

наследства». В следующей депеше обнаружилось, почему прусский король так настаивал на сильные меры против Турции со стороны России: если мир будет разорван и Россия ограничится оборонительной войною, то Порты, без сомнения, захочет пройти чрез Польшу со 150000 войска для нападения на Киев, а этим воспользуются недовольные поляки и снова поднимутся, что, разумеется, будет очень неприятно прусскому королю при настоящих обстоятельствах. Поэтому Фридрих уговаривал русский двор склонить Польшу к союзу с Россиею против турок.

Уведомляя (26 января) о занятии австрийцами баварских земель гораздо далее предела, обозначенного в договоре с курфирстом, Фридрих писал: «Венский двор этим не ограничится: он отдал фьефы курфирсту-палатину лично, без передачи прав герцогу Цвейбрикенскому. Итак, если князья империи будут так слабы, что пройдут молчанием этот поступок венского двора, то вот какие будут последствия. Прежде всего этот двор присвоит себе право делить по своему капризу все наследства князей; он станет захватывать одну область за другою; он присвоит себе деспотическую власть и кончит тем, что подчинит себе германский корпус. Но невозможно содействовать таким насильственным и непомерным претензиям, и не остается другого средства, как остановить зло в самом источнике. При этом кризисе германских дел я бы пламенно желал, чтоб Россия уладила с Портою и я мог бы требовать ее помощи, поставить ее посредницею в деле, от которого зависит спасение всего германского корпуса. Действительно, эта самая блестящая роль для русской императрицы, и думаю, что ее величество не будет к ней нечувствительна, а будет мне немножко благодарна за поданный ей случай».

От 22 марта Фридрих писал, что война кажется ему теперь неизбежною и он употребит все усилия собрать вовремя войска для отражения наступающего неприятеля. Но в этой войне Фридриху была нужна русская помощь, и король писал 10 апреля: «Пока венский двор будет видеть, что Россия занята турецкими делами, до тех пор он не обратит большого внимания на ее представления в пользу князей германских, не понизит своего высокомерия, не покинет видов на увеличение своих владений. Вся австрийская армия собрана теперь в Богемии и Моравии. Я собираю свою, которая, несмотря на всю быстроту, мною употребляемую, не будет собрана ранее 1 или 2 мая. Австрийцы не могут решиться на удовлетворение немецким государствам, оскорбленным их хищничеством, а моя честь не позволит мне терпеть подобных насилий; таким образом, дела не могут быть решены путем переговоров и должны необходимо решиться оружием. В этом кризисе я могу рассчитывать на помощь Верхней и Нижней Саксонии, Гессен-Касселя, Байрейта и Аншпаху; но духовные курфирсты и другие епископы вместе с курфирстом-палатином возьмут сторону императора. Баварские чины единодушно протестовали против Австрии. Но чтоб заставить благонамеренные чины сделать формальную декларацию, нужно выиграть сражение. Вы видите, что обстоятельства приближаются к тем, какие были перед Тридцатилетнею войною, и государства, которые вошли в соглашение с Франциею, те же самые, которые могут теперь соединиться с Россиею. Но я должен повторить прежде сказанное: выигранное сражение должно заставить их решиться на это. Между тем я принял меры, чтоб не бояться в настоящую минуту попыток моих врагов. Недостаток в фураже воспрепятствует им, равно как и мне,

предпринять что-нибудь до начала июня. Если в России думают ограничиться одними представлениями австрийцам, то это не будет иметь никаких последствий. Хотя мне кажется, что я могу приложить случай, в каком теперь нахожусь, к указанному в союзном договоре относительно требования помощи у союзника, однако я оставляю русскому двору полную свободу решить, выгодно ли ему позволить притеснять немецких князей и отвернуться от столь важной войны, как эта, не принявши в ней ни малейшего участия».

Сольмс дал знать королю о требовании Панина, чтоб имперские чины сообща обратились к России и Франции с просьбою о помощи. Фридрих отвечал (20 апреля), что это невозможно, ибо на стороне Австрии духовные курфирсты, епископы и капитулы; известно из истории, что при всяком важном решении Германия делилась; так делилась она и в Тридцатилетнюю войну на союзников императора и шведских. «Средства, которые можно ожидать от империи, только формальные; они не принесут никакой существенной пользы, ибо у князей нет ни мужества, ни достаточных сил, чтоб дать значение своим голосам и своим объявлениям. Главная тяжесть падет всегда на одного меня. Если я покину это дело, если я пожертвую им несправедному честолюбию венского двора и деспотизму императора, то равновесие Германии и всей Европы потеряно, никакая сила после не будет в состоянии остановить потока. И потому я всегда надеюсь, что русская императрица по дружбе ко мне и по своей мудрости не покинет меня в этом критическом положении. Она не будет иметь нужды в больших усилиях для подания мне помощи: декларация несколько сильная и серьезная демонстрация со стороны Галиции могли бы вначале оказать мне большие услуги».

В самом конце июля к Фридриху явился известный Тугут под именем советника русского посольства с паспортом, подписанным кн. Голицыным. Тугут привез обещание венского двора отказаться от своих претензий на Баварию, если прусский король откажется от своих претензий на маркграфства Байрейт и Аншпах. Фридрих отверг предложение, говоря, что претензии австрийские ни на чем не основаны, тогда как его права на маркграфства неоспоримы. Он немедленно отправил депешу в Петербург с обычными внушениями, что, если не поспешить отражением австрийского удара, венский двор возгордится так, что не будет уже полагать границ своему хищничеству, что двор этот имеет непременно намерение овладеть Босниею, венецианскою частью Веронской области, наконец, Молдавиєю и Валахиєю. «Я употреблю все мои усилия, – писал король, – чтоб заставить германских князей обратиться к России с просьбою о помощи, надеюсь склонить к этому округа Верхне– и Нижнесаксонский, Вестфальский, также князей, главным образом заинтересованных в деле, по образцу Смалькальденского союза во время Тридцатилетней войны. Но если бы между тем русская императрица захотела сделать что-нибудь посущественнее, пополезнее для нас, то она бы приказала напасть на австрийские владения в Польше. Она может быть уверена, что жители этих областей примут ее сторону; там только три тысячи австрийского войска и России стоит только сказать слово, чтоб возбудить мятеж и овладеть Галициєю и Лодомириєю, потерявши много-много 200 человек; отсюда стоит только послать маленький отряд легких войск в Венгрию, к рудному городу Кремницу, как венгерцы поднимут страшный вопль. Кроме того, в Венгрии много греков (православных славян), которые примут сторону России. Если бы Россия

могла решиться двинуть свои войска по крайней мере к концу сентября или в начале октября, то ее действия будут иметь важные последствия; но она встретит гораздо больше затруднений, если станет медлить».

В конце августа Сольмс писал Панину: «Если местные условия принудят короля к бездействию, то враги его будут торжествовать: так как на них нельзя будет напасть, то им нечего будет бояться поражения, и они удержат то, что захватили, У них впереди еще возможность приобрести большие выгоды и увеличить свои завоевания, если короля постигнет болезнь, на которую они всегда надеялись, и он будет не в состоянии сам распоряжаться военными действиями, наводя страх своим именем. В этом критическом положении существенная помощь России становится ему необходима, и так как императрица выразила свое благоприятное решение на этот счет, то она не может оскорбиться сильно настойчивостью короля в получении этой помощи как можно скорее. Есть латинская пословица: „Кто даст скоро, тот дважды даст“. Умоляю в. с-ство дать силу этим соображениям».

В Вене в начале года были очень любезны к России ввиду вопроса о баварском наследстве. Получив из Петербурга конфиденциальное изложение настоящих отношений между Россией и Портою и русский ультиматум, отправленный в Константинополь, венский двор отправил своему поверенному в делах при Порте приказание внушать Порте от имени императора и императрицы-королевы о их желании, чтоб между Россией и Турциею сохранен был мир; копия с ноты, которую поверенный в делах должен был подать Порте по этому случаю, была переслана в Петербург. Кауниц сказал при этом Голицыну, что никто более его не отдает справедливости русским требованиям и не обвиняет Порту в недобросовестности, что их величества смотрят на дело точно так же и потому петербургский двор должен ожидать с их стороны самого дружеского содействия, как только откроется случай облегчить удовлетворительное для России улажение спора ее с Турциею. Несколько дней спустя Кауниц сказал Голицыну: «Я надеюсь, что у вас будут довольны ответом их величеств на конфиденциальное объяснение. Вообще я рад случаю сказать и повторить вам, что мы добрые люди и наши дела не противоречат никогда нашим словам». – «Я свидетель, вполне убежденный в этой истине», – сказал Голицин. «Вы, князь, да, – отвечал Кауниц, – но можете ли вы мне отвечать, что люди злонамеренные и завистливые не стараются убедить ваш двор в противном?» Голицын заметил, что его двор не легко поддается на всякие убеждения и умеет отличать дружеские поступки от враждебных. На другой день после этого разговора Голицын встретил самого императора, который подошел к нему и поздравил с рождением великого князя Александра Павловича. После этого, перейдя к турецкому делу, сказал: «Что вы хотите с этими животными – турками, до сих пор не было никакой возможности уговорить их! Религиозный энтузиазм вместе с обычным их высокомерием беспрестанно увеличивают их упрямство. Ультиматум вашего двора написан так справедливо и так умеренно, что если они его не примут, то навлекут на себя порицание всех держав; и я думаю, что они не захотят этим рискнуть. Я вам скажу еще одно слово о моей собственной политике: я не могу отказаться от принципа, что постоянные и взаимные интересы, соединяющие две империи и коренящиеся большею частью на местных условиях, не должны долго подвергаться временному нарушению. Таковы интересы, существующие между

Россию и Австрию; на различные случайные обстоятельства, которые, по-видимому, ослабили на некоторое время связь между ними, надобно смотреть, как на скоро преходящие бури, за которыми должна последовать прежняя тишина».

«Справедливость этого взгляда бросается в глаза, государь, – отвечал Голицын, – и я убежден, что мой двор смотрит на дело точно так же; но с позволения в. в-ства я дам ему знать о той энергии, с какою вам угодно было изъясниться на этот счет». – «Вы меня обяжете, – сказал Иосиф, – если при всяком случае будете извещать об искренней дружбе, которую я питаю к вашей великой императрице и как я желаю иметь случай доказать ее лучше, чем можно было прежде». Иосифу, Марии-Терезии, Кауницу при их разговорах с русским послом постоянно виделся прусский король. Императрица-королева, уверяя Голицына по поводу рождения великого князя в своем добром расположении к Екатерине, не могла не прибавить: «Вы можете быть уверены, что те, которые предполагают во мне другие чувства, говорят неправду». Кауниц продолжал речь императора. «Мы, – говорил он в другой раз Голицыну, – мы не такие люди, которые идут навстречу другим; это, быть может, наш недостаток, но мы понимаем свои интересы; и мы были бы люди очень ограниченные, если б не видали, что интересы, существующие между нашими монархиями, не должны никогда изменяться. Я знаю, что хотели предположить в нас виды, гораздо менее возвышенные, ограничить нашу политику мелкими завоевательными планами с целью увеличения владений; но государство, подобное нашему, которое достаточно велико само по себе и которому позволительно чувствовать свои силы, не может никогда иметь мелочных видов. Ничтожные приобретения, какие мы недавно сделали от Порты и какие мы теперь делаем от Баварии, проистекают, с одной стороны, из наших прав, а с другой – составляют предмет чистого удобства без всякой примеси честолюбия и страсти к приобретению». Голицын заметил, что тон Кауница при этих разговорах совершенно рознился от прежнего, все это было сказано с искренностью и добродушием, чего прежде вовсе не замечалось в сообщениях австрийского канцлера. Но при венском дворе не могли не прийти к мысли, что такую перемену тона в Петербурге припишут баварскому вопросу, и потому император Иосиф счел нужным заметить Голицыну. «Мне досадно, – сказал он, – что ваш двор не обратился прежде к нам по турецким делам: наши добрые услуги могли бы быть действительнее. Впрочем, баварская перемена, вероятно, внушит кому-нибудь мысль, что благодаря ей мы так усердно предлагаем вам свои услуги. Но я вам говорю, что Бавария тут ни при чем. Мы улаживаемся с курфирстом-палатином насчет всего по-дружески: он признает наши права, мы рассуждаем об них только между собою; и Европа увидит, что мы не переступаем границу своих прав».

В феврале Кауниц сообщил Голицыну разные бумаги, которыми обменялись дворы венский и берлинский по поводу баварского наследства. При этом Кауниц спросил, прусский посланник барон Ридезель сделал ли Голицыну такое же сообщение; и когда тот отвечал, что нет (это была правда), то Кауниц начал говорить: «Наш двор хочет показать вашему неограниченное доверие. Я не сомневаюсь, что ваш двор увидит из поступков нашего решительное желание не нарушать ничьих прав; но мы точно так же не уступим пред угрожающими демонстрациями соседа, который завистливым взором следит за малейшим

движением австрийского дома. Наш двор старался, как только мог, убедить прусского короля в своем праве на часть баварского наследства, которая нами и взята, и мы будем спокойно ожидать, произведут ли наши доказательства благоприятное впечатление на его ум; впрочем, приготовления и движения прусских войск заставили и нас обратиться к необходимым предосторожностям, хотя император и императрица ничего так не желают, как сохранения мира с королем, если только не нужно будет покупать этот мир в ущерб очевидным интересам и правам монархии». Когда Голицын склонил речь на Турцию, то Кауниц стал его уверять, что его двор не окажет России добрых услуг только наполовину, но употребит всевозможные усилия.

В начале апреля отношение петербургского двора к баварскому вопросу, склонность его на сторону Пруссии заставили Кауница переменить тон относительно дел турецких. Он начал употреблять тот лаконизм, который, по словам Голицына, характеризует несоответствие мыслей выражениям и показывает, что сердце не руководит более словами. «Будьте уверены, – сказал Кауниц, – что мы будем очень рады оказать услугу русской императрице и сообразоваться с ее желаниями, поскольку обстоятельства это позволяют». Голицын писал Панину, что он счел благоразумным удовольствоваться этим.

После объявления войны со стороны Пруссии 1 июля вечером кн. Голицыну доложили, что барон Тугут желает иметь с ним тайное свидание. Посол был изумлен со стороны неожиданного гостя следующим предложением: «Императрица-королева, не будучи в состоянии примириться с мыслью об ужасах войны, отважилась на последнюю попытку к примирению с прусским королем; вследствие этого я получил приказание ее в-ства нынче же ночью отправиться в главную прусскую квартиру и предложить ему соглашение; но для большего прикрытия этого дела императрица приказала мне просить у вас паспорта на имя кого-нибудь из русских чиновников и письма к королю». Кн. Голицын отвечал, что с радостью исполнит желание императрицы, и тут же написал письмо к Фридриху II и паспорт Тугуту на имя Росдорфа, советника русского посольства.

Когда посольство Тугута не повело ни к каким результатам, в половине августа Кауниц обратился к Голицыну с внушением, не согласится ли русская императрица по своему великодушию и дружбе, которую император и императрица-королева всегда старались заслужить, повлиять на прусского короля, сломить его упорство при настоящем столкновении интересов обоих дворов и уничтожить в самом начале пагубную войну, угрожающую Германии. Передавая об этом Панину, Голицын писал, что все образованные люди в Вене указывают на русскую императрицу как решительницу настоящей войны и спасительницу австрийской монархии.

10 октября кн. Голицын сообщил Кауницу представление своего двора, заключавшее приглашение императрице-королеве прекратить *несправедливую* войну, которой никто не останется равнодушным зрителем. Кауниц был поражен этим представлением, что выразилось в его наружности и в необыкновенном волнении духа. Он начал говорить, что не понимает, каким образом последние, столь умеренные поступки его двора могли подвергнуться такой участи. «Я бы, – продолжал канцлер, – ничего не возразил, если б русская императрица громко объявила себя в пользу прусского короля, своего союзника, в том случае, когда бы австрийский дом объявил ему войну; но в то время, когда императрица-королева

не перестает искать примирения, когда она добровольно лишает себя всех приобретенных выгод, когда она конфиденциально сообщает русской императрице о своем нетерпении видеть восстановление мира, – в это время никогда не могла она ожидать, что получит приговор своего унижения, подписанный тою самою государынею, которая постоянно отличалась справедливостью и великодушием, равно как и дружбой к их императорским величествам». – «Если бы вы, – отвечал Голицын, – хладнокровно пораздумали об обстоятельствах дела, то нашли бы его вполне естественным и последовательным. Мы разделяем общее мнение о неосновательности претензий венского двора на баварское наследство. Приняв во внимание это мнение и наши союзнические обязательства к королю прусскому, никак нельзя удивляться принятому нами решению; притом же наш двор предлагает добрые услуги для любовного улажения дела». – «Их и. в-ства, – возразил Кауниц, – обещали себе успех от вмешательства русской императрицы в настоящий спор и потому формально просили ее посредничества; но теперь они должны бояться совершенно противоположного: уверенность в такой сильной помощи, как помощь России, непременно увеличит претензии прусского короля, сделает его еще более непреклонным; таким образом, нашему двору остается выбирать между двумя крайностями: или совершенно пожертвовать своим достоинством, или отважиться на кровопролитную и, быть может, всеобщую войну». – «По моему мнению, – сказал Голицын, – достоинство двора не потерпит, если он откажется от несправедливых требований; императрица-королева приобрела бы бесконечную славу, если б даже отказалась от неоспоримых прав для предотвращения кровопролития». – «Я вас понимаю, князь, – отвечал Кауниц, – но вы меня не понимаете: мы согласны отдать Баварию и заключить мир, но только бы к нам не приступали с ножом к горлу и чтоб не старались с сердечною радостью усиливать государя, который рано или поздно воспользуется увеличением своих сил ко вреду вашей собственной империи». – «Я уверен, – сказал на это Голицын, – что мой двор не требует от вашего ничего такого, что бы могло повредить ему в глазах Европы; а с другой стороны, я предполагаю в прусском короле столько проницательности и осторожности, что он не захочет воспользоваться помощью моего двора для истребования от их и. в-ств мирных условий, унижительных и неудобоприемлемых». – «События это покажут, – сказал Кауниц, – предполагаю, что ваш двор примет наше предложение посредничества, насчет чего нетеще ответа из Петербурга». Кн. Голицын попросил его надеяться доброго успеха от этого предложения, и разговор кончился.

От 29 апреля кн. Борятинский писал о приказаниях, отправленных французским правительством к барону Бретейлю в Вену: Бретейль должен был внушить австрийскому министерству, что поступки и предложения турецкого короля разумны и справедливы; его христианальное величество искренно желает, чтоб император и императрица-королева уладили дело любовно, ибо война может быть бедственна и нельзя отвечать, чтоб она не произвела перемены и в настоящей политической системе. Борятинский писал, что королева уже несколько раз заговаривала Людвигу XVI о посылке вспомогательных войск венскому двору, что граф Мерси ведет интригу и пользуется особенно случаем беременности Марии-Антуанетты: придворные медики толкуют, как нужно, чтоб королева была теперь спокойна и весела, а больше всего, чтоб ей не противоречили и не

препятствовали в ее желаниях. Наконец, королева сама объяснилась с министрами, жаловалась им, что они не хотят помочь Австрии по поводу баварских дел; министры отвечали, что если бы она не была их королевою, то давно послано было бы 60000 человек на Рейн против австрийцев. Борятинский писал также: «Император в здешней публике теперь весьма нелюбим, и генералы все желают ему неудачи в сей войне; напротив же того, прусского короля боготворят и союза с ним все единогласно желают».

22 сентября пошли из Петербурга предложения французскому двору принять с Россиею совместно участие в мирном улажении дел по баварскому наследству. Когда 20 октября кн. Борятинский объявил об этом Верженю, тот отвечал: «Я уверен, что король, мой государь, примет с величайшим удовольствием такую дружескую откровенность ее и. в-ства, тем более что сегодня минула неделя, как отправлен курьер в Петербург с подобными предложениями короля императрице». Вержень заметил только, что репрезентация петербургского двора венскому написана резко; то же заметил и король, изъявляя, впрочем, свое величайшее удовольствие вследствие предложения русского двора. Кн. Борятинский писал Панину: «Я уповаю совершенно, что здешнее министерство будет искренно стараться о примирении их дома, ибо война с Англиею, американские дела, расстроенные финансы и худое состояние сухопутных войск довольно на занятие всей их атенции».

Дело стало теперь за планом примирения, который должны были выработать посредствующие державы; Россия предлагала составление его Франции, а Франция России.

19 октября 1778 года императрица подписала следующий рескрипт кн. Репнину: «Из публичных бумаг и актов известно, какие следствия произвело донныне открывшееся по смерти курфирста Максимилиана баварское наследство. Австрийский дом, основываясь на правостях, глубоким забвением и сущою прескрипциею покровенных, присвоил себе и захватил знатную часть оногo наследства; а курфирстпфальцкий, коему по точной силе и словам вестфальского мира единым наследником всех баварских земель быть надлежало, устрасясь приставленного ему ножа, предпочел лучше быть сонаследником австрийской хищности, нежели подвергнуть себя исполнению тех насильственных мер, кои со стороны венского двора действительно заготовлены были, не одумавшись и не рассудя, что оные не могли, однако ж, в самом своем исполнении быть для его чести и интересов поноснее и предосудительнее договоров заключенной им в Вене конвенции. Сия конвенция и непосредственно за нею последовавшее обложение австрийскими войсками знатной и лучшей части баварских земель учинились скоро и естественно сигналами тревоги и беспокойства всего корпуса империи германской, и особливо тех княжеских домов, кои сами по себе одним или другим образом интересованы были в наследстве баварском. Обиженные княжеские дома прибегли одновременно почти и к нам, и к королю прусскому с просьбою о защищении и предстательстве пользу их у венского двора. Его прусское величество не токмо не отрекся подать им руку помощи, но паче сам собою, как член империи, непосредственно интересованный в сохранении целости ее конституции, поступил на учинение сильнейших представлений австрийскому дому вопреки его начинанию. Мы с своей стороны, не входя в юристическое разбирательство ни прав австрийского дома, ниже оспариваний

прусского двора, довольствовались только обеим сторонам объявить, колико желаем, дабы восставший между ими вопрос дружелюбным соглашением разрешен быть мог без нарушения общего покоя и чтобы для того разные из наследства баварского родившиеся требования по справедливости разобраны и удовлетворены были. Доколе продолжалась известная берлинская негоциация, следовательно же, и надежда полюбовной развязки, до тех пор не переставали мы с своей стороны способствовать по возможности нашими советами и представлениями сближению обоих негоцирующих дворов для того, чтоб в случае неудачи не найтись нам самим в неприятной необходимости взять в их войне действительное участие по уважениям собственной империи нашей главного интереса, когда России не меньше всякой другой европейской державы нужно, дабы посреди Германии ненарушимо сохранялось и разделялось навсегда между дворами венским и берлинским настоящее равновесие сил, важности и инфлюенции их».

«С прискорбием увидели мы посему, что в прошлом июле месяце начались в Силезии, Богемии и Саксонии действительные неприятельства. Нельзя не отдать королю прусскому справедливости, что он пред поднятием оружия истощал втуне все средства умеренности и миролюбия, и что не он, а хищность и упрямство венского двора причинствовали войну. Правда, министр австрийский князь Кауниц, коего честолюбие есть всему злу виною, старался дать вещам другой вид, воспользовавшись хитро человеколюбивыми расположениями императрицы-королевы и склоняя ее открыть под звуком оружия новую негоциацию с предвзятым намерением тщетность и неудачу ее поставить на счет его прусского величества; но сия интрига его, сколь она, впрочем, ни тонка, нашлась, однако ж, недостаточною к преобразованию вещей и к поселению в беспристрастной публике других мыслей о истинном виновнике народных бедствий, потому что учиненные чрез г. Тугута предложения признаны оною весьма неспособными изъять из среды камней преткновения, или заключая в себе пустой только блеск, или же мало разнствуя от того пункта, на котором прежде разорвалась негоциация графа Кобенцеля. Таким образом, не удивительно, что король прусский не дал себя уловить мнимую бескорыстливостью австрийского долга в уничтожении его конвенции с курфюрстом пфальцским, следовательно же, и в испражнении им захваченной части баварских земель, когда ценою его уступки поставлено было, с другой стороны, жертвование неоспоримой бранденбургского дома собственности в Франконии, о которой прежде случая вакансии всеми принцами того дома заключен был полюбовный фамильный пакт и которая вследствие того от нас самих его прусскому величеству в союзном нашем трактате неоднократно уже гарантирована была, тем более что представлением свободы отыскивать после каждому судом свои правости по баварскому наследству обнажил венский двор в то же время коварный умысел явиться вновь при первом удобном случае с своими недельными притязаниями и одержать тогда в суде, где бы император сам был и истец и судья, все то, за что ныне должно ему понести жестокою и опасною войну».

«Сею картиною хотели мы вам показать, что дело короля прусского почитаем правым, ибо войну начал он единственно в охранение германской конституции, а как тут с интересами его величества встречается и собственный империи нашей выше сего образованный (означенный) интерес, то по сим двум началам, по

рекламации нашего покровительства и защиты от обиженных княжеских домов и по уважениям счастливо пребывающей между нами и его прусским величеством союзнической дружбы, которую он нам с своей стороны деятельно уже доказал, не можем и не хотим мы обойтись без подания и ему действительной от нас помощи в таком случае, где вся ненависть кровопролития не на него, а на венский двор упадать долженствует, дабы общими силами скорее принудить сей гордостью и честолюбием надменный двор к возвращению похищенной им части баварских земель законному наследнику и к справедливому в прочем удовлетворению за насильственный его поступок, коим общий мир толь нагло потрясен и нарушен. Одновременно с сею резолюциею не оставили мы помыслить как о способах предварить оную в исполнении чрез отвращение самой побудительной причины, так и о мерах прямого исполнения ее тогда, когда б уже те способы не произвели желаемого плода. В первом виде препоручили мы нашему министру кн. Голицыну учинить в Вене дружеское, но тем не меньше сильное на письме представление. Приглашая императрицу-королеву внять гласу собственного ее человеколюбия и прекратить несправедливую войну, не скрыли мы тут от проницания ее, что иначе не можем остаться равнодушными зрителями оной по тем самым политическим правилам, которые пред сим употребил венский двор противу нас в течение нашей войны с Портою Оттоманскою; а дабы такому представлению придать более лица и доказать австрийскому дому, что мнение наше о его неправости есть мнение общее, признали мы за нужно отозваться ко дворам версальскому, лондонскому, датскому и шведскому, также и к имперскому в Регенсбурге сейму с требованием, дабы оные учинили и с своей стороны таковые же внушения и представления, и особливо Франция в качестве ручательницы вестфальских трактатов, следовательно же, и баварского наследства в пользу пфальцской линии».

«Если Франция и не согласится на сообразование отзывов своих нашему представлению, так по крайней мере оказанною ей от нас откровенностью будет она обязана изъявить во оборот нам и всей публике истинные свои о войне мнения, коих познание, с другой стороны, нужно для развязания рук королю аглинскому в рассуждении германских его областей, ибо, доколе она не отречется формальным образом от употребления в пользу австрийского дома гарантии своей, до тех пор нельзя королю-курфирсту взять деятельную сторону дворов берлинского и дрезденского, дабы иначе не вовлечь неприятеля в те области. В равном сему положении находится много других княжеских домов, кои с нетерпеливостью ожидают решения Франции, чтоб дать свободное течение своим склонностям противу австрийского насильства. Мы будем, таким образом, иметь пред всею Германиею честь сей нужной развязки, а может быть, и соединения по ней в одну систему разных принцев, из чего далее может для России произрасти давно желаемое преимущество – учиниться ей на будущее время ручательницею германской конституции – качество, которому Франция обязана своею превосходною в делах инфлюенциею».

В Петербурге не имели большой надежды, чтоб русская декларация принята была в Вене с должным вниманием, и потому готовились к войне. Отношения к Турции без войны задерживали значительную часть войск, и потому хотели избрать такой план, по которому действующие в разных сторонах армии и корпуса могли служить друг другу взаимным подкреплением и обеспечивать свободу сообщения как между собою, так и с Россиею. Для этого велено было образовать в

окрестностях Полонного значительный корпус войск, а на зиму расположить войско близ Люблина, к стороне Галиции. Первый корпус назначался в помощь прусскому королю, а другой – для заготовления магазинов. Но так как венский двор предложил версальскому и петербургскому двору быть посредниками, что и было принято, то Репнин отправлялся к прусскому королю в двойном качестве: негоциатора и военачальника. Он должен был ехать в главную квартиру Фридриха II и вручить ему собственноручное письмо Екатерины, причем сделать на словах сильнейшие уверения в ее дружбе и желании доказать ему эту дружбу на деле, даже не в силу обязательств союзных, но в соответствии той верности, с какою он принимал до сих пор к сердцу русские дела и интересы. Репнин должен был объявить королю, что императрица, приняв австрийское приглашение к посредничеству, легко усматривает, что вся цель Кауница состоит в отвлечении общего внимания от первого вопроса, который произвел войну, в приведении дел в большую неясность, в приобретении для двора своего в публике характера умеренности и в обращении всей ненависти за кровопролитие на одного короля прусского. Следовательно, честь, слава и достоинство этого государя требуют от него обнажать снова перед светом это острое намерение князя Кауница и сохранить за собою до конца во всей чистоте характер оберегателя и мстителя германской конституции и поручаемых прав своих сочленов, держась твердо за первый (баварский) вопрос, избегая возбуждать и малейшее подозрение, будто в настоящей войне баварское наследство служит только предлогом, а в основании лежит всегдашнее соперничество Пруссии с австрийским домом. Репнин должен был объявить королю, что все извороты кн. Кауница в малом искании мира надлежит относить к *искреннему, но слабому* желанию императрицы-королевы; наружно угождая этому желанию, Кауниц старается в то же время на самом деле содействовать страсти императора к войне и, таким образом, на обе стороны утверждать свой личный кредит. Поэтому императрица, мало ожидая плода от своего и французского посредничества, решила на случай продолжения войны подать прусскому королю скорую и действительную помощь корпусом войск, которым Репнин будет предводительствовать. Россия помогает Пруссии не вследствие союзного договора, потому что она ведет хотя безгласную, но тяжелую по пространству военного театра борьбу с турками, что и освобождает ее по договору от падания помощи, и потому императрица требует, чтобы сверх пропитания вспомогательному корпусу прусский король платил определенные в договоре для турецкой войны субсидные деньги по 400000 рублей в год до тех пор, пока русский вспомогательный корпус будет употребляем в его пользу и пока *чуждое* положение России относительно турок не кончится новым решительным договором.

Ночью с 6 на 7 декабря Репнин приехал в Бреславль, где находился тогда Фридрих II, который принял его на другой день после обеда. Репнин нашел короля сидящим, руки и ноги его были обернуты вследствие подагрического припадка. Не дав договорить Репнину короткого комплимента, Фридрих посадил его возле себя и начал говорить о своей благодарности к императрице за такие важные доказательства ее дружбы. «Зная ее хлопоты с турками, – продолжал король, – я не осмеливался просить ее о помощи, по своему образу мыслей имея правилом быть всегда полезным союзнику, а не в тягость ему. Настоящий поступок ее и в-ства тем более возбуждает мою благодарность, чем менее я мог его ожидать».

Потом Фридрих высказал свое искреннее желание помириться, хотя бы и с уступкою венскому двору некоторой части Баварии, только не такой большой, как он требует, и с исключением рейхенгальских соляных варниц. Что же касается предложения взаимно отступить – австрийцам от Баварии, а Пруссии от маркграфств франконских, то он никак не может его принять и еще менее передать на решение имперских штатов, не имеющих на то никакого права, и притом такая передача была бы противна его достоинству; даже не может этого пункта оставить в молчании при будущем примирении, чтоб не было из-за этого другой войны. Король просил Репнина немедленно приступить к условиям, на которых должно произойти соединение русских войск с прусскими, ибо опасается, что венский двор искреннего желания к миру не имеет, а намерен только, как прошлую кампанию, время выиграть и протянуть дело, чтоб как можно больше изнурить Пруссию.

В другое свидание с Репниным Фридрих начал разговор уверениями в своем желании мира. «Мне кажется, – говорил король, – гр. Панин желает, чтоб мы были очень осторожны и скупы в своих мирных предложениях венскому двору; этого и я бы желал, но, не имея в войне никакой значительной поверхности над венцами, нельзя им предписывать законы».

«Гр. Панин, – отвечал Репнин, – усердствуя интересам в. в-ства и всех обиженных домов, желает, чтоб они по возможности получили справедливость при будущем примирении и чтоб самовластие венского двора не усилилось в германской империи. Вообще же наш двор желает мира и в. в-ству его советует». Потом король начал говорить о Польше: «Если есть злоупотребления по моим таможням, то я их прекращу». Но Репнин дал знать своему двору, что по этой части он мало надежды имеет. Фридрих кончил разговор тем, что не может платить России субсидий, ибо уже издержал больше 17 миллионов. «Надеюсь на дружбу ее в-ства, что она на этом настаивать не будет, – говорил король, – для нее это пустяки, а для меня очень тяжело».

Репнин имел возможность убедиться, что старый король искренно говорил о своем желании мира; прусский министр Герцберг жаловался ему в секретном разговоре на поспешность Фридриха, с какою он соглашается на предлагаемые ему мирные условия, насилу он, Герцберг, может его остановить. Франция прислала свой план примирения, по которому Австрия должна была получить некоторую часть Баварии; Герцберг составил другой план, по которому Австрия получила часть Верхнего Палатаната. Но Репнин доносил, что Фридрих хотя и предпочитает последний план, однако примет и французский, таким образом, дело ближе к миру, чем к войне.

Франция предложила местом мирных переговоров Вену, но Россия на это не согласилась и предложила Аугсбург, или Нюрнберг, или какое-нибудь другое нейтральное место в Германии по выбору Франции. Россия обещала также венскому двору уговорить прусского короля заключить перемирие. Репнин дал знать об этом прусским министрам, причем сделал внушение, что необходимо включить в будущее примирение всю германскую империю, которая чрез это получит гарантию государств-посредников и, следовательно, будет ограждена от непомерного честолюбия и деспотизма венского двора, вредных для всей Германии, но особенно для берлинского двора, обязанного прежде других бороться против австрийских замыслов. Репнин внушал, что эта

предосторожность необходима ввиду характера императора Иосифа, который сдерживается единственно миролюбием императрицы-королевы, но последней не долго жить. На другой же день министры Финкенштейн и Герцберг принесли Репнину ответ королевский: по мнению Фридриха, дело сделалось бы скорее посредством переписки между министрами воюющих держав, чем на конгрессе, а для окончательного решения можно выбрать какое-нибудь нейтральное место или объявить для этого нейтральным какой-нибудь город поближе к воюющим державам; впрочем, король будет согласен на распоряжения держав-посредниц. Что касается перемирия, то король считает его не только бесполезным, но и вредным для своих интересов. Если предположить, что венский двор питает действительно искреннее желание заключить мир, то переговоры могут окончиться в зимние месяцы, естественно прекращающие военные действия; перемирие же, которое продлится за этот срок, отнимет у короля драгоценное время и поставит его в положение прошлого года, когда его проводили пять месяцев сряду бесплодными переговорами. Наконец, что касается приступления германской империи к будущему миру и гарантии, то король вполне разделяет виды русского двора.

От 6 января 1778 года Стахив дал знать в Петербург, что в генеральном совете Порты, держанном 23 декабря прошлого года, противная России партия успела вынудить согласие улемов на подание помощи татарам, восставшим против Шагин-Гирея, а у муфтия – фетфу. Корабли уже отправились в Черное море, в народе слух, что Селим-Гирей уже переехал из Очакова в Крым вместе с Магмет-Гиреем и сыновьями хана Керим-Гирея; но муфтий перед одним из приятелей Стахива отзывался, что крымцы требуют себе в ханы Девлет-Гирея; к марту велено собрать сухопутное войско. Противная партия своими клеветами успела возбудить такую неутолимую к нему ненависть не только в народе, но и в самом султানে, что и благонамеренный Мурат-молла не смеет больше говорить в его пользу; русскому переводчику давали знать, что полюбившему окончанию всех распрей препятствует единственно особа Шагин-Гирея, и советовали согласиться на его смену, подавая надежду снова восстановить его на ханство со временем, а теперь необходимо утишить страшное на него озлобление татар. В это время, когда Стахив потерял уже всякую надежду на мирное решение вопроса, австрийский поверенный в делах Тассара передал рейс-эфенди мемориал своего двора с отсоветованиями начинать войну. Рейс-эфенди был сильно поражен такою неожиданностью, три раза прочел мемориал и не сказал ни слова; драгоман Порты также молчал, только гладил свою бороду; французский поверенный в делах сделал Порте подобные же внушения. Турецкое министерство хвалилось, что за пять дней до прибытия последней турецкой почты оно уже получило от волошского господара известие о кончине баварского курфирста, вследствие чего венский двор немедленно отправил в Баварию 25000 войска, а в Константинополь – миролюбивый мемориал. Несмотря на это, Порта оставалась при прежних своих решениях; рейс-эфенди сказал русскому переводчику, что признать ханом Шагин-Гирея невозможно: это все равно что велеть одному человеку вылить целый океан в чашку и выпить его; и хотя вслед за тем Стахив получил от Мурат-моллы известие, что Селим-Гирей потерпел в Крыму неудачу и собирается оттуда бежать, но и это не произвело желанной перемены: французский поверенный в делах Леба, приехавши к Стахиву, намекал, что, по его приметам,

Порта скорее решится на все крайности, чем согласится на признание Шагин-Гирея. Турецкое министерство явно хвалилось, что русский двор наконец принужден будет отступить от него, причем утверждало свое мнение на обещании, данном дружескими дворами. Мурат-молла был сослан, после чего в Совете не осталось ни одного человека, который бы решился быть предводителем миролюбивой партии; противная же партия поддерживалась известиями о жестокостях Шагин-Гирея относительно преданных Порте татар, из которых одни были умерщвлены, а другие отосланы в Россию.

Фельдмаршал Румянцев дал знать Стахиеву, что Селим-Гирей, несмотря на все препятствия, явился к Крыму и бунтующая партия признала его ханом. «Турки, – писал Румянцев, – отстроясь от пламени, непосредственно их пожирающего, умели составить из суеверия искру неугасимого огня и положить ее между нами и татарами; они станут поддувать ее всевозможными способами на чувствительное наше изнурение». Императрице Румянцев писал: «В. и. в-ство лучше знать изволите положение Черного моря, следовательно, и то, что все берега его обложены силами Порты, которая, имея в нем большой флот и много транспортных судов, имеет в войне все выгоды. А напротив, каким затруднением подвержено сообщение и взаимное пособие войскам в. и. в-ства в той стороне и при крайнем бессилии на Черном море нашего флота как трудно соразмерить их на будущее лето в Крыму, чтоб, с одной стороны, не подвергнуть их гибели, а с другой – не ослабить сил на стороне Буга и Днестра, не обнажить Дон и нововозводимые линии; решительное определение о Крыме становится тем нужнее, чем ближе наступает удобное время к мореплаванью. Турки, невзирая и на неблагоприятное время, отправляют уже свои войска на ободрение бунтовщиков, и два первые появившиеся морские капитаны одним отзывом сверх всякого моего чаяния приостановили поиск кн. Прозоровского на Селим-Гирея-хана, а поиск этот должен был бы окончить тамошний мятеж. Я, видя последнюю минуту, могущую нам способствовать, решил предписать кн. Прозоровскому, чтоб он употребил все свои старания к приведению всех неблагодарных и зломыслящих татар, особенно жителей гор, в нищету и такое состояние, которое не позволяло бы им думать более о вражде с нами, а турки потеряли бы охоту и удобство на общее с ними против нас действие. Но по мнению кн. Прозоровского, хан Шагин-Гирей не может остаться в Крыму без помощи наших войск и на самое короткое время, а так как пребывание наших войск в Крыму не согласно было бы с мирным договором, то ожидаю высочайшего определения».

Прозоровский писал Румянцеву: «Уже и горы от Кафы до Алушты и Енисала совсем очищены. Хотя кажется, татары довольно притеснены и все почти в один угол загнаны, однако до сих пор нельзя никак отнять владычества у злонамеренных начальников возмущения, которые, поддерживаясь приездом Селим-Гирея, не приходят никак в чувство, разоряют сами свою землю истреблением скота, сожжением деревень, собранием всех родов из гор и степи в угол за Бакчисарай. Что касается благонамеренных, то не могу уверить, чтоб такие были между ними; даже и находящиеся при Шагин-Гирее чиновники подвержены сомнению. Народ, без сомнения, покорился бы хану Шагин-Гирею, ибо недоволен Селим-Гиреем, приехавшим без помощи, но удерживается начальниками, которые толкуют, что все будут казнены, хотя бы и повинную принесли».

В феврале мятежники, окруженные со всех сторон русскими войсками, прислали к хану Шагин-Гирею и к кн. Прозоровскому двоих депутатов: одного – от мурз, а другого – от черни, принося повинную; а между тем главные начальники мятежа, тайно от черни посадя еще прежде свои семейства на турецкие транспортные и купеческие суда, сами вслед за Селим-Гиреем и султанами спешили на военные фрегаты и начали бросаться в высланные к ним лодки. Народ, приметя это бегство, стал их удерживать, ругая как виновников всего зла и общего разорения. Началась драка: татары стреляли по мурзам, садившимся в лодки, те вместе с находившимися на лодках турками отвечали также выстрелами; наконец, турки сделали два пушечных выстрела с фрегатов и этим разогнали толпу. Присланные к Прозоровскому и хану депутаты согласились, что татары отдадут русскому войску все оружие и разойдутся с семействами по деревням. Оказалось, что мятежники были приведены в ужасное состояние; кроме того, что от русского войска в разных стычках погибло их до 12000 человек, множество стариков, женщин и детей погибло от стужи и голоду; сюда присоединилось междоусобие: нужда заставила друг друга грабить и убивать из-за куска хлеба. «Время, – доносил Прозоровский, – помогло мне привести их в совершенное изнурение и *полунебытие* без потери людей и довольного отягощения войск. Наказания сего тяжесть будет им долго чувствительна, и, за всю свою продерзость получа достойное возмездие, не помыслят они больше, а может, и никогда брать презрение к победоносным войскам и забудут навсегда то стремительное отчаяние, с которым единожды, при салгирском ретраншименте, бросаясь на войска, мною предводимые, тогда ж ощутили всю тяжесть наказания, потеряв убитыми до 1000 человек». Прозоровский оканчивал свое донесение словами, что Крымский полуостров приведен в совершенное спокойствие и повиновение хану Шагин-Гирею.

В начале апреля Стахийев дал знать Порте, что по полученным им из Крыма от кн. Прозоровского и резидента Константинова письмам, все мятежники принесли искреннее раскаяние и повинную законному хану Шагин-Гирею, спокойно возвратились в свое жилище, и на полуострове царствует тишина, и все турецкие фрегаты оттуда уехали. Рейс-эфенди ответил переводчику, принесшему это объявление: «Думать надобно, что посланник или почитает министров Порты дураками, или насмехаться хочет, объявляя такие непристойности. Говорит Порте, что в Крыму все спокойно и тихо после того, как присланные туда 40000 человек русского войска бедный и бессильный народ частью побили, частью в ссылку сослали и обратили в неволю столько невинных мусульман с их семьями, – может почитаться только насмешкою; да и хвалиться тем не следует, потому что немного надобно для угнетения такого бедного народа; и фрегаты наши благополучно стоят у крымского берега, где и Селим-Гирей-хан находится; а с Шагин-Гиреем Порта не имеет и не хочет иметь никакого сношения». Несмотря, однако, на этот ответ, Стахийев давал знать, что у Порты положено не доводить дело до разрыва с Россиею и признать Шагин-Гирея ханом. На 25 апреля на большом совете у муфтия Порты определила весь свой флот под начальством капитан-паши послать в Крым для высаживания и подкрепления отправляемого из Синопа войска. Если войску удастся высадиться без сопротивления с русской стороны, то оно должно объявить, что пришло для приведения себя в равенство с русскими, и притом стараться решить тамошние дела полюбовно; если же с русской стороны будет

сделано нападение, то, объявляя, что Россия нарушила мир, начать и продолжать военные действия без всякой пощады и уважения. Стахийев объяснял такое решение тем, что неудовольствия между дворами французским и английским, особенно же между венским и берлинским ослепляют Порту надеждою, что и Россия будет вовлечена в европейскую войну, турки надеялись также и на новые беспокойства в Польше. Стахийев начал уже приготовляться к отъезду. К Румянцеву визирь отправил письмо, в котором говорил, что Порты отправляет в Крым флот под начальством капитан-паши и сухопутное войско под начальством Хаджи-Али-паши, что оба полководца снабжены полномочием утвердить постановленный между обеими империями мир, если только Россия выведет свои войска из Крыма и не будет ни под каким предлогом неволить татар; визирь советовал воспользоваться подаваемым от Порты способом и уполномочить кн. Прозоровского начать переговоры с означенными турецкими полководцами, в противном случае вина будет на стороне русского двора. Главные предметы переговоров означены следующие: 1) подать Порте и татарам способ для утверждения их доверия к русскому двору; 2) кроме торговых судов, никакие военные не должны плавать по Черному морю, и так как известно, что несколько русских военных кораблей крейсируют около Кафы, то визирь советовал, чтобы поскорее приказано было им удалиться.

В начале июня резидент Константинов писал Румянцеву: «Хан, следуя моим от имени в. с-ства предложениям и советам Александра Васильевича (Суворова) принимает меры: всех значительных лиц, подверженных сомнению, прибирает к рукам и обличенных предаёт строгости суда».

27 июня Стахийев подал Порте мемориал о своем отъезде из Турции со всеми в ней находящимися русскими подданными. После долгого молчания ему отвечали, что его требование паспортов для выезда заключает в себе объявление войны, и в случае если бы такой отъезд ему был позволен, то, без сомнения, взведена будет клевета на Порту, что она, выслав министра, объявила войну. Поэтому изящнейшие улемы и министры блистательной империи не могут никоим образом на то согласиться и, пока Российская империя мира не нарушит начатием неприятельских действий, посланник будет почитаем наравне со всеми другими министрами наидружественнейших держав; а если случится иначе и Российская империя, нарушив мир, явно прервет течение дружбы, то блистательная Порты и тогда, несомненно, поступит с посланником человеколюбиво, как требуют ее достоинство и великодушие.

Но от русского двора дано было знать, что он не допустит переговоров в Крыму; капитан-паша прислал известие, что крымские берега вооружены и ему высадить войско мирным образом не позволят; так что ему делать? Румянцев еще Прозоровскому предписал: «Вступление внутрь Крыма туркам всеми средствами возбранять и, следовательно, всякую выгрузку военных припасов и людей с кораблей на берег не допускать; важность наших интересов состоит не в отогнании турок от крымских берегов (чего по обширности и сделать нельзя), но в отнятии у них способов ко вступлению внутрь Крыма, и для того все места удобные для высадки вы должны заградить». Теперь, имея в Крыму Суворова, Румянцев считал себя вправе писать императрице: «Не предупенют турки в своих замыслах, на опровержение коих предвзяты надлежащие меры, и путь им к вступлению в Крым совсем прегражден занятием и укреплением проходов».

Вследствие этого произошла обычная в августе перемена великого визиря. Капитан-паша возвратился, потеряв семь судов и более семи тысяч человек войска, что привело народ в страшное раздражение. Тогда начали думать, как бы выйти из затруднительного положения с соблюдением по возможности приличий, и обратились к французскому послу С. При, который перед тем возвратился в Константинополь. Посол отвечал, что он видит гораздо более склонности к миру у российского двора, нежели у Порты: если Турция искренно желает сохранения мира, то должна, предав забвению все прошедшее, постараться кончить дело полюбовно, признать прежде всего Шагин-Гирея, возвратить из заточения его посланцев, принять все русские требования, пропустить на Черное море задержанные русские суда. Рейс-эфенди давал свою бороду в заклад, что такое соглашение невозможно, а если и сделается, то не долее полгода будет продолжаться. При дальнейших переговорах с французским послом Порты выставила требования, чтоб земля, лежащая между Днестром и Бугом, отобрана была у татар и присоединена к Очаковскому уезду; чтоб между русскими купеческими кораблями, плавающими по Черному морю, не было больших судов, способных к военной службе; чтоб величина кораблей была точно определена; чтоб Россия не требовала возвращения морейским жителям конфискованных у них земель, ибо они уже отданы мечетям (сделаны вакуфами); чтоб Россия отказалась от постройки своей церкви в Константинополе, ибо это противно религиозному и государственному закону, чернь взволнуется и не допустит строения. Пусть церковь будет построена в доме посланника.

От 25 июля Румянцев писал Суворову: «Христиан, пожелавших на переселение в Азовскую губернию, отправляйте сходственно предписанию князя Григ. Алекс. Потемкина; а правительству истолковано быть может, что сие переселение делается от страха мщения, коим угрожают им турки своим на Крым нападением. Но что до взятых в плен при последнем возмущении обоего пола татар, то благопристойность требует, чтоб все желающие и сильно крещенные возвращены были». Но 26 июля Суворов должен был написать Румянцеву: «В опасности жизни и имущества здешние христиане частью еще поныне. Все против того должны осторожности взяты и войскам в том строгие по приличеству приказы даны. Татары действуют грозою, подушениями, обещаниями и обыкновенным их вероломным лукавством. Светлейший хан, изнуряемый гневливостью, выехал из Бакчисарая и расположился лагерем в трех верстах от города. Г. резидента во все сие время к себе он не допускал. Денно и ночью к нему непрестанно всеместные его чиновники съезжались. Правительство представляло мне о принесении их всенижайшей просьбы в С.-Петербург в отмене сего вывода. Воспретить им того невозможно, а в обождании выводом 25 дней для очевидных интриг отказано по изготовлению уже самими собою к выходу многих христиан». Хан сильно рассердился на Суворова за то, что тот не отвечал ему на его представления о выводе христиан и употребил какие-то угрозы. Хан писал ему: «Сказанными угрозами вашими я весьма доволен и образован потому, что никогда еще от русских магнатов такого поведения я не видывал и не ожидал. По внутренней моей к вам, приятелю моему, доброй склонности откровенно объявляю, что хотя такого вашего поведения ничем и никогда я не заслужил, однако, почитая то вашею ко мне милостию, недостаток в моей за то благодарности извинить прошу».

Сам хан просил у Суворова *дружеского наставления*, как ему вести себя в тогдашних обстоятельствах; Суворов отвечал, что «лучше и наиболее всего в такое время присутствовать в своей столице, управляя народами, врученными от бога власти вашей, соблюдая их тишину и благоденствие, ибо чрез чуждения в светлости от дел народных заключат невежды между нами холодность, следовательно, и натурально станут искать случаев к разврату». На это хан написал: «Всем татарам ясно известно, что отчуждение мое от дел не по причине взаимной моей с вами остуды, но единственно во избежание взнесения на меня каким-либо образом противоборствия воли императорской и желаниям моих приятелей!» Суворов понял так, что хан в возможности этого взнесения подозревает его самого и отвечал: «Я не говорю о причинах, для коих вы отчуждаетесь от управления общественными делами, и не моя должность их испытывать, а предвоображая только малосмысленность простолудин, не без причины советовал и советую для благоденствия и тишины ваших подданных присутствовать в престольном своем городе; следовательно, нет тут ни малейшего повода к заключению, чтоб на случай неприятных от татар поползновений приписывать без правды оных вину в светлости. Такой подлый поступок несоответствен ни чину, ни сентименту моему. Я недоумеваю, какую и когда в светлость приметить изволили мою несправедливость, кого я когда оклеветал? Я знаю себя, и знаю твердо, что никто меня не докажет в таком презренном пороке. Итак, буде выражение употреблено не для того, чтоб безвинно меня обидеть и отразить усердные и полезные для вас советы, то прилежно прошу, внемля моей искренности, возвратиться к своему трону, где, сохраняя всю целостность области вашей, удобнее и в непредвидимых случаях охранить от всяких наветов особу и здоровье в светлости». Суворов дал знать Румянцеву, что Шагин-Гирей отправил к императрице двоих депутатов, как слышно, с возражением против вывода христиан. Последних к концу августа было выведено в Азовскую губернию 17575 душ обоого пола. Суворов доносил также, что между крымскими татарами все более и более обнаруживается желание принимать христианство. В горах до 20 семей крестилось от греческих священников и выселилось вместе с христианами так скрытно, что и последние не могли об этом узнать. Множество татар приходят к начальникам войск с просьбою о крещении, но на это им отвечают молчанием. Константинов писал Румянцеву: «Хан не только все дома, но и самого себя от нас всячески таит, показывая ежеминутно недоброжелательные виды; привязывается ко всякому слову, принимая самые искренние внушения в худую сторону; вербует тайно всякую сволочь под именем сейменов, раздает ружья и сабли, которые при истреблении отобранных у татар после мятежа оставил в своем серале; тогда он объявил кн. Прозоровскому чрез меня, что их не более двух сот, а теперь оказывается гораздо больше, да и все оружейники заняты починкою переданных им от хана сабель и ружей. Затруднения безмерные, и если б хан был в силах, то, понятно, не отрекся бы обнаружить всей злости в отношении к нам. Я никогда не ожидал от него такого памятозлобия; правда, что и дело (выселение христиан) для него оскорбительно; но такая долгая вражда и несклонность к исполнению монаршей воли отнимают надежду и на будущую приверженность его к высочайшим интересам».

Румянцев написал Суворову (5 августа): «В таких особенно обстоятельствах, какие теперь, вы не должны отнюдь не подавать и малейшей причины хану к

огорчению, но обходиться с ним ласково и почтительно, иметь к нему крайнее уважение для содержания его у татар в высокопочитании и потому стараться всячески успокоить его и правительство до времени, пока исчезнет возможность для турок получить помощь от татар. Соглашайте пользу, могущую быть от переселения христиан, с следствиями, какие могут от того произойти, особенно во время приближения турок к берегам крымским, чтоб не подать им больше повода к возмущению татар и к низвержению или совращению хана.

«Характер хана, – отвечал Румянцев, – вам должен быть лучше, чем другим, известен: он *собенность* свою всему предпочитает, он оставлял отечество, имение ближних для осуществления своих намерений; и сколько я могу о нем судить, то хотя он не учен, но умен и старается всегда по настоящим событиям проникать в будущее; притом же он и татарин, а потому вы, особенно в настоящих обстоятельствах, отнюдь не должны вести свои счета по наружному его поведению, но поступать по общим правилам своей должности и всячески стараться держать его и правительство на такой дороге, чтоб они отнюдь не могли иметь поползновения внимать лестным обещаниям турок».

Относительно вывода христиан Шагин-Гирей писал гр. Панину: «Не только в такой малости, как выход христианских моих подданных, но и в выводе всех татар и самого себя не постою; однако признаюсь, что удивительно начатие этого дела; для чего оно предпринято, мне совершенно неизвестно и чувствительно меня трогает. Я ручался, что это дело будет совершено пристойнейшим образом, и, несмотря на то, для его исполнения употреблено насильство. Прошу употребить ваше старание, чтоб те бедные подданные были оставлены по-прежнему в своих жилищах и тем крымскую область обрадовать, а меня от завистных и коварных языков освободить».

7 сентября Румянцев писал Шагин-Гирею: «Приведен я в удивление и сожаление, что ваша светлость так много беспокоитесь о преселении христиан и что оно могло возбудить в вас такую остуду к генерал-поручику Суворову и к резиденту Константинову, что вы удаляетесь от всякого с ними сношения. Совместно ли быть может, чтоб толь великая монархиня, которая дарует вольность, позволила когда-либо на отнятие оной? Но ее и. в-ство, снисходя на просьбу и добровольное желание христиан, угрожаемых непрестанно от самих татар впадением турков и конечным их разорением, по единоверию не могла отказать им убежища в своих пределах. В. светлость, сами судите, коль сия малость в рассуждении небольшого их числа неважна, а со стороны могущего оказаться от того малейшего ущерба можете ли сумнеться, чтоб оный не был вам награжден сугубо от всещедрой вашей благодетельницы; но как в. светлость между прочим упоминаете и о употребляемом насилии, то в отвращение сего сделал я весьма строжайшее запрещение. Впрочем, позвольте мне в дружеской откровенности подать вам искренний совет, чтоб вы особливо на сие время, когда устраивается и утверждается благосостояние ваше, оставили беспокоиться о таком деле, которое ни с которой стороны не может вам нанести и малейшего ущерба, а возобновили по-прежнему приятельское сношение с генералом Суворовым и возвратили г. Константинову вашу доверенность».

20 сентября Румянцев донес императрице, что турецкий флот явился у крымских берегов в немалом числе разнообразных судов и предъявил разные требования, но во всем дружеским образом получил отказ на основании моровой

язвы и вдруг отплыл в открытое море. При этом между татарами не примечено ни малейшего движения, и хан издал строжайшие запрещения собираться между собою и сноситься с турками. Но Константинов, продолжая жаловаться Румянцеву на интриги Шагин-Гирея, писал: «Почитая меня главным орудием в выводе христиан, хан взводил на меня разные клеветы, мечтая, что по удалении меня отсюда успеет в своих интригах; вооружил против меня членов правительства, которые по его наущению просили генерала Суворова об отрешении меня от дел. Эдичкульский Арслан-мурза пишет ко мне, будто на днях получил от меня письмо, в котором называю я их рабами ее в-ства и советую служить высочайшему двору наравне с русскими; я написал к мурзе, чтоб доставил мне письмо в оригинале или копии, и не верил таким выражениям, какие с нашей стороны никогда употребляемы не были, ибо мы их почитаем вольными и ни от кого не зависимыми, под высочайшим покровительством ее в-ства состоящими союзниками». Между тем к 18 сентября вывод христиан из Крыма был окончен; всего выведено 31098 душ; греческий митрополит, армянский архимандрит и католический патер выехали вслед за христианами; денег на этот вывод потрачено было до 130000 рублей. Румянцев неохотно верил донесениям Константинова и, посылая их к императрице, писал ей от 22 октября: «Вы лучше о хане судить изволите; а я осмеливаюсь сказать только мое примечание, что когда сей хан, который толь неисчетными вашими щедротами благодетельствован, принявший вкус в ваших обрядах (обычаях) и явно оные употребляющий, казавшийся всегда по делам благоразумным и особливо при делании турками десанта явивший свою непоколебимость, предпочтет известной своей пользе неизвестность, то разве преоборется его разум суеверием, ибо весьма удален я от того мнения, чтобы один вывод христиан мог воспричинствовать столь неожиданной его перемене, поелику оставленные ими места, если уже не заселены другими, подобными им пришельцами, то, однако ж, не могут оные быть впусе; и чего уже лучшего ожидать от другого в таком роде, который по вере, сходству нравов и натуральной склонности, конечно, будет с турками единоплемен». После этого Румянцев получил письмо от хана (от 11 октября): «Признаться должен, что как я в рассуждении всевысочайшего ее и. в-ства ко мне, всему крымскому и ногайскому татарскому народу монаршего милосердия в ханы взведен и вся область независимую мне подвластною сделана, то я без чувствительности на такую новость (вывод христиан), а народ без удивления смотреть не могли, ибо по всемилостивейше признанном мне самодержестве если б я предварен был, то б неотменно с лучшим порядком без огорчения и с меньшим иждивением сей вывод по моему искреннему усердию сходно с высочайшею волею воспоследовал. Я благонадежен, что в. с-ство по своему просвещению рассудить можете, сколько меня тронуло, что мне не подан способ в сем случае доказать готовность мою к исполнению монаршего соизволения в знак моей искренней благодарности за толь многие мне явленные высочайшие благодеяния и милости. В. с-ство всепочтеннейшим письмом меня уверить соизволили, что ее и. в-ства всевысочайшая воля гласит выводить одних только тех христиан, кои добровольно на то согласятся, о чем я почтенному господину генералу Суворову и г. резиденту сообщил, но они, и на сие невзирая, многих к тому угрозами принуждали, отзываясь, что они знают, что делают, почему я и не хотел в то более вмешаться». В то же время Румянцев получил от членов крымского правительства

жалобу на русских солдат, которые разоряют татар и называют их изменниками. Главнокомандующий немедленно отправил ордер Суворову, чтоб этого ни под каким видом более не было, «ибо по обстоятельствам должны мы им всячески менажировать, а тем больше удалять от них всякое озлобление и притеснение, потому они от некоторого времени поступают в точность наших предположений и при самом явлении на возмущение их страшного турецкого флота пребыли они тверды и непреклонны».

Вражда между ханом, Суворовым и Константиновым продолжалась; резидент доносил, что хан собирается бежать на Кубань и даже в Персию. Румянцев брал прямо сторону Шагин-Гирея. «Я ни хана, ни резидента лично не знаю, – писал он императрице (2 декабря), – а по собственному вашему о первом описанию и по его поведению должен он быть человек, татарам не свойственных, по делам же поставится в роде людей и весьма отличных. Не в защищение хана, но, судя по обстоятельствам, осмеливаюсь сказать мое мнение, что сама благопристойность не позволяла ему при выводе не только христиан желающих, но и невольников татарских из Крыма и при лишении его доходов по отданным от него российским купцам разных статей откупам, за провозом в Крым не только нужных для войск, но и всяких служащих на одни роскоши припасов и товаров без платежа пошлины и без всякого с ним соглашения оказывать себя равнодушным пред правительством и народом, но паче надлежало ему употребить всю свою предосторожность, чтоб вменившие один набор им нескольких из своих подданных за нарушение тамошних установлений не подвинули сим и скорее всех на поднятие противу его мятежа; а подозрение, наводимое на него, что он хотел удалиться на Кубань и даже в Персию, не открывает отнюдь никакой вопреки нам связи его с турками. Командующий и резидент не только не говорят, чтоб он в том был примечен, но свидетельствовали, что он при явлении турецкого флота (где имел бы всю удобность обнажить себя) пребыл в непоколебимости. Я не вижу тут иной причины к заключению резидента о колеблемости хана и о податливости к нам правительства и народа, как одно действие приватной остуды, ибо по толь многим опытам легкомыслия и непостоянства последних нельзя им в том отнюдь верить, а вероятнее то, что они, держась под пятою нашею и увидев хана в смутном положении и в остуде с командующим и резидентом, вздумали, может быть, употребить сей случай в свою пользу и умышленно притворяются нам податливыми, чтоб, низвергнув хана, удобнее поспешествовать совершению своего с турками плана».

По поводу вывода христиан в Петербург явилась депутация от всех крымских татар с следующими просьбами: чтоб выдан был указ никому в собственные их дела, владения и земли не вмешиваться; чтоб при случае отвода квартир и других распоряжений по русским войскам крымские жители не были утесняемы властью нынешних командиров; чтоб дозволено было крымскому обществу содержать в Петербурге резидента, также и при других державах, равно как у себя иметь их резидентов, чтоб известно было, какие дела от кого происходят, от крымцев или от командиров, чтоб первые имели возможность оправдаться; чтоб не было никому препятствия выходить к ним на поселение; чтоб никто не вмешивался в принадлежащих им людей и купленных невольников. Панин отвечал, чтоб татары успокоились: императрица никогда не захочет уничтожить собственное создание, пока сами татары не подадут справедливой к тому причины. Просьба о резидентах

немедленно будет исполнена, как только турецкие дела приведены будут к окончанию; нельзя разом двух Дел делать: пусть прежде минуется нужда надзоров и мер воинских, и тогда наступит досуг для мирных дел.

От 15 февраля, уведомляя императрицу о получении ее рескрипта от 29 ноября прошлого года по поводу гонения на православных, Штакельберг писал, что еще по получении первого ее рескрипта о том же предмете от 7 мая 1776 года он описал польскому правительству «самым чувствительным образом» все бедствия, которым подвержено в Польше греко-унитское духовенство, и домогался сильнейшим образом, чтоб свирепость гонителей была обуздана и жребий гонимых был облегчен; но и тогда, и теперь ему один ответ, что без комиссии, последним трактатом обещанной для разбора взаимных жалоб лиц обоих исповеданий, все предпринимаемые для их примирения труды и все ноты, какие бы он ни подавал, останутся всегда бесплодными; следовательно, заключил посол, и не остается другого средства вывести гонимых из их бедственного положения, как назначить упомянутую комиссию.

Опасения насчет разрыва с Турциею должны были заставить обратить особенное внимание на Польшу. Опять явилась мысль, что кроме отрицательной пользы, какую можно получить от Польши, когда она останется покойною во время новой турецкой войны, нет ли средств извлечь из нее и пользу положительную, привлекиши ее в союз и заставивши ее набрать войско, которое бы действовало вместе с русским, тем более что эта положительная польза была главным средством удержания Польши в покое. Панин написал Штакельбергу, чтоб он сообщил свои соображения по этому предмету. Посол отвечал (1 февраля), что мысль образования польского войска ему очень понравилась не по той пользе, какую оно может принести для русских военных действий, а потому, что даст возможность очистить страну от праздной толпы, готовой на возмущение при первом набате. Но правительственный польский организм не представляет ни малейшего удобства для заключения союзного и субсидного договора. Для этого понадобился бы бурный сейм, руководствовать которым было бы чрезвычайно затруднительно ввиду волнения умов, которое мы до сих пор сдерживали и направляли к нашей цели сильными средствами, как сеймы конфедерационные. В этих бурных обстоятельствах, когда поляки еще больны, надобно избегать столкновения мнений на сейме. Что касается войска, то под вспомогательным войском разумеется регулярное; но Россия по важным причинам не допустила, чтоб у Польши было его более, чем сколько нужно против гайдамаков; что касается финансов Польши, то они совершенно истощены. Надобно употребить огромные издержки, чтоб дать ей возможность образовать войско. Уже если употреблять издержки, не лучше ли России самой набрать войско в Польше; эта кавалерия не будет стоить дороже, чем русская легкая кавалерия, а между тем мы не взволнуем, не потрясем этой машины, еще слабой, а после войны мы можем употребить это войско для целей чисто гражданских. Не надобно заранее объявлять об этом наборе, не надобно делать его с помощью правительства; надобно прислать сюда Михальского и некоторых других способных для набора кавалерии офицеров, знающих Польшу, которые выберут прежде всего вождей и уговорятся с ними. В главные предводители этого польского войска Штакельберг предлагал князя Сулковского, почему-то недовольного польским правительством и потому готового перейти в русскую службу. Но если необходимость заставит

искать союза республики, то Штакельберг просил снабдить его полномочием для заключения оборонительного и наступательного союза с обещанием Польше завоевания Молдавии и Валахии.

В начале апреля польское правительство было сильно встревожено требованием прусского короля пропустить его войско чрез владения республики. Сейчас же, разумеется, обратилось к Штакельбергу, который нашелся в большом затруднении: решительный отказ навлечет на Польшу тысячу неприятностей со стороны Пруссии, а прямое согласие раздражит венский двор и даст ему право требовать того же самого. Решено отвечать, что не во власти короля и Постоянного совета дозволить проход иностранным войскам; но, не дожидаясь ответа, прусские войска вступили во владения республики. Кроме того, пруссаки начали набирать рекрут в Данцигском округе. Штакельберг опасался, что при столкновении Австрии с Пруссией в Польше образуются партии австрийская и прусская: за прусского короля будет Великая Польша, за Австрию – множество магнатов, владеющих землями в Галиции. Если война России с Портою сделается неизбежною, старинный дух Барской конфедерации, наверное, заявит себя. Уже существует множество проектов, переговоров, идет сильная переписка между старинными членами этого союза, в челе которого, кажется, хочет стать гетман польный Ржевусский; сюда же присоединяются интересы Браницкого и гетманов, недовольных лишением прежней чрезмерной власти. «Хотя правительство и войско в наших руках, – писал Штакельберг, – однако я боюсь толпы праздных и отчаянных людей. Вот почему я возвращаюсь к моему прежнему предложению набрать в Польше корпус легкой кавалерии. Дело не в том, чтоб иметь войско, хотя эти люди, хорошо управляемые, будут отлично служить; дело в том, чтоб направить к известной цели, заняв толпу шляхты, которая иначе бросится в объятия первого, кто попадетсся, и наделает таких вещей, уничтожение которых будет нам стоить гораздо дороже, чем набор этого войска».

Видя, что его план набора польского легиона не принимается в Петербурге, Штакельберг предлагал привязать к себе отдельных вельмож Огинского и Радзивилла, которые обещали свою верную службу, если им возвратят имения их в Белоруссии, Любомирского, у которого уже сформирован отряд войска, Коссаковского, который в войне с русскими выказал замечательный военный талант и много храбрости, и других старых вождей Барской конфедерации. Штакельберг советовал это тем более, что Австрия уже начала переманивать к себе значительных людей. Затруднения Штакельберга увеличивались еще громкими жалобами поляков на притеснение их торговли со стороны Пруссии. «Их положение, – писал Штакельберг, – действительно самое печальное и не представляет им в будущем ничего, кроме совершенного разорения. В стране нет почти звонкой монеты, и через несколько лет государство очутится совершенно без денег; и легко понять, как подобное положение Польши опасно и для русской торговли. Представления, которые императрица сделает прусскому королю, будут тем более основательны, что поляки требуют только строгого соблюдения последнего торгового договора».

В половине года Штакельберг, таким образом, описывал внутреннее состояние Польши: «До сих пор полное согласие между Россией, Австрией и Пруссией давало возможность проводить самые решительные меры. Это время прошло; война между Австрией и Пруссией, разделяя интересы соседних

государств, откроет обширное поле движениям, которые останавливались страхом. Война России с Турцией усилит их. Приближение грозы чувствуется здесь и там. Барская конфедерация была приведена в бездействие, но не уничтожена. Раздел Польши порастил поляков, но не смягчил их. Моя обязанность состояла в убеждении нации относительно доброго расположения императрицы к Польше, в согласии интересов обоих государств, в благодетельности ее в-ства относительно поляков, почувствовавших эту истину, в крепости относительно тех, которые стали ее подданными. Я успел обратить многих злонамеренных; других обезоружил на время. Но часть недоброжелательных существует в стране, а другая странствует по свету и даже в Турции, подозревая, что мы, несмотря на амнистию, питаем мщение, ибо Радзивиллы и Огинские не получили прощения. Как бы ни был мал этот остаток недоброжелательных, его достаточно для распространения заблуждения между тысячами шляхты, невежественной, фанатической, бедностью доведенной до отчаяния. В столице я сблизился с вождями оппозиции, с кн. Любомирским и великим гетманом Браницким, делая вид, что советуюсь с ними, и обещая им участие в делах, как скоро обстоятельства позволят Польше выйти из бездействия. Это обещание даже может быть исполнено ввиду соединения всех партий. Что касается областей, то я велел распустить там слух, что, не желая стеснять выбора депутатов, русские войска оставят местности, где будут происходить сеймики. Я велел прибавить, что императрица, усилив правительство для поддержания порядка и выполнения договоров, намерена серьезно покровительствовать свободе нации и поэтому желает свободного сейма. Это произвело очень хорошее впечатление; если все останется в том же положении, как теперь, то надобно исполнить это обещание, ибо оно, с одной стороны, поведет к общему успокоению, а с другой – воспрепятствует королю употребить во зло власть, какую дают ему конфедерации».

В половине августа Штакельберг уведомил, что сеймики происходили без присутствия русских войск. Дух свободы господствовал до такой степени, что на многих из них обнажены были сабли; но это очень понравилось шляхте, она осталась довольна русскими, которые не мешали ей; и при этом расположении умов должен был открыться сейм. Не трудно было предвидеть, по мнению посла, что сейм будет шумен, быть может, и разорвется; но Россия достигнет главной цели – с одной стороны, дав выход нации, а с другой – утишив головокружение и смуту.

Оставалось немного дней до сейма, назначенного на 24 сентября, а об короле, об его отношениях к сейму не было слышно, хотя послу было известно, что Станислав-Август, обрадованный превосходством своей партии, хочет, чтоб этот сейм был похож на сейм 1766 года. Король скрывал свои намерения от великого канцлера и маршала Ржевусского, которых Штакельберг прямо называл своими представителями при короле; последний даже жил при дворе для наблюдения за маленькою политикою передней. Станислав-Август не говорил ничего Штакельбергу о ходе дел вообще, даже о выборе сеймового маршала; и посол молчал, чтоб вмешательством в дела не давать чувствовать русской опеки. Но многие вожди прежней оппозиции явились к Штакельбергу с просьбою о помощи против выбора сеймового маршала, которым в публике назначают Вольмера, депутата из Литвы, низкую креатуру государственного казначея Тизенгаузена,

органа королевского, а притеснения и злоупотребления последнего в великом княжестве очень хорошо известны. Штакельберг отвечал, что в известных чувствах императрицы они найдут твердую опору против притеснений и деспотизма; посол прибавил, что выборы в маршалы еще не произведены и он надеется на возможность избежать Вольмера. Сейчас же после того при дворе разнесся слух, что русский посол принимает роль посредника между королем и нацией; тон речей многих депутатов вследствие этого переменялся, и король пригласил к себе Штакельберга. Посол начал доказывать Станиславу-Августу всю недостаточность плана установить неограниченную власть в провинциях с помощью духа партии, отличающегося нетерпимостью, преследованием, судебными злоупотреблениями, тиранией чиновников, чему, между прочим, поразительным примером служит г. Тизенгаузен. Посол указывал другую систему правосудия и справедливости. Тогда не будет больше партий, с которыми королю приходилось бы бороться; исключительно занятый великими интересами России и Польши, король освободился от всех этих провинциальных дразг, которые делают ему столько неприятелей. Посол окончил свою речь заявлением, что императрица, в обширном управлении своею империею поставив самым дорогим предметом покровительство правосудию и собственности, будет наконец принуждена объявить в Польше, что ее участие в делах этой страны нимало не содействовало злоупотреблениям, вкравшимся в судебные отправления провинций. Король обещал торжественно следовать советам посла, и между ними заключен был маленький договор в следующих статьях: 1) исключение Вольмера из кандидатов в маршалы; 2) назначение в эту должность Тышкевича, честного человека; 3) принятие новой системы, состоящей в поддержке самого строгого правосудия.

Тышкевич был выбран в маршалы, и свободный сейм начал свои работы совершенно согласно с желаниями посла. Но внешние отношения явились помехою. На сейме раздались громкие вопли против торговых притеснений на Висле, против несоблюдения Пруссиею последнего торгового договора. В первом движении негодования хотели запереть королевство для прусской торговли, но Штакельберг постарался не допустить до этого решения представлениями, что между Россиею и Пруссиею дружба, союз. Тогда решили передать прусскому резиденту ноту с требованием соблюдения договора и в то же время просить посредничества русской императрицы. «Эта страна, – писал Штакельберг, – лишенная денег, под тяжестью монополии, которая ее постепенно уничтожает, представляет самую ужасную картину: торговый баланс на миллион червонных против Польши. Несчастливая страна умоляет о помощи свою благодетельницу. В русском интересе уменьшить затруднения, испытываемые Польшею, потому что, если дела останутся в прежнем положении, наша торговля Также пострадает: нет никакой выгоды в торговле со страной, доведенною до такой крайности. Представления ее и в-ства тем более будут иметь веса у ее союзника, что обстоятельства политические им благоприятны. Я имел основания внушить прусскому резиденту, что в настоящих критических обстоятельствах я не могу отвечать, чтоб нация не высказалась в пользу Австрии, если Пруссия будет продолжать доводить ее до отчаяния».

Но этим дело не кончилось. Венский двор стал поднимать конфедерацию в польских областях, соседних с Галициею. Гетман польный Ржевусский, объехав

Краковское, Сендомирское и Волынское воеводства с призывом к восстанию, поехал в Вену для переговоров. Подговоры начались и в Варшаве. Какой-то господин, по виду француз, ночью на 25 октября явился к Пулавскому, племяннику знаменитого конфедерата, с предложениями вступить в новую конфедерацию. Штакельберг не мог узнать имени этого эмиссара, Ревницкий еще не действовал открыто, но в разговоре с графом Мёнчинским, старым барским конфедератом, выразил свое удивление насчет власти, какую имеет Россия в Польше, и спрашивал, неужели не найдется людей, которые бы приняли сторону Австрии. Австрийцы выслали в Польшу людей для набора рекрут; Штакельберг велел захватить одного из них в самой Варшаве.

1 ноября Штакельберг извещал с восторгом о правильном окончании свободного сейма, который не стоил ни гроша казне ее в-ства; посол поздравлял Панина с этим окончанием, которое служило пробным камнем системы, введенной в Польше им, Паниным, системы, соединяющей республиканскую форму с влиянием России. 27 ноября приехал в Варшаву кн. Репнин проездом к прусскому королю и писал Панину, что нашел в польской столице большую перемену: люди, которых он знал первыми богачами и первыми вельможами страны, принуждены сделать значительные перемены в образе жизни; это так бросается в глаза, что видишь себя не в столице, а в бедной провинции; и все это происходит от чрезвычайного уменьшения денег в стране. Репнин нашел умы в сильном волнении по поводу прусско-австрийской войны. Многие вельможи думали, что они должны принять участие в войне в надежде улучшить этим свое положение; и Репнину показалось, что король был того же мнения; но большая часть главных вельмож имеют обширные владения в Галиции, и это связывает им руки. С другой стороны, шляхта, буйная и бедная, как всегда, конечно, воспользуется первым предложением и вступит в службу какого бы то ни было государства, чтоб удовлетворить своей охоте повоевать, пограбить, покормиться на чужой счет.

Из Швеции Симолин дал знать от 8 июня, что майор Пайкуль, самый ревностный из членов русской партии, приезжал в нему из деревни в Стокгольм с известием, что в провинциях распространяются слухи, будто петербургский двор находится в такой согласии с королем Густавом и относительно шведских дел совершенно переменяет систему. Симолин уверил его, что слухи эти не имеют никакого основания, что русский двор может казаться равнодушным к шведским делам, пока не уверен в сохранении мира с Портою, но когда с этой стороны дела уладятся и отношения получают твердость, то наши шведские друзья испытают, что мы не способны жертвовать своими истинными интересами, равно как интересами своих друзей каким-нибудь личным видам; они найдут нас всегда готовыми содействовать всем мерам, какие они сочтут самыми приличными для восстановления шведской свободы и для приведения дел в возможно лучшее состояние. Пайкуль был доволен этим объяснением и на другой день отправился в деревню, давши обещание поддерживать надежды друзей свободы и неудовольствие народное, которое возрастает день ото дня вследствие тяжести налогов. Осенью собрался сейм; русский поверенный в делах Рикман, заменивший Симолина, доносил своему двору, что выборы избирателей были не в пользу русской партии: исключая пяти или шести лиц в дворянском сословии и одного, много двух – в духовном, все остальные были люди, отличавшиеся

полною приверженностью к королю. Но колпаки были довольны тем, что старый национальный дух благодаря графу Ферзену стал пробуждаться. Ферзен вел себя с величайшей осторожностью относительно короля, испытывал почву, старался приобрести как можно больше друзей, направлял самого короля согласно с своими идеями посредством представлений почтительных и законных. Ферзен приобрел величайшее уважение; в дворянской палате слушали его, как оракула, от которого все ждали своего спасения. Король, видя такое могущество, боялся Ферзена и уступал ему. Но борьба между ними разгорелась по самому существенному пункту, когда Ферзен начал стараться отнять у короля распоряжение банком. Все поняли, в чем дело, и все приверженцы конституционного порядка собрались около Ферзена без различия шляп и колпаков. Тогда король объявил прямо сейму свою волю относительно управления банком и велел распустить слух, что решился схватить всех тех, которые будут противиться его воле, не исключая и Ферзена. Цель была достигнута: сопротивления не оказалось и депутаты начали толпами покидать сейм; колпаков уехало столько, что Рикман опасался потерять все каналы, чрез которые получал сведения о ходе дел: Пайкуль, Гилленсван, Лагерсверд уехали; другие заболели, или объявили себя больными, или до того перепугались, что перестали подходить к русскому министру; а которые не порвали с ним связей, те ценили свои услуги на вес золота. Сам Ферзен заперся в своей комнате, не пуская к себе никого, кто мог быть подозрителен королю, и объявляя, что не хочет более мешаться ни во что, а между тем сносился с королевскими друзьями и самим королем, который стал принимать его очень благосклонно. Рикман не мог переговорить с ним лично, ни через других.

Насчет Дании в Петербурге могли быть покойны вследствие донесений нового русского министра при копенгагенском дворе Сакена. Последний писал, что интриги и столкновения, неизбежные в настоящем датском правительстве, касаются только людей, управляющих внутренними делами страны, и нисколько не затрагивают политической системы, которая остается всегда одна и та же как самая естественная и полезная для Дании. Таков принцип, установленный в совете и при дворе, и надобно думать, что он останется непоколебим. Поэтому Сакен принял для себя правилом стараться знать все, но прямо не вмешиваться в эти споры. Когда получено было известие о шведском сейме, то датскому министру в Стокгольме послано было приказание объявить русскому министру при шведском дворе, что датский двор будет во всем сообразоваться с желанием русского.

Для заключения союза приехал в Петербург новый экстраординарный посланник и полномочный министр Гаррис. Он передал гр. Панину ноту, в которой говорилось, что великобританский король решил вооружиться всеми своими силами против оскорбления, нанесенного его достоинству со стороны Франции. В таких обстоятельствах королю естественно искать союза государств, которые по сходству своего положения должны иметь те же самые чувства. Россия часто испытывала следствия зависти и честолюбия версальского кабинета. Несмотря на то что Россия всегда брала верх над ее предприятиями по великодушию своей государыни и обилию своих средств, неутомимая злоба Франции продолжает стоять твердо в своих губительных намерениях; стараясь лишить Англию союзника, самого страшного и самого естественного, она употребляет все средства, внушаемые самою злобною политикою, для ободрения

турок к разрыву мира с Россией. Наступило время, когда все побуждения частного и взаимного интереса заставляют дворы петербургский и лондонский тесно соединиться для противодействия честолюбивым видам бурбонского дома. Касательно дел германских король намерен держаться законов и конституций империи. Впрочем, решение вопроса о средствах, которые должны быть употреблены для этой цели, зависит от обстоятельств, и особенно от обнаружения настоящих намерений Франции, останется ли она при своем старом союзнике, или соединится с королем прусским, или останется нейтральною. В первом случае и если Франция попытается еще раз употребить свои силы в Германии, то система, приличная для Севера, обозначится ясно и очевидно; эта система, проведенная энергически и согласно, образует союз, могущий держать в почтении остальную Европу. Россия будет иметь первое место в этом союзе, будет играть великую роль, на которую имеет право по своему могуществу, по своим обширным средствам и по совершенству своего настоящего правительства. Основанием системы должен служить непосредственный союз между Англиею и Россией.

В проекте этого союза, который сообщил Гаррис, по-прежнему Турция «исключалась из случая союза» по торговым интересам Англии; при этом высказывалось желание, чтоб Россия помогала Англии флотом, так как с восшествия на престол Екатерины II Россия сделалась морским государством, очень почтенным, и соединение ее флота с великобританским произведет сильное впечатление.

Екатерина велела отвечать: из всех государств, которые могут иметь прямое столкновение с Россией, одна Порта может обращать на себя все ее внимание, следовательно, против нее важно было заручиться союзами. За этим главным предметом следует спокойствие Севера, но этот вопрос имеет большую или меньшую важность, смотря по тому, является ли он один или в соединении с беспокойствами со стороны Турции. Все другие отношения суть второстепенные. Каким же образом императрица откажется от союзнической помощи против единственного сильного и опасного неприятеля в то самое время, когда предвидит немедленное начатие с ним войны, когда сама обязется помогать Англии против главного ее врага? Россия вела войну с Портою и может вести еще безо всяких последствий для других держав европейских; тогда как малейшее столкновение в Америке влечет необходимо европейскую войну, которая потребует приложения всех договорных обязательств. Что касается Германии, то императрица не может быть равнодушна к событиям, которые могут нарушить спокойствие этой страны или ее конституцию. Близость Германии к России, отношения последней ко многим членам империи, ее обязательства или союзы с главными германскими дворами предписывают императрице политику твердую и постоянную относительно германской империи и не позволяют ей подчинять свое поведение поведению какого-нибудь постороннего государства, как Франция. Таким образом, императрица с крайним огорчением видит невозможность заключить союз на предлагаемых условиях.

Вместо переговоров о союзе русский двор должен был передать Гаррису ноту совершенно другого рода. Вследствие жалоб русских судовладельцев, потерпевших притеснения от английских кораблей, сделаны были представления лондонскому кабинету, и король строго предписал своим арматорам и другим начальникам кораблей уважать русский флаг. Несмотря, однако, на это строгое предписание,

пришла новая жалоба. Брандт, капитан русского корабля «Св. Петр», намеревался плыть из Бордо на остров С. Доминго, в Порт-о-Прэнс; и хотя все бумаги его были в порядке и товары на его корабле были самого невинного свойства, он был остановлен на дороге английским арматором, который захватил 14 человек экипажа, перевел их на свой корабль, а остальное отправил в Жерзей. Владелец корабля «Св. Петр» бригадир Соймонов подал императрице жалобу, и русский министр в Лондоне получил приказание вытребовать освобождение корабля, возвращение товаров и вознаграждение Соймонову за потерю.

1779

2 января Репнин обедал у короля, который, отведя его в сторону, начал говорить о разглашениях, делаемых венским двором в Германии, будто великий герцог тосканский дает займы императору семнадцать миллионов гульденов на продолжение войны, будто испанский король обещал десять миллионов пиастров, что министры майнцкий и кельнский внушали в Регенсбурге ганноверскому министру сделать от имени империи представление, чтоб король прусский для общего мира оставил намерение присоединить маркграфства Аншпахское и Байрейтское ко владениям старшей линии бранденбургского дома. На основании этих разглашений Фридрих выражал сомнение в искренности миролюбивых желаний венского двора, т.е. императора и кн. Кауница, хотя относительно миролюбия императрицы-королевы сомневаться нельзя: но в Вене две партии, и потому нельзя считать мира верным, не зная, которая из них возьмет верх, материнская или сыновья. Король упоминал и об отзывах императора, который будто часто говорит, что не противится миру единственно из почтения к матери, а собственно с ее мыслями не согласен. Репнин отвечал, что Франция, представляя план примирения, не могла этого сделать без согласия венского двора; что же касается разных разглашений, то их должно приписать двойной политике кн. Кауница, который, быть может, хочет этим средством запугать и поскорее склонить Пруссию к миру.

Пруссия была согласна принять мирный проект, представленный Францией, и дело останавливалось только за Саксонию. В пользу этой страны от Австрии требовалось, чтоб она заплатила саксонскому курфирсту миллион талеров и отказалась от ленных прав на некоторые части Саксонии. Репнин высказал прусским министрам свое мнение, что из-за этих двух пунктов не стоит продолжать войну. Но прусские министры отвечали, что от денег отступить легче, но трудно позволить венскому двору оставить за собою ленные права на Саксонию, ибо, только заставив его отказаться от них, Саксония избежит его мщениия: эти ленные права постоянно дают повод ко всевозможным прицепкам. «Если от этих ленных прав Австрия не отступится, то трудно будет заключить мир», – писал Репнин Панину 12 января.

В последний день января Репнин дал знать, что прусский король согласился на все представления французские и австрийские, и если еще идет речь о ленных правах в Саксонии, то отречение от них со стороны Австрии не ставится уже

непременным условием, но единственно желанием в надежде, что в исполнении его отказа не будет.

18 февраля известный нам барон Бретейль, находящийся теперь французским послом в Вене, писал Репнину, что Мария-Терезия согласна на все существенные условия мира, но он никак не мог убедить венский двор уступить саксонскому курфюрсту известные феодальные права в его стране, ибо это отняло бы у королевства богемского чрезвычайно важный почет. В том же письме Бретейль предложил местом съезда для окончательного подписания мирного договора три города – Троппау, Егерндорф или Тешен на выбор Репнина, прося русского уполномоченного назначить день съезда. Репнин отвечал, что по соглашению с прусским двором он выбирает Тешен и сроком для съезда назначает 10 марта н. с., и этот день должен считаться началом срока перемирия. Но прежде этого срока австрийцы сожгли Нейштадт. Это сильно рассердило Фридриха, и, отпуская Репнина в Тешен, он сказал ему, что единственно из уважения к русской императрице он не разорвал мирных переговоров. «Как я искренно и совершенно мира ни желаю, – сказал король, – однако войны не боюсь и не имею причины бояться». – «Конечно, все дела в. в-ства, – отвечал Репнин, – которыми вы приобрели неоспоримую и бессмертную славу, несомненно, доказывают справедливость этих ваших слов. Но с другой стороны, я уверен, что в. в-ство считаете для себя столь же славным дать мир Германии и своим человеколюбием утвердить спокойствие почти всей Европы. Я имею известие от фельдмаршала графа Румянцева, что вся турецкая армия идет от Дуная к Днестру, и большею частью именно к Хотину; австрийцы усиливаются в Галиции, а это предвещает не только войну Порты с нами, если мир в Германии заключен не будет, но, может быть, и согласное действие австрийцев с турками для возмущения Польши. Эти обстоятельства, конечно, требуют большого внимания, и я прилежно прошу в. в-ство прилежно об этом размыслить». Фридрих ничего не отвечал на это.

10 марта уполномоченные съехались на конгресс в Тешен; французский уполномоченный барон Бретейль сообщил Репнину проекты трактатов венского двора и получил от Репнина проекты прусские, причем русский уполномоченный увидел, что проекты венские не в пример больше отдаляются от французского плана, чем прусские, и Репнин писал Панину, что еще нельзя с верностью сказать, будет ли мир или война. От 22 марта Репнин писал: «Дела директные между венским двором и королем прусским сближаются, саксонские с пфальцским двором по сих пор не соглашаются, и опасно крайне, чтоб на оных все примирение не разорвалось. Король прусский с великим жаром на сем пункте настаит, а венский двор, хотя и начал уже домогаться у пфальцкого, чтоб саксонские претензии им удовольствованы были, однако те домогательства не столько, знать, сильны и решительны были, чтоб произвести могли желаемый и окончательный успех. С другой же стороны, венский здесь министр подкрепляет пфальцских и требует умеренности в саксонских претензиях, чем более в недоверенность и раздражение прусская сторона приводится. Г. Бретейль пфальцскому двору писал довольно сильно; впрочем, считает он, что венский двор всю неприятность и все усилие против пфальцкого двора хочет взбросить на версальский и потому с некоторою осторожностью в сем деле идет; я ж всякими домогательствами и резонами, извлеченными из интереса и славы наших обоих дворов скорее с успехом окончить примирение, пихаю его, сколь возможно, к

решительным поступкам. С другой стороны, король прусский теряет терпение и, опасаясь, чтоб венский двор не имел в виде довести его до мира, исключая из одного удовлетворение Саксонии, чуть было не отозвал своего отсель полномочного; но, по счастью, министерство его прусского в-ства предупело отклонить сие намерение; однако таковое положение дел понудило меня директно к его в-ству писать с просьбою, чтоб продолжено было еще перемирие. Равным образом почел я нужным прямо в Дрезден к г. Лизакевичу писать, с тем чтоб он мое письмо показал министерству саксонскому, в котором я просил соглашения его курфирстской светлости принять во удовлетворение четыре миллиона талеров, все деньгами, а не землями, зная я совершенно, что на сие пфальцский двор скорее согласится, нежели на часть деньгами и на часть землями, и, следственно, хотел я иметь еще один способ более готовым к доведению дел к желаемому пункту. Саксонский двор на сие не согласился с некоторыми объяснениями, как то обыкновенно делают все те, которые желают как бы нибудь и чем бы ни есть более выиграть. Теперь зависит все по большей части от ответа пфальцкого двора, к которому отправлены уже от г. Бретейля решительные требования прусские и саксонские. Сей ответ не может здесь и быть прежде 2 или 3 апреля, и тогда только можно будет увидеть и сказать, мир ли будет или война. Когда мы все, начиная с короля прусского, льстили, что здешний съезд более почти дела иметь не будет, как только подписать трактаты, тогда, по несчастию, крайне все ошиблись. Хлопоты, заботы и затруднения здесь ежедневно и, так сказать, почти на всяком слове встречаются. Виды, знать, скрытные венского двора и развратность курфирста пфальцкого, произведенного, кажется, на возмущение Германии с презрением всех и вредом собственным, препятствия бесконечные рождают».

Фридрих II отвечал Репнину, что не согласен продлить перемирия долее 15 апреля, если не окажется, что в Вене серьезно желают мира. Фридрих приписал собственноручно: «Вы уполномоченный моей верной союзницы, и потому я от вас не скрываю своих мнений. Вот как я смотрю на поведение венского двора: курфирст-палатин есть марионетка, Кауниц заставляет его играть, и я имею в виду актера, а не марионетку. Если эти господа хотят мира, то пусть его заключают, а если хотят нас обмануть, складывая вину разрыва на курфирста-палатина, то я вам прямо объявляю, что не желаю быть обманутым. Ожидаю ответа из Вены и на его основании решу продолжать перемирие. Прошлый год я был слишком снисходителен и был проведен этими господами; можно было обмануть раз, это может случиться со всяким, когда имеешь дело с мошенниками, но если кто два раза обманут, то это такой титул, которого я не домогаюсь».

5 апреля Репнин писал, что наконец получен ответ от мюнхенского двора, который согласился заплатить Саксонии шесть миллионов гульденов или четыре миллиона талеров. Но тут же Репнин писал, что «игрушка» венского двора, который принудил курфирста пфальцкого сопротивляться непосредственному участию в конвенции герцога цвейбрикенского и гарантии их договоров, чуть было не разорвала конгресс: «Король прусский приказал было своему министру здесь объявить, что он ни на один год перемирия не продолжит, если саксонские и герцога цвейбрикенского дела до того срока кончены не будут. Сколько я ни склонял г. Ридезеля, чтоб отменить совсем сие объявление, но не мог на оное его уговорить, как только чтобы он по малой мере таковой формальной декларации не

делал, а сказал бы просто в разговоре, что все минуты дороги и что нужно спешить сими двумя делами по причине скорого приближения срока перемирия. Если бы г. Ридезель не столь скромный был человек, то бы, конечно, по запальчивости его двора все здесь уже разорвано было, особливо по предписаниям их министерства, в которых главнейше участвует г. Герцберг». Репнин писал к кн. Голицыну в Вену, чтоб тот отговаривал тамошний двор от подобных «игрушек», а Голицын сообщил ему ответ Кауница, что прусские требования противны достоинству австрийского дома, что с особенным жаром указывает император Иосиф. Репнин в письмах к Голицыну защищал прусские требования, указывая, что сам венский двор прежде согласился на непосредственное участие герцога цвейбрикенского в конвенции и на то, чтоб права всех линий палатинского дома на Баварию были поставлены вне всякого спора. Но барон Бретейль и австрийский уполномоченный граф Кобенцль получили из Вены депеши, что прусские предложения были приняты императором Иосифом с «чрезвычайным жаром и запальчивостью: он не соглашался, чтоб австрийское министерство дало на них письменный ответ». Императрица-королева три дня его уговаривала и успокаивала, но ничего не могла сделать. С другой стороны, не раз присылал он кн. Кауницу собственноручные проекты ответов прусскому королю; но они были так неумеренны и горячи, что кн. Кауниц отказался послать их в Тешен, видя, что они должны вести к возобновлению войны. Тогда Иосиф послал Кобенцлю приказание объявить, что венский двор никаких уступок больше не сделает и в воле прусского короля заключить на этом основании мир или нет. Однако при этом Бретейль и Кобенцль были уполномочены объявить, что императрица-королева соглашается гарантировать фамильные договоры пфальцского дома, но более ничего не уступит. «Горячее всего, – писал Репнин Панину, – принимает венский двор требование короля прусского гарантировать конвенции, включаемые в трактат, а потом с досадою объясняется по поводу разных мелочей, требуемых прусским министерством, или, лучше сказать, горячею головою г. Герцберга, как то, чтоб сказано было: „Императрица-королева отказывается от своих прав на Миндельгейм“, а не „уступает Миндельгейм“ и проч. Я не могу себе представить, чтобы для таких мелочей, принадлежащих к юриспруденции германской, король прусский захотел разорвать мир, но признаюсь, однако ж, что теперь мы находимся в самом последнем кризисе. Между тем, зная скромность г. Ридезеля, его искреннее и жаркое усердие к миру, тож его привычку конфиденциально объясняться с королем, дав ему выразуметь все обстоятельства и всю важность настоящего кризиса и положения дел, оставил я ему о сем подробное донесение сделать его прусскому величеству, понеже всякие от него, как от собственного министра, рассуждения и представления меньше колки покажутся сему государю, нежели б я их делал, а пункт запальчивости и персональности здесь, по несчастью, весьма велик и, так сказать, почти главнейший с обеих сторон».

Донесение свое от 8 апреля Репнин начинает словами: «Еще новое игрище здесь было представлено, которое нас всех чрезвычайно потревожило». Игрище состояло в том, что 7 числа Бретейль получил письмо от курфирста пфальцского, где тот объявлял свое несогласие на ручательство четырьмя державами его фамильных договоров и писал, что скорее согласится на прямое участие герцога цвейбрикенского в его конвенции с императрицею-королевою. Репнин и Ридезель сказали откровенно Бретейлю, что без гарантии фамильных договоров

пфальцского дома мир заключен быть не может. Тут является граф Кобенцль и, слыша, как решительно отзываются уполномоченные России и Пруссии, отзывает Бретейля в другую комнату и сообщает ему под секретом, что пфальцкий уполномоченный получил вторичное повеление в самой крайности согласиться на гарантию. Бретейль сейчас же рассказал об этом Репнину, а тот – Ридезелю, и все успокоились. «Но притом, – писал Репнин, – нельзя было нам без крайней чувствительности видеть всю двоякость венского двора, который играет, как куклою, курфирстом пфальцским и нас в сию шутку вводит. Однако для успеха дел согласились мы дать время пфальцскому министру его комедию вчерась играть, а ныне сказали ему, что война опять начнется, если они не согласятся на гарантию их фамильных пактов. После чего по многим и различным арликинствам наконец согласился пфальцкий полномочный именем своего государя на помянутую гарантию пактов». Относительно Саксонии Репнин писал: «Сей двор еще борется, желая всяким образом как-нибудь поболее схватить. Я, полагая, что наш главнейший интерес, наша слава и наше достоинство теперь требуют, чтобы скорее дела кончить, дабы желаемым решением утвердилась притом инфлюенция нашего двора в Германии, решительные ответы Саксонии делаю, верен быв, что их торговля не кончится, ежели мы ее не пресечем; и тако заключил я лучшим персональное против себя неудовольствие дать саксонскому двору, нежели протянуть дела и чрез то решение их сделать неверным. Впрочем, г. Бретейль во всем оном со мною согласно действует».

21 апреля опять донесение от Репнина о новом «позорище», разыгранном пфальцским и венским министрами. Первый предложил, что его государь, согласясь на гарантию своих фамильных договоров и соглашаясь утвердить их особым актом между собою и герцогом цвейбрикенским, не соглашается, однако, чтоб в статье мирного договора, которою гарантия дается, было сказано: «... поколику те пакты не противны вестфальским трактатам», считая такое выражение противным своему достоинству. Австрийский уполномоченный объявил, что его двор сам по себе смотрит на это равнодушно, но из уважения к курфирсту пфальцскому приказал его желание подкреплять. Остальные уполномоченные поняли дело так, что венский двор прячется за мюнхенский и им играет, желая избежать гарантии договоров или повести к тому, чтоб германская империя не приступала к миру, потому что выражение о непротивности новых договоров Вестфальскому всегда вставляется для утверждения прав империи, утвержденных Вестфальским договором.

Наконец пришло донесение от 2 мая, начинавшееся словами: «Славу богу! Насилу кончилось здешнее хлопотное дело подписанием мира». 5 мая Репнин был уже в Бреславле, где на прощальной аудиенции Фридрих II сказал ему, что он успехом мирных переговоров обязан русской императрице и германская империя обязана ей не только настоящим покоем, но и сохранением своих прав. Репнин получил от него портрет, украшенный бриллиантами, и 10000 талеров.

10 марта Стахивев заключил с Портою конвенцию. Россия согласилась, чтоб татарские ханы по избрании и возведении их на ханство целым народом присылали к Порте депутатов с магзарами в приличных терминах по установленной однажды навсегда примерной форме с торжественным признанием в особе султанской верховного калифства, с испрошением поэтому его духовного благословения чрез присылку к ним таких благословительных грамот, какие

приличны быть могут области вольной, независимой и с турками единой верой. Россия обещает не прекословить и не противиться ничему, что необходимо нужно или свойственно быть может их единоверию, а Порты с своей стороны обязуется ни в чем не касаться гражданской и политической власти татарских ханов под предлогом духовной связи и влияния, давать благословительную грамоту новому хану без малейшего затруднения и отговорки, не изменять в этих грамотах ни одного слова. Обе империи взаимно обязуются не принимать никаких мер без предварительного и полюбовного между собою соглашения в случае какого-нибудь внезапного и вне конвенции не предусмотренного приключения относительно татар. Русский двор обещает вывести все свои войска из Крыма и Тамани в три месяца, а из Кубани – в три месяца и 20 дней со дня подписания конвенции и не вводить их туда ни под каким видом; то же обещает и Порты. Как скоро в Константинополе получится верное известие о переходе русского войска за Орскую линию и как скоро явятся из Крыма новые депутаты с новыми магзарами по условленной форме, тогда султан признает ханом Шагин-Гирея и снабдит его благословительными грамотами. Русский двор обещает употребить все способы склонить хана и правительство крымское на добровольную уступку Турции земли между Днестром, Бугом, польскою границею и Черным морем; Порты обязуется отделить от этих земель достаточную часть для составления Очаковского уезда, прочие оставить впусе, исключая деревни и селения, которые теперь там находятся, которых именную роспись с обозначением числа и рода их жителей Порты сообщит русскому двору с обещанием не допускать там никаких новых заведений, тоже допускать безместных бродяг иметь там убежище. Порты обязуется выдать русскому двору перебежавших в ее области запорожских казаков, если они захотят воспользоваться амнистиею, жалуюемою им императрицею; а в противном случае Порты обязуется перевести их на правую сторону Дуная и поселить внутри турецких областей как можно дальше от Черного моря. Порты позволяет свободный проход из Черного моря в Белое (Мраморное) таким точно торговым русским судам, какие употребляются на турецких водах другими народами, особенно французами и англичанами как наиболее покровительствуемыми, именно суда не должны иметь груза более 16000 киллов, или 8000 кантарей, что на русский вес составляет 26400 пудов; число пушек и корабельных служителей должно быть такое, какое находится на судах французских и английских; употребление корабельных служителей из турецких подданных допускается не иначе как в случае нужды и с ведома Порты. Порты обязуется не препятствовать никаким образом в Молдавии и Валахии исповеданию христианского закона, постройке новых церквей и поправлению старых; обязуется возратить монастырям и частным людям земли и владения, прежде им принадлежавшие около Браилова, Хотина, Бендер и прочих мест, полагая срок с Белградского договора 1739 года; обязуется оставить в неприкосновенном владении именными тех жителей обоих княжеств, которые во время русского управления были восстановлены в своих правах; обязуется признавать и почитать духовенство с должным этому чину отличием; наблюдать всякое человеколюбие и великодушие в наложении на них денежной подати, которая должна собираться природными тамошними депутатами; возобновить и хранить свято первые хати-шерифы, данные обоим княжествам по заключении Кучук-Кайнарджийского мира; каждое княжество имеет право держать в

Константинополе своего поверенного в делах из христиан греческого закона; этот поверенный будет принимаем Портою благосклонно как состоящий под покровительством народного права; выговоренное Кучук-Кайнарджийским договором заступничество российского министра при Порте за Молдавию и Валахию относится только к этим условиям. Вместо возвращения морейским жителям по трактату прежних их имений и земель, которые после конфискации причислены были к мечетям, вакуфам и другим духовным учреждениям, Порта обещает дать им удовлетворение другими землями и выгодами, потери их соразмерными.

Эта конвенция была не совсем согласна с проектом ее, присланным из Петербурга, относительно чего Стахийев писал императрице: «На двоякое условие относительно запорожских казаков с обнадеживанием великодушного вашего к ним милосердия, не меньше как и на все другие отмены и прибавки, я дерзнул поступить после сильных споров с французским послом, и, не предусматривая уже возможности к преодолению турецкого упрямства, оным послом до самого конца негоциации всюду подкрепляемого, по тому же самому принужден я был согласиться как на короткий срок к испражнению татарских областей от победоносных в. и. в-ства войск, так и на установление слога и терминов в магзаре и калифской грамоте, из коих в первом с превеликим трудом предупел вычеркнуть присвояемое в турецком проекте название султана турецким государем». Стахийев должен был обещать стараться, чтоб русский двор не настаивал на построении в Пере особенной публичной греческой церкви за домом русского министра. Договаривавшийся с ним Абдул-Резак клялся, что Порта представляет об этом единственно для отнятия повода к новым неприятностям между Россиею и Турциею, а не от прихоти, не для уничтожения статьи об этом в Кучук-Кайнарджийском договоре, о которой ни слова не сказано в заключаемой конвенции, чем Порта и признает неприкосновенным право России на постройку церкви; Порта просит об одном, чтоб Россия не пользовалась этим правом или по крайней мере соединила постройку особой греческой церкви с постройкою домовою внутри посольского дома. Стахийев писал, что можно купить соседний дом одного армянина и обе церкви поместить вместе таким образом, что публичная церковь может иметь особенный вход с улицы и обе будут примкнуты к одному из католических монастырей. «В Пере, – писал Стахийев, – нет ни одной церкви греческого исповедания, а католических пять монастырей, которые все закрыты стенами, домовыми и лавочными строениями на подобие магазинов без всякого наружного церковного вида».

В ответ на свое донесение о заключенной конвенции Стахийев получил от императрицы самый милостивый рескрипт с полным одобрением всего сделанного. Стахийев получил 1000 душ в Белоруссии. Французскому послу С.-При он должен был объявить от собственного лица императрицы благоволение за его ревностные, полезные труды и помощь в переговорах; русский министр при версальском дворе должен был изъявить Людовику XVI «в дружественнейших изречениях», как императрица обязана его христианнейшему величеству за тщательное и полезное содействие С.-При в полюбовном окончании турецкого дела.

Естественным следствием этого полюбовного окончания дела было свержение враждебного России рейс-эфенди – Омер-эфенди и возведение на его

место Абдул-Резака, ведшего переговоры о конвенции. С ведома и согласия Порты, Стахийев поехал в патриаршую церковь, где был принят с радостью и уважением; это он сделал для удостоверения единоверного народа в непоколебимом покровительстве, какое оказывает императрица православной церкви, ибо тотчас по заключении конвенции католики начали пугать греков слухами, что в конвенции Россия отказалась от покровительства своим единоверцам.

Но Стахийев ненадолго успокоился. Приехали крымские депутаты, и он должен был отправить своему двору жалобу на поведение нового рейс-эфенди, на его «узловатые» ответы и вызовы. Рейс-эфенди не мог переносить тесной связи Стахийева с депутатами, всячески скрывал от него свои сношения с ними, препятствовал свиданиям русского министра с депутатами под обычным предлогом, что это тревожит константинопольскую публику и подает повод к превратным и неприятным толкованиям. Но это было только начало. От 9 октября русский резидент в Крыму Константинов уведомил Стахийева, что султанская грамота, присланная к хану, написана вовсе не так, как улажено при конвенции, что привезший эту грамоту султанский обер-шталмейстер требует от хана, чтоб тот принял грамоту с прежнею церемониею, в которой выражалось подданство. Стахийев послал русского переводчика высказать Порте свое изумление; рейс-эфенди сложил всю вину на шталмейстера и обещал послать ему выговор; такое же объяснение дано было и французскому послу с прибавкою, что не виноват ли во всем деле сам Шагин-Гирей, который нарочно скрыл полученную им калифскую грамоту султана, чтоб снова поссорить две империи. От императрицы по этому поводу Стахийев получил рескрипт: «Справедливое негодование возбуждает такое Порты шильничество и вероломство. Мы надеемся, что и сей последний камень протыкания рачением вашим изъят будет из среды и тем дальнейшие неприятные следствия предупредятся». Камень был изъят, и шталмейстеру послано было приказание подать настоящую грамоту хану и не требовать соблюдения старого церемониала.

Когда в апреле месяце пришли в Крым условия Константинопольской конвенции, хан Шагин-Гирей был болен и, не будучи в состоянии принять резидента Константинова, просил его изложить все дело на письме. Константинов отправил к нему списки со всех бумаг, присланных Стахийевым, исключая предложения Порты уступить ей очаковские земли, чтоб этою неприятною бумагою не усилить ханской болезни. Шагин-Гирей, прочтя бумаги, заметил хитрость Порты, которая нигде не упомянула ни слова о народах черкесских и абазинских и о крепостях, лежащих между ними на берегу Черного моря, Суджаке, Сухуме и прочих, имея постоянно в виду обладать этими народами и крепостями; равно и буджакская орда хотя и помещена в титуле ханском, но не упомянуто, будет ли она переселена в крымские владения, или удержит ее Порта за собою. Константинов отвечал, что тем лучше, что о закубанских пределах умолчено; черкесы и абазинцы, не бывши никогда под игом турецким, теперь еще больше станут им гнушаться; время открывает хану все способы к привлечению их на свою сторону. Но необходимость отвечать о буджакских татарах заставила Константинова открыть присланному ханом приближенному чиновнику о турецком требовании очаковских земель. Резидент изложил дело так, что уступка этого лоскутка земли ничего не значит в сравнении с утверждением хана на

престоле. Это объявление действительно усилило болезнь Шагин-Гирея; но Константинов торопил хана исполнением всего условленного в конвенции относительно Крыма, причем советовал Шагин-Гирею послать султану в подарок черкесскую красавицу, что произведет особенно благоприятное впечатление.

Шагин-Гирей не долго дожидался исполнения своих опасений. В Суджук-Кале приехал турецкий ага Сулейман, объявляя, что цель его прибытия – починка крепости Суджук и постройка вновь трех крепостей на Кубани; к абазинским племенам разослал письма: «Вы невольные, принадлежите Порте и должны помогать мне в починке крепости Суджук». Абазинцы не тронулись, и Сулейман начал работы одними своими средствами. Константинов написал Стахиеву: «Нельзя ли благоразумию вашему сей камень преткновения изъять из среды, ибо не только этою крепостцою, но если в руках Порты останется Сухум-Келенджик и Аланджик, то она будет владеть всем Кавказом, и, чем долее будет тянуться дело, тем больше надобно ожидать замешательств в том краю, а потом и здесь по неразрывной связи этих народов».

Между тем хан, недовольный утверждением духовной власти султана, писал Константинову: «Я, усердственник ваш, по скудости разумения принужденным себя нашел спросить у вас: татарских народов прежнего рабства с ныне утвержденным вольным состоянием какая разница?» Большого труда стоило резиденту заставить хана отправить депутатов в Константинополь, и, отправивши их, он остался в убеждении, что порядок вещей, утвержденный конвенциею, долго не простоят. По поводу хана Константинов писал Панину, что образ действий его происходит от досады на судьбу, не покоряющуюся его желаниям; дух его не хочет ограничиться тесными пределами Крыма; он имел постоянно в виду Кавказ, из жителей которого надеялся иметь храбрых воинов, а из недр его – неисчерпаемое богатство, ибо уверен в существовании множества металла в Кавказских горах; теперь же, видя Порту, стремящуюся захватить Кавказ, страшно тоскует. По поводу этих донесений, представленных императрице, бригадир Безбородко писал Панину: «Читая крымские депеши, государыня изволила отзываться, что выражаемое в них подущение горских народов да и все поступки относительно намерения турецкого строить и починять крепости могут послужить к новым неприятностям; и для того г. резидент старался бы приличным образом отвращать все подобные со стороны ханской крайности, тем более что ни на какие тамошние известия полагаться невозможно, да и кому принадлежат земли, под крепости занятые, неизвестно; следственно, по мнению ее в-ства, лучше дела сии предоставлять дружественным объяснениям г. Стахиева с министерством оттоманским. Ее в-ство не сомневается, что в. с-ство гг. Стахиева и Константинова поставите в сих обстоятельствах сообразно нашему с сими державами настоящему положению».

Панин исполнил приказание относительно Стахиева и Константинова; кроме того, сочтено нужным наставить и самого Шагин-Гирея; Панин отправил ему письмо (от 1 октября): «Я за нужно нахожу сделать вашей светлости некоторые изъяснения; но как я еще в бытность вашу здесь при высочайшем дворе из истинного моего к вам и достоинствам вашим почтения обращался с вами дружеским и откровенным образом, то я и теперь, возобновляя и подтверждая прежнюю мою к вам, светлейший хан, дружбу и удовлетворяя долгу и законам оной, буду с вами продолжать беседу мою не в лице, однако ж, министра, но по

доброжелательству моему к вам, с полным чистосердечием и доверенностью. Нет и не было еще почти никогда ни одной области и державы при своем начале вдруг на степени того величия и могущества себя зревших, в какой потом многие из них чрез продолжение времени нашлись действительно, и не меньше правда и то, как нередко и самые знаменитейшие в свете империи и государства должны имеют политические уважения, коим соображаясь, сколько по нужде, столько ж и по дальнейшему предусмотрению, жертвуют иногда некоторыми выгодами и преимуществами для приобретения лучших и прочнейших или же по крайней мере для сохранения и утверждения своего и в настоящем положении. Сие неоспоримое и примерами всех веков доказанное правило, по моему мнению, есть достаточно уменьшить заботу с стороны вашей светлости в рассуждении касательства турецкого до города Суджука, лежащего на супротивном берегу от Крыма и отделенного немалым и моря пространством, и убедить вас, напротив того, взирать на то с меньшим духа беспокойством». Указав на то, что при всех переговорах никогда не было и помина, чтоб Суджук или абазинцы принадлежали к татарскому владению, Панин продолжает: «При окончании сих обеих статей, касающихся до города Суджука и абазинцев, маловажных в сравнении приобретенных выгод существенных, я с удовольствием вновь себе представляю превосходную разность настоящего татарского состояния пред их прежним. Тогда они были рабы постороннего народа, служили ему животом и кровию, имели то, что им оставить хотели их господа, были невольные стражи их границы и первую жертвою неприятеля; теперь сами господа, сами собственного своего покоя и безопасности содетели и сами пользующимися и трудами своими, утверждены будучи в независимом настоящем положении священными двух империй обязательствами и залогами и имея полную и ласкательную надежду видеть часть свою от часу лучшею собственным своим поведением, свойственным народу вольному. Сие краткое начертание довольно разрешает учиненный вашею светлостью вопрос резиденту Константинову о разности одного состояния пред другим при участии и ныне Портою Оттоманскою в Крыме в делах, до закона магометанского только принадлежащих».

Генералы, командовавшие русскими войсками в Польше. доносили, что в этой стране все спокойно; то же самое доносил и Штакельберг, но он указывал на образование австрийской партии, с которой не следует спускать глаз. Партия французская, которая постоянно существовала в Польше, теперь соединилась с русскою; и вождь ее Мокрановский доказал свое усердие к России, будучи маршалом на сейме 1776 года. В декабре 1779 года этот самый Мокрановский сообщил Штакельбергу, что гр. Вержень советует ему предупредить всех друзей Франции, как они должны быть осторожны относительно прельщений составить партию против России, ибо это единственное государство, заинтересованное в сохранении Польши. Мокрановский уверял, что это внушение со стороны французского министра основано на известии о проекте императора Иосифа перемешать карты в Польше. Штакельберг, извещая Панина о проезде австрийского посла графа Кобенцля, отправлявшегося в Петербург, пишет, что, несмотря на всю сдержанность Кобенцля, он, Штакельберг, проник цель его пребывания в Варшаве. По вечерам Кобенцль принимал к себе людей, наиболее враждебных русским интересам, сам тайком посещал мелких придворных, которые хотя сколько-нибудь пользовались доверием короля, дал пенсию аббату

Гиджиотти, который, заведовавшая итальянским департаментом, имел случай часто видеть короля. В последнем Штакельберг был уверен, что не поколеблется от австрийских внушений: Станислав-Август так отдался России, что не может безопасно вернуться назад, кроме того, граф Ржевусский не теряет его ни на минуту из виду. Летом 1779 года австрийский поверенный в делах при польском дворе поднял тревогу относительно пограничных споров между Россией и Польшею в приднепровской степной Украине. Штакельбергу удалось доставить донесение этого поверенного в делах своему двору; донесение выяснило виды австрийского правительства.

Что же касается видов прусского правительства, то Фридрих II в августе писал своему послу при петербургском дворе: «Вывод русских войск из Польши – такое дело, которое заслуживает величайшего внимания. Если они будут выведены, то это совершенно снимет узду с австрийских интриг. Новая война, бесконечно важная для наших обоих дворов, будет следствием, и существование польского короля станет так непрочным, что нельзя будет отвечать за него ни на одну минуту. Все эти соображения так важны, что не могут избежать от пронизательности русского министерства, и я надеюсь, что ее и в-ство найдет в них могущественное побуждение для оставления достаточного корпуса войск в этом государстве». В то же время Фридрих в своих депешах, которые показывались русскому министерству, говорил о движении австрийских полков в Нидерланды, о намерении венского двора вмешаться в войну между Францией и Англиею и приводил с этим в связь отправление посланником в Россию графа Кобенцля, человека, по словам короля, хитрого, интригана. «Очень может статься, – писал Фридрих, – что Кобенцля выбрали нарочно для возбуждения русского двора против меня. Одно верно, что везде я замечаю распоряжения, выражающие закоренелую вражду венского двора ко мне. Укрепляются в Богемии, на границах силезских и саксонских». В сентябре новые внушения со стороны Фридриха. «Я утверждаюсь все более и более в мысли, – писал он, – что одна из главнейших целей австрийских интриг состоит в сближении с русским двором и здесь венский двор имеет прямые интересные виды. Думают, что он метит на польский престол для одного из своих принцев, когда поднимется вопрос о новых выборах, и для этого старается издали привлечь на свою сторону Россию. Я предполагаю, что это возбудит и в последней такое же негодование, какое я чувствую: едва только Австрия успела потерпеть поражение в своих губительных намерениях относительно Баварии, как уже затевает новые планы против Польши, старается со временем присоединить ее к владениям своего дома. Столько примеров алчности доказывают только, как опасно прислушиваться к ее внушениям, и я надеюсь, что по признанной мудрости русского двора он отправит Австрию с ее химерическими идеями, диаметрально противоположными как общим интересам Пруссии и России, так и поддержанию польской свободы и конституции. Этот новый замысел даст России почувствовать, как я был прав, советуя ей не выводить своих войск из Польши. Этим она очистила бы для Австрии совершенно свободное поле для сплочения своей партии, для подчинения беспокойных польских голов всему тому, что она сочла бы нужным предложить им». Подобные внушения из Берлина продолжались до конца года. Фридрих писал, что он с удовольствием примет участие в мерах, которые высокая мудрость императрицы признает нужными для удержания стремлений Иосифа II.

Для убеждения Екатерины в том, какую беспредельную цену придает он ее дружбе, Фридрих послал орден Черного орла двухлетнему внуку ее, великому князю Александру Павловичу. Грозя честолюбивыми замыслами Иосифа, Фридрих внушал, что в Польше уже существует сильная австрийская партия, составленная из самых значительных лиц под предводительством князей Адама Чарторыйского и Любомирского; что Иосиф рассчитывает на два события, которые развяжут ему руки для начатия войны, именно: смерть Марии-Терезии, смерть его, Фридриха, и смерть курфюрста пфальцкого. У Иосифа 260000 войска, с которым он надеется вести успешно борьбу против целой Европы. Такие громадные средства и непомерное честолюбие императора заставляют Фридриха, пока есть досуг, принять вместе с своими союзниками меры, чтоб Пруссия не стала добычею алчности и ненависти двора, который не преминет распространить свои чувства и на позднейшее потомство его, Фридриха. Поэтому (в депеше от 2 ноября н. с.) король предписывает своему послу предложить русскому министерству войти в соглашение с Пруссией для предупреждения взрыва австрийских махинаций.

15 мая (н. с.) Мария-Терезия писала своей сестре и кузине (*soeur et cousine*) императрице всероссийской: «Я знаю, что обязана заботам в. и. в-ства столько же, сколько и стараниям христианнейшего короля моего союзника, приятным событием восстановления мира, подписанного в Тешене 13 числа этого месяца, и поэтому я считаю своею обязанностью известить в. и. в-ство прямо об этом как можно скорее, равно как засвидетельствовать живую признательность за новый знак дружбы, который вам благоугодно было оказать в этом случае. Это меня очень тронуло, я приношу вам искреннейшую благодарность и сильно желаю получить возможность взаимно выразить все мои чувства к вам».

Еще в самом начале года, когда только являлась уверенность в мирном окончании баварского дела, Вержень говорил кн. Борятинскому: «Я вам откроюсь как министру посредствующей державы и прошу, чтоб сказанное мною осталось между нами: если б я был на месте кн. Кауница, то ни под каким видом и ни для чего на свете не отступил бы от права Австрии на Лузацию; правда, что это наследство очень отдаленно, но венскому двору всего ждать можно. Прусский король настаивает на это для своих интересов, ибо как скоро Саксония получит право распоряжаться этою провинциею, то прусский король непременно вынудит промен на французские маркграфства, а чрез это владения его получат самое выгодное округление; Саксония будет обессилена и стеснена, Богемия станет открыта, так что прусский король вступит в нее с войском прежде, чем в Вене об этом узнают. Я думаю, это должно быть важно и для всей Европы, чтоб прусский король не так усиливался; пусть каждый приведет себе на память состояние Пруссии в 1740 году и сравнит его с нынешним, как оно выросло по кускам». Опасность от усиления Пруссии, которая заставила Францию переменить свою политику после силезских войн, оставалась главным предметом французской политики и теперь, а следовательно, во всей силе оставалось желание сблизиться с Россией. Доказательством этого сближения служило поведение французского посланника в Константинополе; на двойное посредничество в баварском деле в Версале имели полное право смотреть как на благодетельный результат сближения, ибо Россия, сдерживая Австрию, сдерживала также и Пруссию, которая должна была согласиться на известные уступки в пользу венского двора.

Гр. Морепе говорил кн. Борятинскому: «Христианнейшее величество почитает за особое себе удовольствие быть в согласии с такою великою и премудрою монархиною не только из взаимных интересов, но также из личного почтения к ее и. в-ству. Франция и Россия со времен Петра Великого несколько раз были готовы заключить дружеские и торговые договоры, но всегда встречались препятствия; ее и. в-ство – достойная и истинная наследница всех великих дел и замыслов Петра; ей и предоставлено довершить недоконченное. Здесь можно сказать нашу пословицу: что отложено, то еще не потеряно». – «Императрица, сколько я знаю, – отвечал Борятинский, – питает к королю дружественные сентименты; а что Россия и Франция не всегда были в добром согласии, то причиною Франция: сколько она против нас во все времена интриговала, это всем известно». – «Я с вами согласен, – сказал Морепе, – и не понимаю, как наше министерство не видало настоящих своих интересов. По-моему, нет еще двух других держав, которые бы имели столько побуждений быть в согласии, как Россия и Франция. Надеюсь, что теперь прежнее мнение о нас в России уничтожится: поведение нашего посла в Цареграде может служить императрице удостоверением, как чистосердечны чувства его христианнейшего в-ства к ней». Тут Морепе улыбнулся и продолжал: «Мы, французы, находимся в странном положении: чужие дела приводим к желаемому концу, а своего собственного окончить не умеем».

В это самое время Вержень был обеспокоен планами прусского короля. Посланник Фридриха II барон Гольц заговаривал с ним, нельзя ли на предстоящем соглашении по поводу баварских дел уступить прусскому королю право променять так называемые франконские маркграфства (Аншпах и Байрейт), имевшие достаться Пруссии, на какие-нибудь другие владения. Наконец Гольц открылся и кн. Борятинскому, объявивши прямо, что его государь хочет променять маркграфство на Лузацию (Славянские Лужицы), принадлежавшую Саксонии, для лучшего округления своей государственной области; Гольц просил Борятинского поговорить с Верженем, который не соглашается, предъявляя претензии Австрии на ту же Лузацию. Но Вержень отвечал Борятинскому: «Чем больше я об этом деле думаю, тем больше предвижу невозможности его исполнить, и венский двор от своего права никак отступить не может. Вашему двору своего союзника, прусского короля, можно будет от этого воздержать или по крайней мере постараться отклонить».

В марте месяце кн. Борятинский сообщил Верженю знаменитую декларацию русского двора о защите торговли русской, датской и шведской; Борятинский ждал заявления благодарности, но вместо того услышал от французского министра горькие упреки. «Я нахожу эту декларацию, – говорил Вержень, – неясно выраженной и почитаю несоответствующею прежним дружеским уверениям, данным Россию французскому двору. В декларации оказывается больше пристрастия к Англии: если бы Россия вела торговлю активную и назначила эскадру для оберегания своих купеческих судов, то мы не только не сделали бы на это никакого возражения, но еще были бы очень довольны, ибо желаем, чтоб все торгующие державы свою торговлю защищали. Но ваша торговля пассивная и ее в Немецком море производит почти одна Англия, следовательно, и эскадра ваша будет для защиты ее торговли. Если ваш двор делает эту декларацию с единственною целью показать себя совершенно нейтральным между нами и англичанами и желает только, чтоб при русских берегах, портах и паражах суда

всех наций имели защиту, то на это скажу, что прежде вашей декларации даны уже от нас самые строгие приказания всем французским судам наблюдать всевозможную осторожность у берегов нейтральных держав. Но в вашей декларации сказано, что вы будете защищать торговлю от Северного мыса, в таком случае мы вам делаем возражение. Моря – элемент вольный, и границ на них никто не предписывает. Мы это доказали относительно вас в последнюю турецкую войну: вы в океане и Средиземном море везде с своими судами не только ходили, но и брали всякие призы, даже забирали и наши суда, о чем дела еще до сих пор не совсем решены. Мы могли бы тогда по этому вашему объявлению почитать часть названных морей нам принадлежащими; Средиземное море удобнее разделить между окружающими его державами, чем Немецкое, которое не имеет пределов. Неоспоримо, что все приморские державы присвоивают себе воды, но на самое малое расстояние и защищают суда от корсаров только тогда, когда последние гонятся за ними под пушки береговых крепостей и батарей. Если французские корсары приблизятся к вашим берегам или под пушки ваших крепостей, то имеете право по ним стрелять, и мы же их еще обвиним. Если же случится, что французский корсар будет в нескольких милях от русских гаваней в Балтийском море или будет в Немецком море и станет гнаться за неприятельским кораблем, ваши военные суда не имеют права ему препятствовать, ни дать неприятельскому кораблю за собою защищаться, и французский корабль, взяв приз, может беспрепятственно входить с ним в ваши гавани. Я не знаю, какая цель вашей декларации. Вы сами знаете, что наших корсаров в Немецкое море ходит очень мало, следовательно, с нашей стороны ваша торговля не потревожится; если ж бы их ходило и много, то, мне кажется, вам было бы это еще прибыльнее, потому что Англия в настоящем ее положении все нужные вещи для вооружения кораблей должна брать из ваших гаваней; так, чем бы больше мы их побрали, тем больше был бы расход на ваши произведения». Министр закончил свои слова повторением, что не очень понимает смысл декларации и просит ее истолкования. Борятинский отвечал, что смысл декларации довольно ясен: Россия объявляет себя нейтральною, но желает, чтоб ее собственная и непосредственная с нею торговля могла производиться спокойно. Что же касается до пользы той или другой воюющей стороны, то русская декларация скорее в пользу Франции, чем Англии, потому что французская торговля больше терпит от множества английских корсаров. Но Вержень настаивал на своем, что декларация выгоднее англичанам, потому что они почти одни производят торговлю с Россиею; настаивал, что декларация должна быть разъяснена, чтоб между Россиею и Франциею не было никаких недоразумений и подозрений.

В сентябре Вержень говорил Борятинскому: «Ваше свободное мореплавание из Черного моря в Средиземное может быть полезно и для непосредственной торговли между Россиею и Франциею. Вы не можете себе представить, как бы много мы взаимно выиграли при непосредственной торговле от одного только перевоза, за который мы переплачиваем англичанам и голландцам. Первые годы мы несколько бы и потеряли, потому что не имеем у вас такого твердого фундамента в конторах; но если бы мы были уверены, что вы с нами заключите торговый договор на равных условиях с английским, то надеюсь и даже могу отвечать, что многие здешние самые знатные капиталисты заведут у вас конторы и

в то же время восстановят прямой курс деньгам между Парижем, Петербургом и другими торговыми городами обоих государств. Россия в торговле должна держаться одного из двух планов: или производить ее с теми державами, с которыми заключены торговые договоры, или со всею вселенною без малейших политических обязательств. В первом случае надобно иметь обязательства не с одною державою исключительно, но со многими или по крайней мере с такими двумя, которые между собою в соперничестве по интересам и географическому положению и которые имеют равную нужду в одних товарах, отчего вы будете продавать их несравненно дороже, ибо одна держава у другой будет перекупать, особливо в военное время. Во втором же случае надобно, чтоб ваши гавани были отворены во всякое время для всех народов в мире и чтоб законы, права и пошлины были без исключения для всех равны».

Известный Димсдаль написал императрице, что назначенная ему пенсия доставляется ему очень беспорядочно, деньги, ему присланные, русское посольство в Лондоне издерживает на свои нужды, священник посольства, отец Самборский, занял у него же, Димсдаля, 250 фунтов для русских студентов в Англии, терпящих крайнюю нужду. Вследствие этого письма гр. Мусин-Пушкин получил рескрипт: «С крайним неудовольствием известились мы от нашего лейб-медика барона Димсдаля, что он за два года не получал определенной ему от нас пенсии, хотя она к вам за все минувшие годы давно уже с излишеством доставлена была. Таковое удержание или обращение в собственную пользу денег, имеющих свое особое и точное назначение, возбуждает в нас справедливое удивление». Следствием этого удивления было перемещение Мусина-Пушкина из Лондона в Стокгольм, а Симолина – обратно из Стокгольма в Лондон (в половине июля). В инструкции Симолина прямо говорилось, что теперь при заботливом состоянии Англии, находящейся в войне с американскими колониями, Франциею и Испаниею, не может и существовать вопроса о союзе с нею. «Вам известно, – говорилось в инструкции, – что мы с некоторого времени обязаны благодарностью Франции за добрые услуги при Оттоманской Порте для окончательного уничтожения распрей, продолжавшихся от самого почти заключения Кучук-Кайнарджийского мира; не менее обязаны мы Франции за готовность и доверие, с какими она посредничала вместе с нами при разбирательстве распрей по поводу баварского наследства. Таким политическим сближением с нами Франция отворила дверь к дружеским сношениям с Россиею и восстановлению доброго согласия, продолжение которых будет для нас, конечно, очень приятно и для дел наших полезно». Поэтому Симолину предписывалось, не нарушая несколько дружественных отношений в Англии, которой интересы существенно сходны с русскими относительно сохранения покоя на Севере и выгодных торговых связей, не показывать, однако, ни малейшего пристрастия к Англии в предосуждение Франции, а изъявлять при всяком случае желание видеть как можно скорее окончание настоящей войны между Англиею, Франциею и Испаниею.

В Петербурге думали, что теперь вопрос о союзе с Англиею не может существовать, но в Лондоне думали иначе; и новый английский посланник Гаррис предложил Панину заключение оборонительного союза безо всякого ограничения, т.е. со включением и Турции в случае союза. В записке, пересланной 26 ноября, Гаррис говорил: «Из поведения наших врагов мы с бесконечным прискорбием

видим, что нет никакой надежды к достижению столь желанного нами мира: обширность их вооружений, смелость предприятий, особенно коварные средства, употребляемые ими, чтоб повредить нам во мнении различных дворов, обнаруживают решительное намерение осуществить свои обширные планы, обнаруживают честолюбие безмерное, которое должно обратить на себя внимание каждого государя, желающего сохранить свою независимость. Мы уже употребили невероятные усилия; быть может, мы в состоянии употребить еще более чрезвычайные; но сомнительно, чтоб в одиночестве, без подпоры, без союзника мы могли бы сопротивляться страшной силе, соединенной против нас. Одна императрица может предписать ей закон: великое имя, которым она пользуется в Европе, могущество ее империи, перевес в общей системе, который она приобрела и который так умеет поддержать, доставляют ей силу, принадлежащую ей исключительно. Если бы она в своей мудрости нашла средства доставить нам мир, то мы поспешили бы отдать ей в руки наши интересы. Но если бы наши враги отказались от всяких благоразумных предложений, то мы смеем надеяться, что ее и. в-ство примет тон более решительный, употребит данную ей богом силу, что посредством представлений твердых и решительных не остановит войну, грозящую разрушением европейской свободе. Я предлагаю новый проект союзного договора, заключить который имею полномочие. Правда, что Великобритания получит первая выгоды от этого договора, но Россия получит не меньшие впоследствии».

«Императрица очень огорчена, – отвечал Панин, – что не может согласить образ своих мыслей и желания ускорить мир предложениями лондонского двора. Императрица убеждена, что меры, предлагаемые ей лондонским двором, вместо ускорения мира произведут действие, совершенно противоположное. Что касается союзного договора, то императрица убеждена, что от справедливости короля не скроется, что и заключение оборонительного договора вовсе не идет ко времени действительной войны, и особенно настоящей войны, причина которой всегда исключалась из союзов между Россией и Англиею, не касаясь их европейских владений».

Для России очень важно было предотвратить войну между Англиею и Нидерландами, почему петербургский двор и предложил лондонскому свое посредничество, но предложение не было принято. По этому случаю Симолин получил рескрипт: «Чем большее доброжелательство старались мы постоянно оказывать к делам и истинным интересам короля и народа великобританского, тем прискорбнее было нам узнать из ваших донесений о решительном отказе королевском в принятии особенного нашего посредства в новой войне Англии с Республикою Соединенных Нидерландцев. Междоусобную войну обеих морских держав считаем мы крайне вредною для всей Европы вообще и для России и для них самих в особенности, потому что война их может вконец и навсегда разрушить существовавшую между ними политическую связь, которая одна обуздывала превосходные на твердой земле силы бурбонского дома; Республика Голландская может потерями своими и ненавистью за них к Англии быть поставлена в необходимость предать себя в руки версальскому двору и привязаться надолго к его системе. Русская торговля, до сих пор большею частью на чужих судах происходящая, подвергается неизвестности и стеснению». Ввиду таких вредных последствий от войны Англии с Голландиею Симолину было

предписано продолжать свои представления о необходимости мира. В этих представлениях должны были его поддерживать посланники шведский и датский.

В начале года шведский посланник в Петербурге Нолькен получил от русского министерства ноту: ее и. в-ство, усматривая, что плавание по Северному морю, в краях, ограниченных русскими, датскими и шведскими берегами, требует непосредственного покровительства с ее стороны, равно как со стороны Дании и Швеции, тем более что прошлого года американский корсар взял или уничтожил много кораблей, пливших в Архангельск или из этого города, тревожа таким образом торговлю, для которой эта часть моря исключительно назначена природою, решила следующую весной приказать выслать в эти моря к Северному мысу эскадру своих линейных кораблей и фрегатов, которые должны защищать торговлю и мореплавание, удаляя всякого корсара, какой бы нации он ни был. Нолькен отвечал, что король его желал бы, чтоб императрица дала этому покровительству более широкие размеры, тем более что самые сильные притеснения шведский флаг терпит не столько у берегов своего королевства, сколько на других различных морях европейских, где шведские купцы торгуют под покровительством договоров и народного права. Нолькен имел поручение от своего двора согласиться с русским министерством насчет декларации, которую Россия и Швеция должны подать воюющим державам, чтоб этим подтвердить полное согласие, царствующее между государями России и Швеции. Доверие короля к императрице так велико, что он не может скрыть своих справедливых жалоб на лондонский двор и на английских арматоров, стесняющих торговлю нейтральных держав вопреки договорам. Король надеется, что императрица поддержит шведские представления при лондонском дворе.

Густав III предлагал по этому поводу заключить договор между Россиею и Швециею, но Екатерина уклонилась от договора, выставляя на вид, что его заключение непременно возбудит сильное внимание как в Англии, так и во Франции; она пригласила шведского короля охранять свои берега эскадрою, равною по числу судов с русскою, так чтоб обе эскадры составляли цепь, содействуя в случае нужды друг другу в охранении всех иностранных судов без исключения. Король велел назначить для этой цели десять линейных кораблей и четыре фрегата.

Датский двор отнесся к русскому в самом начале года, что шведский двор настаивает на заключении с ним конвенции относительно взаимного вооружения морских сил. В Копенгагене решили дожидаться мнения петербургского двора; но гр. Бернсторф в разговоре с русским поверенным в делах Чекалевским высказался, что такая конвенция между Россиею, Даниею и Швециею в настоящих обстоятельствах может принести большую пользу, заставить еще больше уважать их флаг и даст полную безопасность их торговле. И датскому двору из Петербурга был такой же ответ, как и шведскому относительно конвенции, и такое же предложение вооружить эскадру для провожания торговых судов на северных морях; приглашение было принято.

В самом начале 1780 года во французской, венской газете напечатано было известие, что греческие купцы, приехавшие из Татари (Крыма), рассказывают о построении в Херсоне пяти новых больших кораблей; русские говорят, что это купеческие корабли, но знатоки утверждают, что для обращения их в военные стоит только их вооружить и посадить на них войско. Рейс-эфенди при свидании с секретарем русского посольства Пизани в марте месяце прочел ему это газетное известие и спросил, правда ли это, «По силе трактата, – продолжал рейс-эфенди, – не позволено русским кораблям такой величины плавать по Черному морю, которое принадлежит Порте». Когда Пизани передал эти слова Стахиеву, тот на другой же день отправил его к рейс-эфенди с ответом, что ни от двора, ни из Херсона он не получал никаких известий о строении кораблей, но он думает, что это те самые суда, которые нужда заставила строить вследствие минувших сомнительных обстоятельств между Россиею и Портою, надобно же их достроить! Величина торговых кораблей однажды навсегда определена в последней конвенции, и потому Порта может быть покойна, что условие точно будет наблюдаемо, и может жаловаться только в случае действительной неустойки. Злое внушение, что для превращения этих кораблей в военные недостает только пушек и войска, напрасно тревожит Порту, ибо на этом основании можно всякую лодку считать военным кораблем. Наконец, хотя бы строящиеся корабли и действительно были военные, то они, как и турецкие, сгниют без употребления в своей гавани, если Порта постоянно будет сохранять мир; а Россия с своей стороны, конечно, никогда не подаст повода к его нарушению. Рейс-эфенди, казалось, доволен был ответом. Получив донесение Стахиева об этих разговорах, Екатерина написала собственноручно: «Ответ на сие не труден: миролюбие российской императрицы всему свету известно, строить же в своих пределах никому запретить невозможно, что к Стахиеву написать для поставления единожды навсегда в заграде от всяких нынешних и будущих интриг. В начале прошедшей войны Россия не имела ни единой лодки на Черном море, а при заключении мира с лишком шестидесят разных судов на той воде имела, чрез что доказывается, что строение или построение морских судов во время мира есть дело равнодушию принадлежащее, ибо в мире опасности нету, а в военный случай большая держава всегда способы сыщет. На новизны же рейс-эфенди ответ готовый, нам тоже и об них сказывают, но мы, любя мир и зная такое же расположение и в Порте, нимало тому веры не даем. О моем свидании с императором написать истину и изъяснить всю невинность того свидания».

Но прежде русского министерства об этом свидании дали знать Порте другие, выставляя его вовсе не невинным. От 6 мая Стахиев писал, что английский посол Енсли сообщил Порте, что главная цель свидания – согласиться насчет установления в Польше наследственного правления, и прусский поверенный в делах Гафрон по указу своего государя дал знать, что следствием свидания будет союзный договор, почему Фридрих II считает своею обязанностью предостеречь Порту. Стахиев чрез свои каналы разведал об этих, по его словам, «ядовитых откровениях», разведал, что на объявление английского посла рейс-эфенди не обратил никакого внимания, но, напротив, прусское возбудило его беспокойство и заставило спросить французского посла, что к нему пишут об этом свидании; тот отвечал, что оно представляется невинным и не должно наносить ни малейшего беспокойства Порте. Но турки не вполне успокоились: они были уверены в

миролюбивых расположениях России, но боялись императора, думали, что он ищет тесного союза с Россией только для того, чтоб начать придирается к Порте.

Вместо резидента Константинова назначен был в Крым известный нам Веселицкий в качестве чрезвычайного посланника. Шагин-Гирей встретил нового посланника просьбами: давно уже он, хан, задумал для собственной безопасности и приведения татар в лучший порядок учредить у себя один или два регулярных полка из иностранцев по образцу войска европейских государей, но без позволения императрицы, великой и надежной своей покровительницы, приступить к этому не хотел. А теперь представился к тому удобный случай: граф Викентий Потоцкий прислал к нему майора Траяновского, рекомендуя как искусного и честного офицера, который обязывается набрать из поляков и немцев регулярный полк. Относительно этого предприятия хан будет ожидать совета и позволения императрицы. Вторая просьба состояла в следующем: хан принял в службу подполковника Деринга, который строит новый монетный двор, и уже все машины и инструменты привезены для битья монеты; для этого на первый случай нужно 50 пуд серебра и 300 пуд свинца, так не угодно ли будет императрице разрешить вывоз этого количества означенных металлов из России, что общим постановлением запрещено. Обе просьбы были исполнены, причем Веселицкий объяснил, что, конечно, хан волен в области своей предпринимать все то, что найдет нужным к лучшему устройству своего владения. Хан был в восторге и открыл Веселицкому «движения своего сердца», как тот выражался. Эти движения сердца состояли, во-первых, в том, что хан просил поместить его в Петербургский полк, хотя бы на первый случай капралом, а потом удостоивать дальнейшим производством. Во-вторых, хан намеревался выписать из Румелии двоих родных племянников своих и, если признает в них правительственные способности, отправить для воспитания в Петербург. В-третьих, многие крымские чиновники, верные хану, поручают ему в покровительство детей своих с тем, чтоб он воспитал их, как ему угодно, таких молодых людей наберется от 30 до 40 человек, и хан намерен отправить их всех в Петербург для помещения в гвардейские полки. Наконец, хан просил императрицу пожаловать ему русский орден. Посреди этих движений сердца в начале октября ханский чиновник на Кубани прислал донесение, что турецкий комендант Сулейман-ага, приехавши в крепость Суджук, беспрестанными подсылками старается все ногайские орды отторгнуть от власти Шагин-Гирея; Сулейман уверял их, что они, равно как и черкесы, не имеют ничего общего с Крымом, который слывет теперь вольным и принадлежит по-прежнему султану, и потому в скором времени к ним прислан будет особый хан из Константинополя, а если до того времени кто-нибудь пожелает для большего спокойствия и выгод переселиться в Анатолию или Румелию, то будет отправлен до желаемого места на султанских судах и султанском иждивении и по приезде выгодно помещен и снабжен всем нужным. Касайской ногайской орды мурза Салман-шах-оглу прельстился этими предложениями и, подговоря весь свой аул, состоящий из 130 семей, явился к Сулейман-аге с просьбою отправить его в Румелию, что действительно и последовало. Хан немедленно объявил Веселицкому, что прибегает к императрице, прося защитить его от этих оттоманских интриг, имеющих целью разрушить созданное Россией в Крыму положение дел.

В январе месяце у себя на вечере Кауниц подошел к кн. Голицыну и после краткого разговора о разных предметах спросил, известно ли ему о внушениях, которые прусский король делает не только при русском, но и при других дворах, особенно при французском и испанском, будто Австрия старается в Польше возбудить смуту и разрушить установленную там политическую систему, поднимая поляков против намерений императрицы и увеличивая свою партию всеми средствами, т.е. не только представлениями и советами, но и деньгами. Когда Голицын ответил, что ничего не знает, то Кауниц начал говорить с большим воодушевлением: «Нашему двору удивительно и прискорбно слышать о таких на себя нареканиях с прусской стороны, нареканиях, совершенно неосновательных; все это имеет одну цель – произвести холодность и недоверие между обоими императорскими дворами. Наш двор нимало не вмешивается и не намерен вмешиваться в польские дела, потому что от этого не видит для себя никакой пользы; уверяю вас в этом не как министр, но как князь Кауниц, как простой честный человек и прошу донести о моих словах ее и. в-ству. Русскому послу в Варшаве всего лучше должно быть известно, производится ли там с нашей стороны какое-нибудь движение». Но Штакельберг именно доносил, что движение производится, и Голицын не вследствие слов Кауница, а по своим наблюдениям и соображениям старался успокоить его.

В одно время с донесением о разговоре Кауница Голицын писал о своем свидании с императором Иосифом, который посетил его на даче в Пратере. Между прочим Иосиф спросил его, не имеет ли он от своего двора известий о путешествии императрицы в Белоруссию и Малороссию, о котором объявляется в разных газетах. Когда Голицын ответил, что знает об этом также только из газет, император сказал: «Я бы желал через вас увериться в этом и в таком случае желал бы найти такое место, где бы мог иметь честь и удовольствие лично познакомиться с ее и. в-ством и выразить перед нею чувства высокого уважения, каким я издавна преисполнен к монархине, которой превосходные душевные качества становятся все известнее и славнее во всех частях света. От ее в-ства зависит назначить место и время для свидания; следующей весною я намерен побывать в Галиции и Лодомерии и не пощажу ни труда, ни времени приехать оттуда в то место, которое укажет императрица. Я при этом не имею никаких политических видов и ни малейшего намерения вступить с ее в-ством в переговоры о каком-либо государственном деле».

Вержень пред Борятинским постоянно рассыпался в похвалах вооруженному нейтралитету. «Этот поступок императрицы увенчивает ее славное царствование, – говорил он, – дай боже одного, чтоб вся Европа поняла прямой вид человеколюбивой и прозорливой вашей монархини; должно признаться, что во всех премудрых делах ее величества первым правилом полагается наблюдение достоинства, правосудия и твердости. Мы с своей стороны всегда почитали, что добрая дружба с Россией для взаимных интересов очень полезна, но настоящие дружеские тепер с вами сношения почитаем еще более приятными в царствование великой вашей монархини; и, как бы вы часто ни повторяли об истинной дружбе моего государя к императрице, вы не выскажете всего; я вам скажу и более: вся нация чрезвычайно довольна настоящею дружбою нашею с вами. Я не знаю, как думают другие державы и правящие делами их министры, но я могу отвечать за короля и за всех нас, что наше первое желание – видеть

прекращение военных бедствий. Я желаю, чтоб мы заключили мир, согласный с достоинством Франции; но если б король пожелал получить от этого мира такие выгоды, которые бы повели в политике к чувствительному перевесу в нашу сторону, то я первый буду просить его величество определить другого на мое место, ибо думаю, что в интересе Франции не искать новых приобретений, а держаться в своих пределах и стараться об одном, чтоб установить настоящее в политике равновесие, доставить всем и самим себе свободное мореплавание и торговлю. Весь свет, надеюсь, в том согласится, что Англия тиранствует на море и считает себя владычицею этого вольного и общественного элемента; все народы в том интересованы, чтоб низложить это иго; если же мы возьмем поверхность, то свет только переменит тиранов, т.е. вместо англичан будут французы. Но виды наши далеки от этого; мы в этом случае держимся одинаковых мнений и правил с русскою императрицею: мы желаем правосудия, чтоб каждый народ свободно пользовался прибылью от своих произведений. Ее и. в-ство последнею декларациею всему свету открывает глаза относительно этой неоспоримой истины». Словами не ограничивались: с русскими судами приказано поступать с отменною осторожностью и давать в нужных случаях всякое вспомоществование. Это распоряжение возбудило большие толки в публике: люди, враждебные министерству, говорили, что не следовало делать такого отличия для России, потому что это будет досадно прочим нейтральным государствам, особенно участвующим в защите торговли. Но все другие единогласно отзывались, что такой знак уважения короля к императрице не только уместен, но и вся вселенная должна бы следовать этому примеру в вознаграждение за вооруженный морской нейтралитет, «Одним словом, – писал Борятинский Панину, – имя ее величества произносится всеми с восторгом, ее почитают владычицею мира, от нее ожидают восстановления спокойствия и блаженства роду человеческому».